ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ИЛ ЛИТЕРАТУРА

[6] 2009

РОМАН РОБЕРТА НАЯ "МИССИС ШЕКСПИР" / СТИХИ АНТОНИО ПОРПЕТТЫ И ДЖО ГРИНА / РАССКАЗЫ НЕДИМА ГЮРСЕЛЯ / ЭДВАРД ЛИР В РУБРИКЕ "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" / ПЕТР ВАЙЛЬ В РУБРИКЕ "CARTE BLANCHE" / СТАТЬЯ ДМИТРИЯ ВЕДЕНЯПИНА "ЕВРЕЙСКИЙ-ПИСАТЕЛЬ-ЗИНГЕР"

Основан в 1955 году

[6]
2009

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

3 Роберт Най *Миссис Шекспир. Собрание сочинений.* Перевод с английского Е. Суриц

103 Антонио Порпетта *Стихи.* Перевод с испанского и вступление Натальи Ванханен

110 Недим Гюрсель *Рассказы. Эссе.* Перевод с турецкого и вступление М. Букуловой

121 Адам Торп *Правила перспективы.* Роман. [Окончание.] Перевод с английского Н. Гайдаш, С. Соколова

Другая поэзия. Антология 208 Джо Грин *Стихи из книги "Рин-Тин-Тин. Лай в темноте".* Перевод с английского, вступление и комментарии Антона Нестерова

Литературное наследие 220 Эдвард Лир *Из писем и путевых дневников.* Перевод с английского и вступление Г. Кружкова

Статьи, эссе 244 Дмитрий Веденяпин *Еврейский-писатель-Зингер*

In memoriam 251 Борис Хлебников *Подарок Айтматова*

Carte blanche 253 Петр Вайль *В начале: Джотто*

Ничего смешного 265 Леонид Гиршович *Чур меня!*

Среди книг 268 Вера Калмыкова *"...Увидеть лица 'невидимок'..."*

БиблиофИЛ 274 *У книжной витрины* с Михаилом Визелем

277 *Информация к размышлению. Non-fiction* с Алексеем Михеевым

281 *По материалам зарубежной прессы.* Подготовили А. Лешневская, Е. Полетаева, И. Мокин

Авторы номера 285

© "Иностранная литература", 2009

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

До 1943 г. журнал выходил под названиями "Вестник иностранной литературы", "Литература мировой революции", "Интернациональная литература". С 1955 года – "Иностранная литература".

Главный редактор

А. Я. Ливергант

Редакционная коллегия:

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

О. Д. Дробот
заместитель главного редактора

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

Т. Я. Казавчинская
заведующая отделом критики и публицистики

Общественный редакционный совет:

В. П. Аксенов
С. К. Апт
Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Н. А. Богомолова
Е. А. Бунимович
П. Л. Вайль
Т. Д. Венедиктова
А. М. Гелескул
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Г. А. Дашевский
Б. В. Дубин
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
А. В. Михеев
М. Л. Салганик
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили
А. И. Эппель

Международный совет:

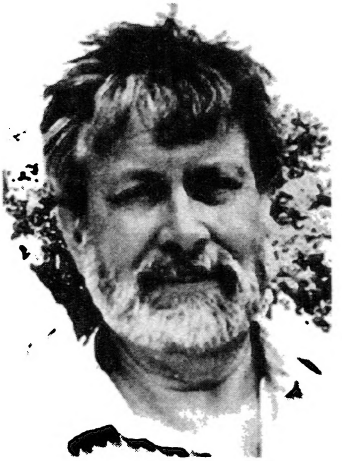
Ван Мэн
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Редакция:

М. М. Алексеева
О. Г. Басинская
Т. А. Баскакова
С. М. Гандлевский
А. Ю. Лешневская
Е. М. Мамардашвили
И. В. Мокин
К. Я. Старосельская
М. Н. Томашевская
Л. Г. Харлап
А. Ю. Шередега

Журнал выходит при финансовой поддержке
Министерства культуры Российской Федерации, Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Фонда Первого Президента России Б. Н. Ельцина

Роберт Най



Миссис Шекспир

Собрание сочинений

Перевод с английского Е. Суриц

Всем дорогим читателям доброго
здоровья, особенно
Мартину и Дженет Сеймур-Смит

Часть первая

Как мистер Шекспир
меня приветил
в тот единственный раз,
когда я ездила в Лондон

Глава первая
Сладкий мистер Шекспир

—Могу ль тебя сравнить я с летним днем?[1] — вежливо так он меня спросил.
— Нет уж, спасибочки, — я ему в ответ.
Видели бы вы, как он на меня глянул.
Потом улыбнулся, весь белый от досады.
Он улыбнулся мне, мистер Шекспир, супруг.

© 1993 by Robert Nye
© Е. Суриц. Перевод, 2009
Отдельным изданием роман выйдет в издательстве "Текст".
1. "Могу ль тебя сравнить я с летним днем", — первая строка 18-го сонета. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Каков!

Сэр Ухмыл, звала его, бывало.

На что другое — не скажу, а уж улыбаться, ухмыляться — о, на это он большой был мастер.

Хитрый такой, смеяться-то он не любил.

Смеяться не любил, потому что не хотел выказывать два черных обломка прямо спереди во рту.

Эти гнилые зубы сделались у него из-за того, что сахару сосал не в меру.

Сласти. Ну прямо обожал их.

Имбирные пряники, марципаны, хворост.

А сахар отродясь был для него отрава, — все потому, известно, что кровь слишком терпкая, горячая у него была.

Ей-богу.

И он был суетной насчет этих плохих зубов, скажу я вам.

Вообще мистер Шекспир был человек не то чтоб суетной, я вам скажу, но как дойдет до его писаний дело, тут он был ужасно суетной, вечно — вынь да положь ему, чтобы друзья-товарищи в театре заметили, как он расчудесно да как он ловко сочиняет.

Знаете, как говорится:

Шмель на дерьме коровьем мнит себя королем.

Марципан.

Такая белая дрянь, вроде сладкого стылого крема с комками.

Готовится из толченого миндаля и фисташковых орешков. Но главное — чтоб сахар тонкий, с медом, мукой и эссенциями.

Сахарная лепешка: о, это тоже.

Еще одна сласть любимая моего покойного супруга.

Помню, раз под самый пост, у Садлеров дело было, так он пребольшущий торт умял из этих сахарных лепешек — сам, один.

Мы сидим и смотрим.

Все сожрал, а потом еще облизывается.

Юдифь для этих лепешек взяла камедь, три дня, три ночи в розовой воде вымачивала, потом туда горстями сахар накидала, для крепости, потом добавила белки шести яиц и сок двух апельсинов.

Подается на четверых — ну, так Юдифь замышляла. Да уж, чистый сахар, приправленный и испеченный, под видом торта.

Постом, аж до самой Пасхи, лез у мистера Шеспира из ушей.

Сладок мед, да не по две ложки в рот.

Гамнет говорил — он сам из сахара, наверно, деланный.

Сладенький.

Марципанчик.

* * *

Читатель, я говорю про моего супруга, Вильяма Шекспира.

Вильям Шекспир — вот о ком речь, из Стратфорда и Лондона, сын Джона и Марии Шекспир (оба уж покойники).

Покойный мистер Вильям Шекспир, дворянин[1], что проживал на Нью-плейс, Чейпл-стрит, в большом доме: второй во всем Стратфорде. (И где я сейчас пишу, если желаете знать.)

Тот самый знаменитый Вильям Шекспир, который в свое время был очень славен как автор 38 пьес, 154 сонетов, а еще жалобы женщины, которая пошла по дурной дорожке, двух неприличных поэм из древности (к ним я еще вернусь) и надгробного рыдания по случаю кончины двух невинных птиц[2].

Мой супруг.

Сладкий мистер Шекспир.

Поганец.

Да, насчет птиц: вы небось знаете, а то и нет, что иные поэтические обожатели прозвали мою знаменитую половину — Эйвонский лебедь.

Глупость — я скажу.

Я скажу — ну ни к селу ни к городу.

Это же вовсе в птицах ничего не смыслить надо.

Лебедь поет, когда приходит смерть.

Мистер Шекспир не пел.

Отвернулся к стенке и папистом помер.

Я его тогда поцеловала, и было так, словно свечку церковную целую.

Лицо белое-белое, даже прозрачное все стало.

Стихи с вином: не дай Боже их вместе сочетать.

Эти жуткие близняшки мужиков валили и покрепче моего. Вот до смертного одра его и довели.

Верно я говорю?

То-то.

Но не про смертный одр мистера Шекспира пойдет речь в моей истории.

У меня теперь совсем другая кровать на уме.

Лучшая кровать, какую я видала, в какой спала, в какой любилась.

Кровать — кто скажет, что мой сладкий сон, а кто скажет — мой это был кошмар.

Как бы ни было, лебедь ваш — он царственный. А мистер Шекспир был перчаточников сын.

Не слюнявый обожатель, а любимая жена, притом вдова, я говорю вам: уж скорей он был ворона-выскочка в павлиньих перьях[3].

1. Джон Шекспир, отец Шекспира, был не только перчаточник, он был констеблем, главой муниципалитета, казначеем и занимал разные общественные должности: одного из 14 олдерменов (старейшин) и бейлифа (главы городской корпорации), а в 1596 году получил дворянство.
2. Насчет драм и сонетов счет верен, что касается "жалобы женщины", а точнее "Жалобы влюбленной", эта вещь и впрямь одно время приписывалась Шекспиру, но не входит в Шекспировский канон; "неприличными поэмами из древности" миссис Шекспир называет "Лукрецию" (действительно на сюжет из римской истории) и "Венеру и Адониса" (на сюжет мифологический); что до "рыдания", речь идет о "Фениксе и Голубе", стихов на смерть не птиц, разумеется, но на чью именно — разгадке этой тайны посвящено множество гипотез, научных и не очень.
3. "Ворона, красующаяся в павлиньих перьях, в наших перьях" — так отозвался о Шекспире в своем памфлете "На грош ума, купленного за мильон раскаяний" (1592) Роберт Грин (ок. 1558–1592), автор романа "Пандосто"(1589), сюжет которого Шекспир использовал в своей "Зимней сказке". Намек на Шекспира тут очень явный, Грин его назвал Потрясателем сцены — Shakescene. Это первое, пусть косвенное, упоминание о Шекспире в печати.

Мне ли не знать, верно я говорю?

Ну вот, и по хитрости этой старой вороны, теперь уж мало кто и знает, как он обожал сладкое.

Мистер Шекспир, если на то пошло, ну ненасытный был сластена.

Сливы засахаренные, сладкие тюри, синеголовник.

Долго перечислять, ему недолго съесть — лишь бы подсахаренное, медовое да сладкое.

Кушать всласть — твоя власть, а за все придет расплата.

И стали зубы у него порченые, и не очень он любил смеяться.

Понимаете, не очень-то ему приятно было, чтоб кто-то видел черные могильные камни у него во рту (как следствие, что объедался сахаром), особенно чтоб важная персона, но если у вас хватит хитрости, как у него, — улыбайтесь себе сколько душе угодно, и никто зубов ваших не увидит.

Мистер Шекспир, он ведь как: он, когда улыбался, опускал, натягивал верхнюю губу, ямочку разглаживал посередке, ту, которую, раз както матушка мне объяснила, ангел-хранитель пальцем своим небесным вдавливает, когда вы рожаетесь на свет.

Дай Бог матушке Царствия небесного и пусть земля ей будет пухом, а сэр Ухмыл пусть тоже спит спокойно там у себя в церкви святой Троицы.

Не то чтобы я верила в ангелов-хранителей.

Не то чтобы мой супруг меня важной персоной почитал.

Глава вторая
22 апреля 1594 г.

День был, значит, 22 апреля, про который рассказываю, а год, значит, 1594.

Жиденький, неказистый такой денек, ни то ни се.

Все никак он не мог решить, денек, то ли быть ему весной, то ли зимой остаться.

Ну вот, и вы, конечно, будете дивиться, как это я число упомнила, ведь все давным-давно быльем поросло, и почему насчет погоды так уверена, и как так я в точности вам пересказываю, что́ он сказал, да что́ я сказала, и тому подобное.

Что ж, я вас не виню.

Вы небось думаете, вру я. Небось думаете, присочиняю, очки вам втираю, сказки вам рассказываю.

Ан нет.

Все я говорю, как есть, все, как оно было, правду я вам говорю.

Тут выдумки, Бог даст, никакой у меня не будет.

Вот вам мое честное-благородное слово, не видать мне Царствия небесного, если я вру.

Господь меня наградил, или уж наказал, не знаю даже, отменной памятью.

И особенно у меня отменная память на то, что́ он сказал да что́ я сказала, потому, известно, что мы годами не говорили друг другу ни единого слова.

А число я помню потому, что было дело под Георгиев день, а иначе сказать, под деньрожденье мистера Шекспира, и в канун того дня, когда

он ушел от нас к вечной славе. (Да, он на свое деньрожденье помер. Тонкость во всем любил.)

А погоду я помню потому, что не по ней оделась, и еще потому, что все в тот день, каждая малость, у меня засела в памяти, по причинам, которые вы поймете еще прежде, чем я окончу свой рассказ.

Странную историю я вам расскажу.

Уж поверьте.

Верно говорят:

Правда всякой выдумки чудней.

(Мистер Шекспир так не думал? Много вы понимаете про мистера Шекспира!)

Так вот, значит, что тогда случилось.

Слушайте меня внимательно.

Глава третья
На Лондонском мосту

Когда мистер Шекспир мне задал свой этот пустой вопрос, желаю ли я, чтоб он меня сравнил с летним днем, а я ему ответила, что, мол, нет, спасибочки, мы с ним стояли вместе на берегу у Лондонского моста.

Говорю "вместе", потому что "вместе" упоминания достойно, при такой семейной жизни, как наша жизнь была.

Сам он все ковырял в носу минут эдак пять, не меньше, мечтал о чем-то.

Ну, а я, я головы предателей считала, там, на шестах.

А холод был, доложу я вам!

И ни лучика в небе.

Чайки сверху пролетали, голосили.

(Гадкие, вредные, злые птицы, терпеть их не могу.)

— Зима, — мой муж вдруг говорит.

Шляпу сдернул и ею эдак широко взмахнул, будто невесть какую мудрость вдруг он открыл.

Я было подумала, он мои мысли прочел, насчет этого дня, — что сам не знает, зимой ли ему быть, весною.

Но тут по зеленым искоркам в глазах у него я поняла: то ли еще будет.

— Что — зима?

— Ты зима, — сказал мистер Шекспир. — Анна Хетэ-вьюговей, — а сам ухмыляется. — Ты похожа больше на декабрьский день, — так мой муженек мне объявил.

Ну, я ему оплеуху и влепила.

А вы бы как поступили на моем месте?

Влепила ему оплеуху, правда куда полегче, чем могла бы.

Не так ударила, как при том печальном случае, в Шоттери[1], когда он очертя голову сунулся в мельничный поток.

В Лондоне-то небось не было у меня половника.

1. Деревенька близ Стратфорда, где Анна Хетэуэй родилась и жила до замужества. Дом ее сохранен и превращен в музей.

Я с собой кухонную утварь не таскаю.

— Ваши сравненья с ног сшибают, сэр, — я ему говорю.

— В нос шибают, говоришь? — мистер Шекспир переспрашивает.

Тут я как заору:

— Кто я по-твоему? Деревенщина темная? В нос шибают! Что за разговор? При чем тут.

— Возможно, насморк у тебя, — он мне сказал.

Ну что ты на такое будешь отвечать.

Ничего себе приветил в Лондоне!

Ничего себе я отдохнуть приехала, милое начало!

Глава четвертая
В упрек поэзии

Что греха таить.

По-моему, я получше обращение заслужила.

Уж кажется, любая порядочная жена или дочь со мною согласится.

Прикиньте: я тащилась за столько миль вонючих, чтоб повидаться с ним, и я уж ради него приоделась.

Платье у меня было розовой тафты, на шее рюшик, и полсапожки новенькие, кожаные, по щиколотку, мягкие, зелененькие.

Баран, под видом ягненка к столу поданный, да, есть такое присловие жестокое, так ведь же очень недурной баран.

И для кого старалась!

Бог наградил его хорошей женщиной, а он?

— Не счесть ли нам сентябрь моим июнем, жена? — сказал мистер Шекспир.

А, да провались ты, думаю.

Сами посудите.

Как следует пораскиньте мозгами, мои миленькие.

Это, понимаете ли, называется — метафора.

Вы берете одну вещь и объявляете, что это, мол, другая.

А кому от этого хорошо?

Ни той ни другой вещи от этого ни горячо ни холодно.

Берешь два понятия и перемешиваешь ради красного словца, единственно чтоб показать, какой ты умный.

Умный?

Да уж, ума палата.

Мистер Шекспир, он такими делами, известно, все время занимался.

Можно сказать, у него вся жизнь была — одни метафоры.

Он за них деньги получал, но, не сомневаюсь, он все одно подобным занимался бы с утра до ночи, если б даже ему и жалования не платили.

Нет чтоб остановиться, дух перевести.

Шутки да выдумки — этого у него хватало, тут бы еще разума подбавить.

И что со словами вытворял, то он и со своей жизнью вытворял.

И с женой.

Никчемный он был человек, мой муж.

Ну вот, сказала.

Уж вы меня простите ради Бога.

Сейчас в сад побегу, буду землю грызть и есть червей.

Ну да ладно, все равно, уж раз решилась я вам всю правду выложить, как есть, насчет мистера Шекспира и насчет меня, и про нас обоих вместе и поврозь за все года, что я его женой была, вам надо с самого начала знать, что я так считаю: никогда и никого поэзия до добра не доводила.

Длинное предложение.

Длинных предложений не терплю.

Нет, вы послушайте.

Что они делают, поэты?

(Читатель, сама я за такого вышла.)

Что делают поэты, если уж на то пошло?

Поэты играют, кидаются словами, чтобы им поменьше думать.

Слова нам даны на то, чтоб думать.

И совсем не дело, и нечестно — ими играть.

Эти метафоры: ну что они? Либо лесть, либо обида.

Одна вещь не может быть другой вещью.

Само собой.

Не сотвори себе метафоры, я так скажу.

Особенно ради того, чтобы уесть супругу.

Потому что, если желаете знать, я была на восемь годочков постарше мистера Шекспира.

И потому что мистер Шекспир никогда не давал мне позабыть про эту нашу малюсенькую разницу в годах.

Глава пятая
Хворост

Поскольку эта книга будет про меня, как и про мистера Шекспира, вам надо кое-что про меня узнать, прежде чем мы двинемся дальше.

Что я могу сказать?

Фамилия моя миссис Шекспир.

Урожденная Анна Хетэуэй.

Вдова.

В первую очередь здесь речь пойдет, ясное дело, про моего супруга.

Я его называю мистер Шекспир.

Вы тоже можете, если угодно.

Хворост стоит 25 пенни фунт.

Пустяшная цена за то, чтобы сластену ублажить!

Глава шестая
Птичье дерьмо

А еще одну неприятность узнала я про поэзию, водясь с моим покойным мужем, — это как легко угодить к ней в сети.

Как ты ни пыжься, как ни старайся соблюсти в себе здравый рассудок, все равно чувствуешь, как она тебя затягивает, если тебе подносят разное художество, когда душа просила ясных слов.

В те дни так и повелось у меня с мистером Шекспиром.

Скажет он что-то гадкое, что-то прекрасное скажет, и сразу на меня как туча найдет, сразу как яркий луч меня слепит.

Чувствую — сейчас закрутит он меня в своих словах, и я пропала.

Случалось сплошь да рядом.

Вот и теперь случилось.

Оглянуться не успела — плачу́ ему той же негодной монетой.

— Насчет июня — это ты не льсти себя надеждой понапрасну, — говорю. — Ты, по крайней мере, август.

Потом взяла себя в руки.

Бросила напрасную игру словами, разумно повернула разговор.

— Ладно, плюнь, чепуха все это, — говорю. — По правде, твоя мамаша всегда мне говорит, по правде, на сколько себя чувствуешь, столько тебе и лет.

И в ту самую минуту, как я припомнила мудрость его матушки, прилетела чайка и нагадила на голову моему супругу.

С бровей у него потекло.

И снова он мне улыбнулся.

На сей раз печаль была в его улыбке, притом печаль, ни с какими чайками не сообразная.

Между прочим, то выражение его в тот миг, в апрельский день на Темзе, мне привело на память, как он улыбался, когда нас венчали.

Долгие годы я всё старалась забыть ту его венчальную улыбку.

Кое-что вовеки не забудешь.

Он стоял, переминался с ноги на ногу в зимнем солнечном луче в часовне, в Графтонском соборе, и он улыбался, улыбался, а чему улыбался, так я и не могу понять.

До сих пор мне вспомнить страшно ту самую распечальную его улыбку.

Глаза мистера Шекспира тут были ни при чем.

Улыбка была пустая.

Одними губами.

Без всякого, без самомалейшего смысла была улыбка.

Но тут я отвернулась и собственные свои глаза обратила на головы предателей, выставленные на Лондонском мосту.

— Матери не всегда неправы, — со вздохом сказал мистер Шекспир. — Но в таком случае, полагаю, я завтра же отправлюсь к праотцам.

Это ж надо — так голову морочить, а?

Да ладно.

Прямо сама не знаю, и что он в точности хотел сказать?

Он, ясное дело, чудно́, по-своему, хотел сказать, что прежде времени состарился, и всё.

Один он, что ли?

А сам макушку утирает, лоб, пальцы свои разглядывает.

Я кончила свой счет.

Люблю считать, когда могу.

Раз-два-три-четыре-пять, вышел зайчик погулять.

Помогает на жизненном пути.

Шесть-семь-восемь-девять-десять, Катерина тесто месит.

Не то чтоб я думала, что кроме математики на свете все не в счет.

Но я кончила свой счет этим мертвым головам.

— Тридцать два, — говорю.

Мой супруг глянул на меня свирепо.

— О чем ты, женщина? Тридцать!

На следующий день поскольку было, видите ли, тридцатое деньрожденье великого человека.

— Да не про твою черепушку речь, — говорю. — Про ихние!

И показала.

Сама знаю, это грубо — показывать.

Но что мне было делать.

Я показала пальцем на черепа, вздетые на шесты по всему мосту.

— Ты убедишься, что их тридцать три, — сказал мистер Шекспир.

Я пересчитала.

Ясное дело, он оказался прав.

Чуть ли не с закрытыми глазами, а все всегда он видел.

Прямо удивительный был человек мой мистер Шекспир.

Я всегда похвалю, если есть за что.

Я поплевала на рукав и помогла ему счистить дерьмо той чайки.

Глава седьмая
Лебеди

Эти лебеди были на вид серые, как старые гуси, тогда на Темзе.

Не видать мне Царствия небесного, ей-богу, правда.

Да, это я сама так говорю, но здесь-то хорошее сравнение.

Сравнение, по-моему, удачное и верное, без выдумок.

Не то что эта дикость — сравнивать человека с летним днем, с зимним днем, пусть хоть бы и с осенним.

Лебеди это лебеди, а гуси это гуси.

Уж мне ль не знать.

Но те лондонские лебеди в тот день были чумазые, как гуси.

Спины, шеи, перья — всё в саже.

Крылья — прямо беда.

Длинные свои шеи они от холода втянули.

Вверх-вниз их мотало на черной масляной воде, и они дрожали.

А у меня дрожало все внутри.

Ведь у кого глаза плохие (Сусанна моя, к примеру), тому бы простительно подумать на этих бедных лондонских лебедей, что гуси они и есть.

Мистер Шекспир стоял и пальцами расчесывал свои жидкие волосы.

Руки — как пергамен. Свет, хоть и хиленький, а прямо их просвечивал насквозь.

И взгляд в глазах такой стоял, как звук бывает — когда вот глина плюхает на гроб.

Я про себя подумала: улыбайся он, не улыбайся, видно, не очень он повеселел от того, что натворила чайка.

Мой супруг.
Бедный мистер Шекспир.
Бедняжечка обосранный.

Бог не бракодел. Одно к одному — все ладит точно.

Очень печальный будет мой рассказ.

Учитывая всё, никак не скажешь, что это было в один прекрасный день. И на мосту, где мы стояли, не хуже и не лучше было, чем везде.

И все-таки печаль — самое слово.

Скажите про меня и мистера Шекспира — печальные, и попадете в точку.

Очень печальный будет мой рассказ.

Глава восьмая
Сусанна

Сусанна — моя дочь.

Наша с мистером Шекспиром.

Первый плод нашего союза.

Первый плод и лучший самый, хоть не пристало матери любимчиков иметь.

Первый плод и самый зрелый в мудрости, это уж ясное дело.

Моих дорогих дочек, что одну, что другую, я равно люблю, но Сусанну, ее любить всегда было легче.

Названа она в честь одной женщины из апокрифов, жены Иоакима, которую старейшины неправо осудили за прелюбодеяние, а Даниил доказывает ее невинность и ее освобождает, а обвиняет, наоборот, клеветников, и тех-то как раз и казнят[1].

Странно, как имена, которые нам дали, нам подходят, да?

— "Что значит имя?" — я все твержу, бывало[2].

Теперь-то больше не твержу, должна я вам сказать.

После той грязной клеветы Джона Лэйна.

Но про это я после расскажу.

Она и острая, сметливая и мудрая, наша Сусанна.

Умнейшая из нас, из тех, которые остались.

Вот, читает все подряд до единой пьесы моего покойного супруга — для книги, которую его театральные друзья говорят, что якобы тиснут в Лондоне[3].

Хотя не знаю, не знаю, получится ли у них что.

Актеры, все играют, какой с них спрос.

1. В целом верно изложен сюжет из Книги Пророка Даниила, 13:1–62 — это по русской версии Библии. В английской Библии Книга Даниила кончается 12-й главой, и выходит, миссис Шекспир права, ссылась на апокрифы.
2. Ромео и Джульетта. Акт II, сцена 2. Слова Джульеты: "Что значит имя? Роза пахнет розой, / хоть розой назови ее, хоть нет". Перевод Б. Пастернака.
3. При жизни Шекспира была напечатана лишь часть его пьес. В 1623 году его друзья по труппе, актеры Хеминг и Кондел (при поддержке Бена Джонсона) издали первое (правда, далеко не полное) собрание сочинений Вильяма Шекспира. Жена Шекспира умерла в том же году.

И кто их станет читать, старые пьесы?

Но все равно, молодцы, что памятник такой ему затеяли.

Да, про памятники: в прошлом году я помогала Сусанне хлопотать насчет бюста мистера Шекспира, который один каменщик, Янсен[1] по фамилии, вытесал в церкви Святой Троицы.

И очень хороший вытесал бюст, хотя и немчура.

Кое-кто из знакомых мистера Шекспира приехали на открытие и ухмылялись и громко фыркали, прямо в церкви.

Один все печалился, что мистер Шекспир на бюсте, мол, на успешного лавочника похож.

Так ведь мистер-то Шекспир такой и был в последние свои года.

И что тут плохого, если лавочник успешный, хотела бы я знать.

Наша Сусанна говорит, что в пьесах мистера Шекспира сплошь горе, и кощунства, и несчастные любовники.

Одна-единственная счастливая пара, она рассказывает, и есть на все творенья моего супруга, и та по фамилии Макбет.

Тоже и героев себе выискал, язычников.

Глава девятая
Моя книга

Мне моя доченька Сусанна эту книгу подарила, в которой я пишу.

Это ее подарок мне на прошлое Рождество.

Очень хорошая книга, и красивая, переплетенная в пергамен палевого цвета, с серебряной застежкой на замочке, и к нему ключик серебряный. Ключик я в ладанке ношу, на шее, на снурке.

И заглавие жирными золотыми буквами оттиснуто:

Анна Шекспир: ее книга.

Страницы кремовые, гладкие и так пахнут чудесно.

Я как увидела ее, так сразу поняла, что́ буду в ней писать.

Историю про меня.

Про него историю.

Историю про нас.

Историю про поэта, его супругу, про лучшую кровать и про кровать, названную второй по качеству[2].

Истинную историю про то, как все у нас происходило с мистером Шекспиром.

А ключик серебряный, он в тайне все хранит.

Я запираю мою книгу, когда я не пишу.

Когда-нибудь кто-то и прочтет все, что я написала, но не дочки мои, и не зятья, и даже, будь моя воля, и не внуки.

Здесь мне придется написать такое, чего никому из моей семьи читать не след.

1. Автор бюста Шекспира в церкви Святой Троицы – Герард Янсен, фламандец, с 1567 г. обосновавшийся в Лондоне, довольно известный в то время скульптор.
2. Завещание Шекспира сохранилось. Завещав все имущество Сусанне и ее детям, жене он в этом документе предназначает только пресловутую кровать, давшую пищу для многих толков и изысканий. Впрочем, миссис Шекспир ведь по закону, независимо от завещания, так или иначе получала треть всего имущества Шекспира.

Вот как Господь мне судья, так правде нужно время, чтоб взойти.

Правда — лучший учитель, но есть время и есть место для его уроков, и время это покуда не приспело.

Вот перемрут все члены моего семейства, и тогда уж, вскорости, пусть какой-нибудь читатель мою книгу и прочтет.

Но ты же меня видишь, да?

Видишь, как я сижу тут, в темном доме, постылая жена, при семи свечах, и свечи перед зеркалом поставлены, чтобы двоилось пламя.

Видишь: вот она я — на указательном пальце, где перо, агатовый перстень, сижу, скребу пером каждую белую страницу, докапываюсь до смысла, сообразительная женщина.

Ты видишь мои темные глаза.

Мои темные волосы.

Но разве можешь ты покуда разглядеть всю темень, что во мне, ох, случайный мой читатель, мой дружок?

Глава десятая
Писание

Мистер Шекспир любил гусиным перышком водить.

Макнет его в чернильницу, и слова взлетают над страницей.

Любил отдельные листки мой супруг.

Пятьдесят строк на одной стороне настрочит, пятьдесят строк на другой.

Зато всегда он знал точно, сколько насочинял.

И каждый лист сложит, загнет, на три части его поделит.

На левой стороне мистер Шекспир писал, кто говорит, на правой — кто пришел, кто вышел.

Поэзия была посередине.

Часто я видала, как он пишет, сидела тут же в комнате.

Иной раз к концу дня, а то и вовсе утром после тяжелых ночных трудов, эти отдельные листки по всему по полу, вокруг ног его валялись, а он сидел за конторкой, голова на руки, и крепко, уморившись, спал.

Уж такая она, поэзия, небось. Тут наизнанку вывернешься, ее чтоб сочинять.

(Я-то его творений не читала. Я Библию свою читаю.)

Ну, а я, я по-другому совсем пишу.

Отдельные листки я не терплю. Я люблю писать в этой вот пергаменом переплетенной книжице. Пишу я аккуратно, пишу убористо, и я очень медленно пишу.

И после, как попишу, не уморюсь, а себя даже и бодрее чувствую.

Вот и вчера вечером, как кончила писать эту страницу, глянула в зеркало, волосы расчесывая на ночь, а глаза у меня яркие, сияют.

Так не горели у меня глаза с того самого дня, как хоронили мистера Шекспира.

Легко ль сказать.

Но в тот смертный день глаза мне, известно, слезы жгли. Слезы, известно, облегчают душу.

От него чуть веяло ладаном.

Меня подташнивало, когда я его целовала.

Но надо было его поцеловать, покуда Джон не заколотит гроб.

Это Куини тогда заметил, как у меня глаза горят от слез.

Я его поцеловала в губы — в последний раз.

Мертвого мистера Шекспира.

Моего плохого мужа.

Милёнка моего.

Глава одиннадцатая
Лаволта

Доченька моя Сусанна, та приняла бы тех лебедей за гусей.

Глаза у ней всегда были плохие. Так, верно, и уродилась с подобным недостатком.

Я ничего не замечала, пока ей пять, то ли шесть лет не исполнилось.

А тут она вдруг прибегает в дом с Хенли-стрит, и даже не раз так было, и кричит: "Папаша! Папаша!"

Бедняжке мстилось, будто отца она своего увидала на дороге.

А это всего-навсего дед ее, мой свекор, Джон Шекспир, шел из кабака домой.

И эдак он приплясывал, бывало, когда сворачивал с Миер-стрит, приплясывал, пока жена не догадается, как он набрался. И от пляса, конечно, казался он моложе, вот почему и ошиблась моя Сусанна.

Едва ли ей, конечно, случалось видеть, как пляшет ее отец.

Мистер Вильям Шекспир в танцах был не силен.

Как-то раз взялась я его учить плясать лаволту.

Лаволта танец легкий. Просто — на каждые два шага поворотишься, потом подскочишь, тесно сдвинешь ноги и сразу замрешь — стоишь.

Так мистер Шекспир, он в огонь свалился.

Совсем немного времени прошло с тех пор, как она своего деда приняла за своего уехавшего отца, как вдруг Сусанна моя приходит опечаленная, что, мол, на дворе туман.

А тумана никакого и в помине не было.

Стоял июнь, был ясным-ясный день.

Ну, тут уж я ей завела очки.

Мы их на Теддингтонской ярмарке приобрели.

В три фартинга мне стали.

Теперь-то у ней очки куда подороже, горный хрусталь, в тонкой золотой оправе, муж ей в Бристоле справил.

Джон ее зовет "моя сибила", когда она в очках.

Пишу эти слова бесподобным гусиным пером, прежде мужним.

Кончик наточенный, острый, перо ласкает щеку.

У меня на будущее целый пучок гусиных перьев припасен, и в чернильнице полно черных чернил самого наилучшего качества. Мистер Шекспир вечно с чернилами возился, их составлял, намешивал, орешковые, купоросные.

Вот бы он подивился, узнавши, на что они сгодились его жене!

У меня и песочница отличная имеется, бумагу посыпать, в виде королевы из шахматного набора.

Глава двенадцатая
Доктор Джон Холл

Джон Холл, мой зять, он медицинский доктор.

Прекрасный лекарь доктор Холл и в вере тверд, не путаник.

Больные у него на шестьдесят миль по всей округе.

На ослике он ездит.

Графу Нортгемтону он облегчил плеврит, а графиню его водяночную, ту окончательно вылечил.

Но, видно, к Джону моему прекрасному и к его врачбе мне лучше в другой раз возвратиться.

Нынче мое перо не в силах описать все его совершенства.

Нынче под моим пером выйдут и лебеди, как гуси...

Но вот что они делают, писатели, когда чересчур поздно что припомнят?

Я так думаю, возвернутся назад да и перепашут то, что настрочили.

Уж они прибавят, уж они вычтут.

Одним словом, перелопатят то, что сами же и рассказали.

Едва ли я здесь позволю себе подобное.

Во-первых, у меня такие гладкие, такие палевые страницы.

Что ж кляксы-то на них сажать, вымарывать, между строк словечки втискивать, потом не разберешь.

А во-вторых, нечестность, если рассудить, она себе дороже (хоть и не больно честная та женщина, которая только из-за такого рассуждения честна), и, по-моему, куда честней мои мысли вам сообщать тогда же, когда они ко мне придут.

Стану вымарывать да подправлять, вы небось подумаете, будто я свои суждения переменила.

А я в сужденьях постоянна.

Сплеча не рублю, спрохвала не крою да не перекраиваю.

Первые слова — самые лучшие слова.

И, стало быть, как вспомню — упустила что-то, надо бы вставить, тут же и вставлю в том самом месте, тогда же, когда на ум пришло.

Ну, а нескладно выйдет, прощенья просим.

Вы уж простите меня, будьте так любезны. А не простите, и поделом мне, и на том спасибо.

Вот как оно будет в моей книге.

Зато вы будете покойны, что я вам правду говорю, что рассказываю, как все со мною было.

А к чему я вам это говорю, к чему своими рассуждениями вас потчую, своими правилами, — так-сяк, мол, следует писать, — да все к тому, что утром нынче кое-что еще я вспомнила про чаек, в тот понедельник, в Лондоне, в апреле, перед тридцатым деньрожденьем мистера Шекспира.

Ну, а теперь — можно я добавлю, что эти чайки, мое зрелое размышление такое, орали что-то, как будто слово, покуда одна не сообразила облегчиться своей белой дрянью на голову мистера Шекспира?

"Шекспир! — визжали те чайки на лету. — Шекспир! Вильям Шекспир!"

Вот только что смотрела, как два мужика в конюшне навоз кидали.

Пар шел от навоза, который был с соломой вперемешку навален промеж стойл, на каменном полу.

И от самих от мужиков шел пар.

Вилами они работали.

Полные вилы наберут и валят в тачку.

Который помоложе, он через плечо навоз кидал. Лихой такой, уверенный. Только запястком шелохнет, и всё.

А на запястке золотые волоски.

С виду мокрые и темные, и кучерявились те золотые волоски.

Ресницы от пыли крапчатые, светло-золотые.

Навоз тоже золотом блестел, когда его он ворошил.

Старший, тот был старательней и больше наработал.

Ну да, ясное дело, а сейчас только и стукнуло: тот день необычайный — был понедельник.

Глава тринадцатая
Юдифь

Если Сусанна моя лебедушка, то Юдифь у меня гусыня.

Юдифь моя меньшая.

В 1585 она родилась, так что теперь ей тридцать восемь, на два годочка младше свой сестры, хотя с виду даже и постарше.

Юдифь, конечно, тоже имя из другой книги апокрифов. Героиня, своею жизнью рисковала в шатре у Олоферна, это был генерал Навуходоносора, — чтоб земляков своих спасти. И Юдифь отрезала этому ассирийцу голову, и тогда земляки кинулись на захватчиков и разгромили их в великой битве[1].

Господь муж брани (Исход, глава 15, стих 3).

Моей Юдифи, ей пальца в рот не клади, по совести сказать.

А какой еще ей быть за этим Куини замужем. И кому он нужен, одно недоразумение. Двоих людей я не терплю, и Куини — он за обоих.

Жизнь не легко дается моей гусыне Юдифи.

Не очень она у меня ловкая да сообразительная.

Никогда не была таким смышленым ребенком, как моя Сусанна.

Юдифь, она тугодумная, стеснительная, неотесанная с малолетства.

Отказалась учить буквы, ни читать, ни писать. Зачем мне нужно, говорит, читать и писать.

— Да почему же так? — я ее спрашиваю.

— А потому что я не мой папаша, — Юдифь в ответ.

1. В целом верно передана суть событий, см. Книгу Иудифи. В русской Библии эта книга неканоническая, в английскую Библию не включена, и, называя это апокрифом, миссис Шекспир опять права.

Наверно, она сказать хотела, что не желает быть как ее отец. Может, думала, что это чтение-письмо его от нас утянуло в Лондон. Как бы там ни было, Юдифь не выучилась грамоте, ни тогда, ни после. И теперь еще, если надо подписать бумагу, только ставит знак.

Юдифь в девках просидела, пока ей чуть тридцать один год не стукнул.

А замуж вышла, такого себе выискала, что помилуй Господи!

В семье не без урода, и вот такой он, Томас Куини, у себя в семье.

Отец был в Стратфорде бейлифом, да, а вот с сынком ему не повезло.

Поженились они с Юдифью, еще месяца не прошло, как вдруг оказывается, что другую женщину у нас в округе уже успел он обрюхатить. Женщина родами померла, и младенчик с нею.

Куини присудили к прилюдному покаянию в церкви Святой Троицы три воскресенья подряд, ну, он уплатил пять шиллингов и один, у себя дома, каялся.

Все эти события произошли в последние недели жизни мистера Шекспира.

Сусанна говорит, что история с Куини его доконала.

Говорит, все это отцу разбило сердце и в гроб его свело.

Так и сказала Юдифи в день похорон.

Ну и добилась, что Юдифь с ней годами после этого не разговаривала.

И только тогда они друг с дружкой примирились, когда я обеим им открыла правду:

Что мистер Шекспир в последние свои дни снова стал прикладываться к бутылке.

Уж сколько лет остерегался удела пьяницы.

А потом в компании с двумя актерами, дружками, снова нализался, мозги свои воспалил горячкой, так и помер.

От огорченья ли из-за всей этой истории с Куини он снова запил, нет ли, не могу сказать.

По-моему, могло и так быть, а по-вашему?

Но для таких, как мистер Шекспир, подобное небось предлог, а не причина.

У Куини теперь свой кабак под названьем "Клетка", на углу Мостовой и Главной улицы у нас в Стратфорде.

Глаза бы мои на него не смотрели.

Моя упрямая гусынюшка в двойне родилась.

Гамнет и Юдифь, так мы их окрестили.

Назвали их в честь наших милых друзей Садлеров, им крестных, я про них уж поминала в первой главе, когда рассказывала про мужнюю любовь — да что там, страсть — к сахару, конфетам, всякой сладости.

Гамнет и Юдифь, наши друзья.

Ну, и наши близнецы Гамнет и Юдифь.

Только Гамнет помер.

Бедный Гамнет отправился на небеса, когда ему всего одиннадцать годочков было.

Кого любит Господь, те долго не живут, не замечали?

Ну вот, а Садлеры нам отплатили тем же.

Когда Юдифь Садлер родила дочку, ту окрестили Анной. А потом у них родился сын, так его назвали Вильям.

Всего четырнадцать детей они нарожали, наши друзья Садлеры, только семеро померли в малолетстве, а двое у них придурковаты.

Юдифь Садлер и сама уж девять лет как померла.

Гамнет Садлер, тот живой покуда, хотя пекарня его уже не та, что до большого пожара в городе.

Золото закаляется в огне, верно?

Гамнет Садлер свидетельствовал завещанье моего супруга, в котором ему и еще семерым старым друзьям отказывалось по две марки каждому, чтоб себе купили перстни в память о мистере Шекспире.

Юдифь получила 100 фунтов денег и чашу серебряную, золоченую по завещанью своего отца.

Девять месяцев спустя после того, как вышла она за Куини, Юдифь родила мальчика.

Шекспир Куини — его нарекли.

Но недолго Шекспир Куини прожил на этом свете, через полгода прибрал его Господь.

Что-то погода теперь ужасно какая холодная стоит.

До того удивительно холодная стоит погода, что все быстрые речки в округе насквозь промерзли.

Сегодня поярче разведу огонь у себя в спальне.

Выпью подогретого вина, перед огнем этим сидючи на зеленой своей подушечке.

И поужинаю у камина.

Не очень складная вышла глава, так ведь и номер у нее тринадцатый.

Глава четырнадцатая
Крещенский вечер[1]

Или несправедливо я сужу?

Может, вовсе уж неспособная понять добрую шутку, раз говорю, что дикая блажь нашла на мистера Шекспира, когда он человека вздумал сравнивать с летним днем?

Вот как живу на белом свете, не верю я такому.

Ладно, сейчас я не плясунья, но тогда-то я плясала.

И смеяться я умею.

Всегда даже и хохотала, если случай позволял.

Знаю, не скучная я вовсе.

1. Глава эта в оригинале названа так же, как и комедия Шекспира, русскому читателю известная как "Двенадцатая ночь". Но называться комедия должна бы "Крещенский вечер". Святки после Рождества длятся двенадцать дней и на двенадцатый день (ночь, вечер) кончаются веселым праздником Крещенья. Это и закреплено в английском языке. Русский же перевод этого названия — недоразумение, ошибка, вполне извинительная для XIX века, когда, надо думать, впервые перевели комедию.

Кто хохотал громче всех и дольше всех, когда Гамнет Садлер надел мои желтые чулки с подвязками крест-накрест в тот расчудесный Крещенский вечер?[1]

— Тот, кто весел, пусть смеется[2], — я все твержу, бывало.

И все же — всякому веселью есть предел.

Верно я говорю?

То-то.

Это ж дикая блажь — сравнивать человека с летним днем.

Так водится доселе, блажь гибнет в колыбели[3].

От блажи проку нет.

То ли дело фантазия.

Всякой блажи предел положен, а фантазия, она королева мысли.

Я ж не говорю, что она у меня есть.

Даже и не намекаю.

Мистер Шекспир был способен к фантазии, так мне говорили, и я охотно верю. Когда в ударе, он ею владел, или она им владела. Он эту королеву пускал в свой вольный ум.

Зато когда не в ударе, когда попусту молол чтó стукнет в голову, блажь одна у него и получалась.

Какое же сравнение!

Но, может, и впрямь есть во мне что-то зимнее, старушечье, холодное, чего уж спорить?

Но ведь и без зимы никак нельзя, куда денешься.

В них что-то есть такое — правда? — в деревьях, когда все листья облетят?

Тут видишь голую суть.

Видишь костяк, скелет.

И мы все, мы все там будем.

Но покуда я еще не там, смеяться я умею.

А коли не верите, вот вам и шутка в подтверждение:

Будь он глухой, а я слепая, вот были бы мы счастливой парой.

Глава пятнадцатая
Навозная куча Джона Шекспира

Здесь-то, у себя, в Нью-плейс, в Стратфорде, третьего дня я, известно, и следила, как те двое работников навоз кидали.

Живу тут теперь с дочерью Сусанной, с зятем доктором Джоном Холлом и их дитем единственным, пятнадцатилетней внучкой моей Елизаветой, моей глазастой лапушкой.

Навоз будет хорош для роз у нас в саду.

Я приглядела, чтобы и шелковицу унавозили, которую посадил мой покойный супруг.

1. Именно в таких желтых чулках с подвязками крест-накрест щеголяет в так называемой "Двенадцатой ночи" незабываемый дворецкий Мальволио, надеясь понравиться хозяйке.
2. Двенадцатая ночь. Акт II, сцена 3: "Нам любовь на миг дается / Тот, кто весел, пусть смеется". Перевод Э. Линецкой.
3. Венецианский купец. Акт III, сцена 2.

Уж он гордился этой шелковицей, и очень тешила она его.

Что дерево, что ягодки.

На моего свекра, на мистера Джона Шекспира, старейшины Стратфорда, было дело, наложили штраф: навозную кучу держал не во дворе своем на Хенли-стрит, а за забором.

Сраму от родни не оберешься.

Это первый был знак тому, что жизнь Джона Шекспира теперь вкривь и вкось пойдет.

Куча навозная снаружи, у людей на виду, на ходу, у посторонних под ногами, она вмиг показала, какая порча у него внутри.

Штраф назначили ему шиллинг.

И дружку Адриану Куини, свекра моего собутыльнику — тот к навозной куче, как говорится, тоже руку приложил.

Этот Адриан Куини, будучи дед Томаса Куини, греховодника, который женился, прости Господи, на моей гусыне Юдифи и причинил нам столько горя, я уж рассказывала, если даже и не безвременную кончину мистеру Шекспиру.

Бардолф и Флюэлин: тоже дружки Джона Шекспира. Признали их всех троих в 1592 году смутьянами.

А, да что! Воду толочь — вода будет.

Но надо б кончить эту навозную главу в моей книжке как-то повеселей, и потому добавлю, что этот дом, Нью-плейс, самый удобный для житья.

Построил его тому сто лет лорд мэр Лондона, сэр Хью Клоптон, когда вернулся в родной город доживать свой век.

Дом трехэтажный, на нем пять щипцов, и в нем десять каминов, четырнадцать комнат.

Очень красивый дом, из кирпича с дубовою обшивкой, и мистер Шекспир его перестроил и отделал по собственному вкусу.

Мистер Шекспир за шестьдесят фунтов стерлингов купил Нью-плейс.

И я в нем свила гнездо.

И мой супруг жил здесь, в этом самом доме, со мной и с двумя нашими дочками, все последние свои года — до самой безвременной своей кончины прямо на деньрожденье в апреле месяце 1616 года, тому ровнехонько семь лет.

Глава шестнадцатая
Стратфордская весна

А теперь другой апрельский день я вспоминаю. В 1594 году, вот какой апрель я хочу, чтоб вы представили себе. В год тридцатого деньрождения мистера Шекспира. В год, когда я приезжала в Лондон первый и последний раз.

Я вам, сдается, уж говорила, что день был серый, неказистый, ни то ни се.

Ни соку в нем.

Ни настоя.

Будто бы и не весна.

Весну я за собой оставила, дома, в Стратфорде, недели не прошло, такую буйную весну, когда еще не отцветет терновник, а уж боярышник в цвету.

Вот это весна.

Стратфордская весна.

Почти как та, самая первая весна, когда я только познакомилась с мистером Шекспиром и мы гуляли с ним по маю.

Он нес мои башмачки, а я подоткнула платье, юбку, и я в рубахе плясала по росе.

Мы спустились в Клоптонову лощину.

Свернули в Сниттерфилдовы кусты.

Остановились в Ингоновом лугу.

Я подпевала ручьям и птицам.

Я умывалась высокою травой.

И дикий тимьян был у меня в волосах.

Он наломал мне веточек с сережками.

Он на меня надел венок, корону, я стала королевой Мая.

А майский шест у Марстона высокий был, как великан, в ту первую весну, когда я познакомилась с мистером Шекспиром.

Одного нельзя допускать, когда гуляешь в праздник Мая.

Никогда ни единого цветка боярышника, упаси тебя Бог, не внеси в дом.

Внесешь — это смерть.

Внесешь — смерть на дом накличешь.

Дикий тимьян и ветки розмарина — пожалуйста, те в доме очень хороши, от них дух свежий, сладкий, больше чистоты, и они заразу отгоняют.

А боярышником, тем только все двери положено украсить и окна.

Боярышник — его над порогом вешай, обвивай каждый косяк.

Но никогда, никогда, ни-ни, не вноси боярышника в дом.

Ведь померла родная его сестрица Анна в венке боярышниковом, какой сама себе сплела, когда ему всего девять годочков было, верно?

Сердечники и одуванчики цвели в лугах Сниттерфилда. И маргаритки. А я ромашками их называла.

А что климатиса по плетням у Ингона, и цветы красные, как налитые, но больше желтых.

И ведь какие мы молодые были.

Веселые, как галки.

Тот майский шест у Марстона высокий был, как мачта у сэра Фрэнсиса Дрейка на корабле[1], люди говорили.

И весь в цветах, и в вымпелах, и в лентах.

День целый вокруг него водили хоровод.

Я как увидела тот майский шест, так сердце во мне зашлось, и будто чары околдовали всю округу.

Хвала Создателю, известно, хотя теперь-то уж я не такая дура.

1. Фрэнсис Дрейк (1540/1543–1596) — английский вице-адмирал, мореплаватель и воин. В 1577–1580 гг. совершил второе, после Магеллана, кругосветное путешествие.

И ничего похожего, Бог мне свидетель, я не увидала в Лондоне в тот жуткий апрельский день, когда лебеди были серые, как старые гуси, на этой Темзе.

Ни тебе майского шеста.

Никто не веселился.

Хоть до Майского дня, считайте, всего неделя оставалась.

А и придет он, Майский день, майского шеста там все равно не будет.

Лондон — какие майские шесты.

И только тридцать три башки предателей, еретиков, те — да, те по шестам торчали на Лондонском мосту.

И вой стоял и грохот: река одолевала арки.

Двадцать арок.

Мне ли не знать.

Я посчитала.

От нечего делать.

Что-то ведь надо человеку делать.

Я уже помогла моему супругу мистеру Шекспиру счищать птичье дерьмо с его особы.

Он меня вежливо поблагодарил.

А я его уверила, что тут, мол, и думать не о чем.

Как положено.

Ну, и он со вниманием к моим словам отнесся.

Не стал и думать.

Стоит, улыбается замысловатой своей улыбкой, а почему улыбается, непонятно, и жужжит себе под нос.

Ну, а я рядом стою, не жужжу, совсем не улыбаюсь, и каждому понятно почему.

Сэр Ухмыл меня не замечал.

Будто сама я птичьего дерьма кусок.

Я даже думаю, он больше обо мне бы думал, будь я куском птичьего дерьма.

Ну, а я — нет, я не была.

И я внимательно разглядывала вид передо мной, хоть он того не стоил.

Сочла дома на Лондонском мосту. (Сколько их, позабыла.)

Сочла, сколько арок от берега, где мы стояли, до разъемного моста, где пролазят высокие суда. (Тринадцать.)

А как сочла все арки Лондонского моста, тут я против этого Лондона вскипела.

И захотелось даже, чтоб мост этот грохнул весь в грязную реку Темзу.

И уже пожалела, зачем дома, в Стратфорде, я не осталась.

Глава семнадцатая
Ненастоящий город

Если хотите знать, Лондон мне показался самым бездушным местом, где я когда бывала.

Самое бездушное место, и он грязный, этот город Лондон.

От людей воняло.

Что уж греха таить.

Воняло от них, а все равно — были они как серые призраки.

Ненастоящий он какой-то, Лондон.

Как будто он тебе помстился.

Сказала бы, что на театр он был похож, да только отродясь не хаживала я в театры.

Лучше я так скажу — приведись вообразить театр, подобное я бы и вообразила: место без души, и туда-сюда серые призраки снуют.

Мальчонку видела в рваной вязаной шапке: по чужим карманам лазил.

А всем хоть бы хны.

Видела оборванцев с печалью напускной на лицах, напоказ выставляли свои гнойники и раны, кого-то чтоб разжалобить.

Видела побродяжек, и прыгунов, и торговцев щепетильным товаром, и кукольников, и музыкантов, и торговок игрушками.

Все они словно бы надсмехались над верой и над смертью.

Я видела город мертвецов.

Город теней.

Как зверь о многих головах и подлинно без сердца.

Ей-богу, помереть мне на этом месте.

Весь он как призрак, как выдумали его — город Лондон.

Я даже сомневаться стала, что сама я тут стою.

Но я стояла, да. И Лондон, город теней, был вокруг.

Даже ветер, дроглый ветер с реки в тот преклонный час не похож был на настоящий ветер, и не хотелось его ветром называть.

Разве такой в Арденском лесу ветер или на Стинчкомбовой горе?

Лондонский ветер кружил какой-то дымной вонью, от непроваренной капусты, что ли, не то помоев.

Вонь мне лезла в глотку.

Мне было тошно и противно.

Лондон — живое кладбище, я так скажу.

Лондон — это где мертвецы живут.

Глава восемнадцатая
Бляди и мужеложники

Мамаша, помнится, мне говорила, что в Лондоне полным-полно блядей.

"Женщины в Лондоне, — говорила, — все бляди сплошь, а мужчины — мужеложники ".

Как ни глядела, а ни единой бляди в Лондоне я не приметила.

Видела попрошаек с деревянными кру́жками.

Видела женщин, в платки укутанных, с красноглазыми младенчиками на руках.

Таких окаянцев видела, что прости Господи. Идут, палками-дубинками путь себе расчищают.

Видела, как толчется бедный люд, попрошайничают, товар выкликают.

Видела, как харкнул поп.

Слышала, как пёрнула важная барыня.

Видела кабаки, — все спереди черные, а двери такие низенькие, что разве карлам входить-выходить впору.

Видела самоновейшие кареты.

Видела-слышала, как все мчат неведомо куда на гремучих колесах.

Но, по правде сказать, бляди ни единой я не приметила.

И все равно, сдается мне, я поняла, что́ хотела сказать мамаша, и я так думаю, она права.

* * *

Мужеложники — слово знаю, а так и не знаю, с чем их едят.

Спро́сила раз у мистера Шекспира, он не стал объяснять.

Покраснел весь, когда я спросила, а объяснять не стал.

Греховодник Куини случайно подслушал наш разговор (он тогда только-только повадился под домом шляться, Юдифь подстерегать, а я в саду задавала мистеру Шекспиру свой вопрос). И потом уж Куини, с ухмылочкой, мне объяснил, что мужеложник, мол, это сводник.

Но я так думаю — что́ и похуже.

Нет, друзья мои хорошие, по мне — да пусть он хоть в тартарары провалится, поганый, вонючий Лондон, а вот что́ мой покойный супруг, мой сердечный, в нем нашел, того, сказать по совести, я объяснить вам не сумею.

Ну, разве что театры.

В те поры, известно, приходилось ему поближе быть к театрам, ради своего ремесла.

Отдаляться от ремесла не след мужчине.

И еще, надо признаться честно, тянуло мистера Шекспира к знатным господам. С самых тех времен, как Юлий Цезарь построил лондонский Тауэр и сунул туда львов, всегда в Лондоне было больше знатных и великих, чем где еще, ну и кто захочет в жизни отличиться, все туда съезжались, к ним поближе.

Но великие — те не добрей других.

И знатные — других не честней.

Я бы уж ему порассказала, если б дома он остался.

Добрые, они и честные, и человеку малому порой даже и легче добрым быть, чем великому быть всего-то тенью.

Уж и про это я бы ему порассказала.

Свои вопросы задавай у камелька, там отвечать сподручней.

Ну, а театр — дворец теней.

И Лондон — царство театров.

Но вдруг простые люди, деревенщина, чаще бывают добрыми и честными, а городские да знатные — они всего-навсего тени?

Заметьте, я не говорю, что городские все сплошь плохие.

А знатные всегда злые.

Не дура — такое говорить.

Одно я говорю — мамаша всю суть постигла насчет блядей.

Мать давно уж померла, когда я вышла замуж.

Отец, он за год перед тем помер, отказавши мне по последней воле десять марок.

16 фунтов 13 шиллингов 4 пенни.

Мое приданое.

Глава девятнадцатая
Львы

Но вправду ли Юлий Цезарь построил лондонский Тауэр?

Неужели Юлий Цезарь построил лондонский Тауэр?[1]

Мистер Шекспир говорил, что якобы да, он построил, но только, простите меня великодушно, я сомневаюсь.

Не всему я верю, что говорил мистер Шекспир.

Не вчера родилась.

Но львы — они в Тауэре и точно есть.

Я их не видала.

Я их рев слыхала.

Львы! Подумать!

Доктор Джон Холл говорит, что лев — символ Воскресения.

Львенок мертвым рождается и мертвым остается три дня, покуда папаша-лев на него не дохнет, и тут он оживает.

Еще мой зятюшка мне объяснил, что лев — это символ у евангелиста Марка, потому что свой рассказ он начинает с того, как Иоанн Креститель с Иисусом в пустыне повстречались[2].

Говорят, если обернуть одежу львиной шкурой — против моли прекрасно помогает.

Говорят, львиное мясо излечит дурные сны и лишние думы в ночную пору.

Говорят, если кому в питье подбавить львиной желчи, сразу же тот отравится или умрет.

И у Перчаса, в "Паломниках"[3], я прочитала, что будто бы, если львица покажет зад самцу, тот убежит.

И так ужасно волки боятся львов, что, если хоть сколько бросить львиного сала в источник, волки ни за что к тому источнику не подойдут и оттуда пить не станут.

Вот почему, да мало ли почему еще, я львов люблю.

Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним; а праведник смел, как лев (Притчи. 28:1).

Лев не тронет истинного принца.

(Даже и Джон Шекспир говаривал, по пьяной лавочке[4].)

1. Тауэр (самую древнюю его часть, Белую Башню) начал строить Вильгельм Завоеватель в 1078 г.
2. Довольно вольная трактовка Евангелия от Марка (1:4—13). Однако, несмотря на это спорное обоснование, апостол Марк в самом деле традиционно изображается на иконах вместе со львом (Матвей с ангелом, Лука с быком, Иоанн с орлом).
3. Сэмюэл Перчас (1575—1626) — историк, священник, автор книг о путешествиях.
4. Ср.: Король Генрих IV. Часть I. Акт II, сцена 4. Слова Фальстафа, обращенные к принцу Генри: "Прими во внимание чутье; лев не тронет истинного принца". Разумеется, Джон Шекспир вовсе не цитирует своего сына. Он, как и пьянчуга Фальстаф, приводит старинное английское присловье.

И что́ бы мистеру Шекспиру меня в Тауэр свести — поглядеть на львов.

Глава двадцатая
Ласковости

Я дрожала.

У меня зуб на зуб не попадал.

Мистер Шекспир снял с себя плащ и укутал мне плечи.

— Ну, развеселись, осень ты моя маленькая, — он мне сказал.

Самые теплые слова для меня нашел, вот как приехала, — осенью обозвал.

На ласковости не чересчур щедрился, со мной во всяком случае.

Маленькой меня назвать — в том ласки нет.

Во мне пять футов дюйм с четвертью, если в одних чулках.

В мистере Шекспире было все шесть футов.

Если он, известно, прямо встанет.

Если разогнуться ему не лень.

Скрючился весь, словно писец.

Ясное дело, писанина спину ему согнула, какое же сомнение.

И очень уж он в те поры был тощий.

Посмотришь сбоку, его и не увидишь.

Прошу прощения. Я все рассказываю как есть.

Не нравится вам — что ж я поделаю.

Но мистер Шекспир ростом был высок, это уж доподлинно.

Мне на него снизу вверх приходилось глядеть.

Я на него снизу вверх тогда и глянула.

— А далеко ли нам идти, миленький? — так робко я спросила.

Будто сколько миль до Вавилона я узнать желаю[1].

Совсем на меня Лондон тоску нагнал.

Хотелось горяченького скушать.

Сочные говяжьи ребрышки мне бы в самый раз.

Или пирог с олениной, с подливкой и с зеленым горошком.

И ничего такого, я уж поняла, мне не видать.

И вовсе покушать не придется.

Чуяла я уже, что день этот не заладится.

Но того не могла я знать, что за тем днем будет ночь, ни с какой другой ночью за всю мою жизнь не схожая.

— Все равно я озябла, — я сказала супругу. — Далеко ли еще?

— Нам на Бишопсгейт, — сказал мистер Шекспир, — сразу за церковью Святой Елены. Не так уж далеко. И от ходьбы ты разогреешься, правда?

Он мешкал, мялся, он кромсал свою шляпу, закусывал губу, как всегда перед тем как ко мне притронуться.

Как увижу — закусил нижнюю губу, уж знаю — сейчас он ко мне притронется.

1. То есть задавала шуточный вопрос, не требующий ответа. Как в английских детских стихах: "Сколько миль до Вавилона? / Дважды пять и шестьдесят..." Перевод О. Седаковой.

Так мы стояли и долгий миг друг на друга мы глядели.
Река грохотала под арками.
Туда-сюда шлялись призраки.
Церковный колокол пробил время: шесть раз.
Я кивнула.
Мистер Шекспир сказал:
– Тогда идем же.
Он взял меня под руку, и мы вместе отправились к нему на квартиру.

Часть вторая
Пешком через Лондон

Глава двадцать первая
Плащ

Очень он был хорош, тот плащ, который мистер Шекспир накинул мне на плечи.

Из бархата, с золотым шитьем.

Цвет темный.

А подбой бледно-бледно-розового шелка, мягкого, прохладного, бесподобного на ощупь.

Мы идем, а я эту подкладку все пальцами оглаживаю.

Как пух лебяжий.

А скроен тот дивный плащ был по итальянской моде.

И развевался на ходу.

Не думайте, что раз из Стратфорда всю жизнь не вылезаю, значит, я в моде ничего не смыслю.

Отличу небось сокола от цапли[1].

И модный крой плаща замечу сразу.

Знаю, какой он, итальянский крой, какой английский, а какой французский.

И лучше того бархатного темного плаща мистера Шекспира я в жизни плаща не видывала, разве что на карнавале в честь Королевы в Кенилворте.

Ей-богу.

И уж плащ мистера Шекспира, известно, был лучше всех, какие самой мне приходилось на́шивать.

Идем мы рядышком, а я все примечаю прочую оснастку моего супруга.

Плащ-то он снял, и я увидела, каков он, когда раскутанный.

Да, тут было на что поглядеть!

1. Старинная английская поговорка. Ср.: Гамлет. Акт II, сцена 2. Слова Гамлета: "Я безумен только при норд-норд-весте; когда ветер южный, я отличу сокола от цапли".

На мистере Шекспире был черный шелковый камзол, на груди с подбивкой, узкий в поясе, и по всему по переду тесно-тесно серебряные пуговицы блестят.

При камзоле брыжи, белые, крахмальные, из-под рукавов пенное кружево.

Был еще гульф, узорный, цвета скобленой меди.

На голове высокая шляпа.

Та самая шляпа, которой он роскошно помахал, когда надумал сравнивать меня с зимним днем.

Оставался бы в шляпе, и плевать бы ему на чайкино дерьмо.

Ничего, ему-то поделом.

Да лучше бы ту шляпу вообще ему не нацеплять.

Уж очень она мне противна показалась.

Шляпы вообще не шли мистеру Шекспиру.

Помню шляпу, в какой он щеголял на свадьбе у Сусанны.

Как труба печная торчала у него из черепушки.

Ее тогда еще ветром сдуло, а он и разозлись, что никто ловить не кинулся.

А чего ж он ждал? Все нарядились, каждый о своем уборе пекся.

Мистер Шекспир ловким бегуном не был отродясь.

А тут еще охромел он, в одной ноге подагру нажил.

Ну, коли ты хромой, зачем же шляпу на свадьбу к дочке надеваешь?

Тем более при норд-норд-весте.

Тут никуда не денешься, читатель:

Сэру Ухмылу шляп лучше б вовсе не носить.

Слишком башка большая, никакой шляпе с удобством не усесться.

Шляпы у него сидели на макушке, как голуби на статуе, только и ждали случая, чтоб им слететь.

И все же, хоть мне она не глянулась, эта мужняя высокая шляпа, а я так прикинула, что тоже недешевый она предмет.

И уж конечно, ее долго подбирали, чтоб в цвет к плащу.

Тулья рыжая, поля с испода розовые.

А сбоку перо павлинье, прикреплено на пряжке накладного золота.

В хорошенькую сумму, я прикинула, встало снаряженье мистера Шекспира.

Я тут рассказываю, вспомните, про девяностые года прошлого века, когда пара домотканых чулок вам в три шиллинга вставала, а уж бархат никак не шел меньше чем по фунту ярд.

Ох и дорого одежа в те поры обходилась.

Помню, Гамнет, уж при смерти лежал, захотелось ему, вынь да положь, новомодных сапожек.

Такие тогда носили: голенище широкое, вывернутое, с бахромкой.

Семь шиллингов четыре с половиной пенса за них я отдала.

Гамнет в постели их носил, так ни разу и не прошелся.

Так в модных этих сапожках мы его и схоронили.

— Гороховая похлебка, — вдруг, ни с того ни с сего, говорит мистер Шекспир.

— Прошу прощенья, сэр? — я ему в ответ.

— Этот плащ, — мистер Шекспир мне объясняет, — так называют его цвет — гороховая похлебка.

Ну не дурацкое ли оправданье мотовства?

Такое имя дать убогое такой великолепной вещи.

Глава двадцать вторая
Кусочек белой тучки

Я про этот плащ ни слова не сказала своему супругу.

Приятно мне в нем было.

Идем мы, а я все шелковую подкладку щупаю, так и сяк присбориваю.

А то на лицо его натягиваю, если на меня какой охальник вылупится, или разносчик выскочит из лавки, или лошадиные копыта взобьют уличную грязь.

И бархат тот гороховый волнился и вздувался от моих шагов.

Но не стала я ничего ему говорить про этот роскошный плащ, ни про дорогую шляпу, ни про чулки, ни про камзол.

Мистер Шекспир, знаете ли, не то чтоб мешками слал золотые и прочие монеты с посыльным в Стратфорд, на хозяйство.

Годами я почитай что одними посулами жила.

Семь тощих лет.

Только тем и спасалась, что жила при его родителях.

Каждый кусок считала. (Не мотай, нужды не будешь знать.)

У Джона и Марии Шекспир на шее я сидела, тоже не велика радость.

Дом на Хенли-стрит был невеселый дом.

Я свою долю, известно, тоже вношу, бывало, стряпаю, стираю, убираю, но черствый был мой хлеб и жесткая моя постель.

Жесткая, холодная, как крапивой устланная.

Они так думали, что слишком рано их старшенького охомутали, что подловила я его.

Мария Шекспир внучков любила, да и меня, по-моему, немножко полюбила после смерти мужа, когда уж сердце оживело в ней.

Но в те поры, когда старый мистер Шекспир то злится, как сыч на крупу, то схватится — и в кабак, и домой приходит нализавшись, ее, видно, только на то хватало, чтоб меня винить за отсутствие моего-то мистера Шекспира.

— Не ты бы, — как-то раз мне говорит, — и оставался бы он дома, в Стратфорде, как люди.

Так я и не поняла.

Или она на язык мой намекала?

Язык у меня хорошо подвешен, это уж не сомневайтесь.

Правда, у меня и голова есть на плечах.

Свекровь моя, надо сказать, меня в строптивицах числила.

Ну, а я, я числила ее в святых.

(Не то чтоб мне святых в молитвах не хватало, сами понимаете.)

Просто я хочу сказать, что Мария достоверно была святая, раз претерпела столько от свекра моего, да и от мистера Шекспира в его юные года.

Дальше еще порасскажу.

Помкнул на грех, по отцову следу, как пес с хвостом кургузым.

Ну, а насчет Джона Шекспира — все равно я его добром поминаю.

С большущим брюхом, с щекастой рожей был старик.

Не только был перчаточник, еще и шерстью ведал, и деньги в рост давал, и ячменем торговал, и лесом, овцами, кожей, мясом и шерстью.

А вино — то главное его было дело да погибель.

Сперва, известно, потреблял, как водится у людей — для разговору, чтоб смазать сделку, а сделки же, они часто по кабакам ладились.

Ну, и скоро настал день, когда уж он никакого дела не мог сладить без винной кружки.

А потом такие дни пришли, и много дней, когда уж вино всякое дело ему застило.

Пришли такие дни, и Джон Шекспир стал пьяницей.

Вся жизнь его была в питье. Другой жизни не осталось.

...потому что пьяница и пресыщающийся обеднеют, и сонливость оденет в рубище (Притчи. 23:21).

Моему мужу и в школе доучиться не пришлось из-за позора и разорения отца.

Всю жизнь Джона Шекспира сгубило пьянство, и все же (я так скажу) не всегда была безобразна эта жизнь, не вечно безлюбовна.

Иной раз, даже во хмелю, такой вдруг сделается нежный, милый! Как подменили.

И на жену влияло, хоть она капли в рот не брала.

Бывало такое. Обоих забирало.

Как дети малые, и смех и грех.

Помню, раз в Сочельник нализался он хересу и давай у нас с ней выпрашивать кусочек белой тучки.

Весь в слезах, и кусочек этой белой тучки у нас клянчит.

— Хочу такой рождественский подарок, — молит нас, — пусть и невозможно.

Я стою, диву даюсь, не знаю, что сказать, а Мария, та только велела ему, чтоб подождал минутку.

Пошла в сад и там набрала для него пригоршню снега, что только-только выпал.

Дала она старому Джону Шекспиру эту пригоршню снега, и сразу тот умолк и снег поцеловал.

И уснул, губами в снег.

Уснул, как дите, снег даже еще не растаял.

Зато в другой раз я видала, как Джон Шекспир так пнул жену, что она с лестницы скатилась.

Да и ко мне руку не раз прикладывал.

На Хенли-стрит не рай был, сразу вам скажу.

И прожила я там семь тощих лет, на милости у свекра.

Мало радости, надо признаться.

Зато я хоть не побиралась, в долг не просила, не воровала, не подыхала с голоду.

Сусанна говорит, что насчет вина и пьяниц мой муж рассуждает во многих пьесах, — это в особенности "Антоний и Клеопатра", акт II, сцена 7[1], "Буря", акт II, сцена 2[2], и во второй части "Короля Генриха VI", акт II, сцена 4[3], но главное-то где мистер Шекспир выдает, что вовсе не понаслышке знает, какую адскую власть может забрать вино над иными душами, это в том месте, где его герой Гамлет, когда пора уж встретиться с призраком отца, все мнется и заводит долгую речь на эту тему, ну совершенно ни к селу ни к городу[4].

Сусанна говорит, что эта пьеса "Гамлет" самая длинная у мужа, и в ней такого наворочено, чего он сам не может расхлебать. Просто, Сусанна говорит, мы должны признать, что там мистер Шекспир замахнулся на такие темы, какие оказались ему не по плечу. Чтоб разобраться в Гамлете, такое мнение Сусанны, нам надо постигать такие вещи, в каких он сам не смыслил.

Ну, а по-моему, чересчур она к отцу добра.

Жена вам такое порасскажет, на что дочка не насмелится.

Жене самая суть открыта.

Ах, да знал он, знал, что́ портит-корежит жизнь, что́ любое дело губит.

Мой муж.

Бедный мистер Шекспир.

Сын своего отца.

Глава двадцать третья
Секреты

Скоро он разбогатеет, мистер Шекспир сказал.

Это когда только собрался покинуть меня одну с детьми и смыться в Лондон.

Кажется, на ту Пасху дело было, когда у нас дымоход загорелся.

Иными словами (получше, на исторический манер чтоб выразиться), в год под самый год Великой Армады.

Сусанне нашей еще четырех не исполнилось.

Близнецам два года.

Мистер Шекспир был двадцатитрехлетний, скороспелка в самом цвету.

О, зато гордые помыслы так и распирали.

Волоса, бывало, клочьями терял, как начнет толковать о том, что он замыслил.

1. В частности слова Цезаря: "Смотри, как всех нас разрумянил хмель, / Сам Энобарб не устоял. Я тоже / Ни слова не вяжу. Нас не узнать. / Вино нас, как шутов, размалевало". Перевод Б. Пастернака.
2. В этой сцене Стефано дурачит и спаивает Калибана.
3. Имеется в виду попойка в трактире "Кабанья голова", часть, акт и сцена указаны верно, но пьеса не та, все описанное происходит не в "Короле Генрихе VI", а в "Короле Генрихе IV".
4. См. Гамлет. Акт I, сцена 4: "Такие кутежи / Расславленные на восток и запад, / Покрыли нас стыдом в чужих краях, / Там наша кличка — пьяницы и свиньи". Перевод Б. Пастернака.

Говорит, их дергает, и глаза горят.

Всё разговоры, разговоры, и надежды, одно желание: уеду и уеду, в столицу, к людям.

Да он, по-моему, аж солнцу самому завидовал.

Совсем мне его слезы губ не солонили, когда со мной прощался.

— Буду писать, — пообещал.

(А я-то вздумала, что он про письма!)

— Передо мной великий путь, жена, — так и сказал. — По морю с сэром Фрэнсисом Дрейком, никак не меньше.

Ну, а что-то не верится мне, чтобы он руку приложил к разгрому и потоплению Испанской Армады[1]... Даже вида крови не переносил. Как-то порезала я себе палец (лук мельчила), так он грохнулся без памяти.

Потом ведь шел уже рассказ о другом морском путешествии, правда?

К Алеппо какому-то.

На корабле под названьем "Тигр"[2].

И вот досада, что из-за какого-то крушенья у берегов Богемии наш отважный молодой моряк опять остался без гроша, бедняжка[3].

Да ходил ли мой супруг когда матросом в море?

Вот затрудняюсь вам сказать.

Одно я вам скажу: а нет в Богемии морского берега.

И Алеппо, в Турции, тоже никакой не порт (проверила).

Толком и не знаю, где его мотало в те первые года, если по правде вам сказать.

Мистер Ухмыл всегда был плут.

Врал так, что чертям тошно.

Хоть им-то что́, чертям.

Им только в радость — людей морочить.

Вот и ему.

Но дело тут не так-то просто.

Мистер Шекспир врал не одной забавы ради.

Мистер Шекспир мнил, что путем вранья он душой высвобождался.

Попробуй-ка припри его к стене.

Уж так ли, сяк ли, а вывернется, не подловишь.

И всегда, вот сколько знала я его, мистер Шекспир всю свою фантазию пускал на то, чтоб сказки сочинять про самого себя и высвобождаться.

Вторая натура это у него была.

К примеру: был он в Уилмкоте, а скажет, что в Бидфорде.

И не потому, что в Уилмкоте он набедокурил, нет, да и вообще ни-почему, а просто — не хотел он, чтобы ты знала, где он был.

И прямо по глазам видно, как его тешит, что ты, дура, веришь, будто он провел день в Бидфорде.

1. Английский флот в 1588 г. в битве при Гравелине нанес Испанской Армаде сокрушительное поражение.
2. Макбет. Акт I, сцена 3. Из песенки ведьмы: "Плывет на "Тигре" муж ее в Алеппо". Перевод Б. Пастернака.
3. Зимняя сказка. Акт III, сцена 3. После вводной ремарки "Богемия — пустынная местность у моря" сицилийский лорд говорит моряку: "Наш корабль приблизился к Богемии пустынной".

И сладко ему, что ты воображаешь, будто он брел вот той тропкой, видел вот тех кур, разговаривал вот с тем мужчиной, с той женщиной.

А он-то знает, что ничего подобного.

Знает, что был в Уилмкоте, не ту скотину видел, брел не тем путем и с теми говорил, о ком у тебя и в мыслях нет.

Таким манером мистер Шекспир держал свою жизнь в секрете.

И для чего?

Да просто такой был человек.

И так же в точности, я думаю, всегда его тянуло на не ту дорожку.

Скажешь ему, мол, пойди-ка в Уилмкот, полюбуйся на майский шест, он спасибо скажет, с виду обрадуется, а только отвернешься, потопает в Бидфорд.

Или он думал, что майский шест, который он насочинит, прекрасней всех на свете танцев?

Или потому всегда на кривую дорожку его тянуло, милей она ему была, что кривде его, его вранью под стать?

Гамнет и Юдифь — это они хотели, чтоб я на львов полюбовалась в лондонском Тауэре.

Домой вернулась, и сразу они просить — расскажи им и расскажи про львов.

Какие у них гривы? А мед они едят? Какие у них лапы? Какие когти? То-се, без конца.

Ну не могла я им врать.

Просто сказала своим деточкам, что слыхала львов, только и всего.

Было ль мне обидно? Свербила ль меня тоска, что у мистера Шекспира от меня секреты?

Читатель, о нем одном была моя тоска.

А на секреты на его мне было наплевать.

На тайны, на секреты, на мелкое безвинное вранье.

Уж я-то своего супруга знала. Знала этот взгляд на его лице, когда он врал про Бидфорд, когда лицо само было в Уилмкоте.

Знала, что этого лица хозяин и властитель[1] не мог иначе.

Свобода ему нужна была: под словами правду прятать.

Ну, и скоро я перестала задавать вопросы мистеру Шекспиру.

А он перестал мне про Алеппо врать.

Молоть про то, как якобы ходил матросом в море.

Особенно после того, как та лодчонка на Эйвоне перекувырнулась, когда он у нас гостил и повел Сусанну с близнецами по речке покататься.

Их на запруду понесло.

Спасибо Алверстон, мельник, всех повыудил багром.

Ну вот, и кончаем мы главу в моей истории, проходя по адским (лондонским) улицам, я — в дорогущем гороховом плаще, а рядом мой супруг в одежках, какие столько стоят, что год целый хозяйство можно бы вести.

1. Ср.: "...внешности своей хозяин и властитель". 94-й сонет. Перевод Н. Гербеля.

Ну, теперь, видно, вы поняли, почему мистеру Шекспиру нужны были секреты.

Не такая уж я дура самомнительная, не воображаю, будто сама вам объяснила.

Чужая душа потемки, слава тебе Господи.

И только Бог единый в превеликой мудрости своей может разобраться, что там к чему.

А все же я надеюсь, что по моему рассказу вы можете представить, как у мистера Шекспира дело обстояло по этой части.

То есть насчет души.

И вовсе не был он свободен.

Раб он был выдумок своих.

Как дальше вы узнаете, эта моя книга — про самый про большой секретик мистера Шекспира.

Все время мы к нему идем.

И вы откроете этот секрет, только читайте дальше.

Я его выведала.

И я была сообщницею мужа.

Погодите.

Узнаете.

Или я его уж чересчур хитрым показала?

Может быть, и так. Плохо, если так.

Он порой бывал такой простой, мистер Шекспир.

Ой, как-то раз, еще вначале, подарил мне белую розу, меня поцеловал и ангелом назвал.

Но женщины не ангелы, хоть ангелы лицом.

Ну, а я-то, я и лицом никогда на ангела не походила.

* * *

И вот я разеваю свой большущий рот, и из него вылазит истинная правда:

В мистере Шекспире секретов было, что в коровьем хвосте репья.

Глава двадцать четвертая
Конопас

Лучше я без обиняков, прямо вам скажу:

Я за ним послала своих братьев.

Послала их по дороге через Банбери в Лондон, его проведать, поглядеть, как он богатство наживает.

В первый же раз, как поехали, все они разузнали и привезли мне такое известие, что мистер Шекспир честь по чести имеет должность.

Мой муж — конопас!

И все они мне объяснили.

Что ни вечер, говорят, можно его увидеть перед театром, — там он, на улице, и служит.

Работа его такая — стоять-держать коней.

Скажем, приезжает господин в театр без прислуги.

Куда ему коней девать, покуда сам в театре?

Ответ: мистер Шекспир постоит-подержит.

Не больно работа прибыльная.

Но потом-то прибыльнее стала, когда он наладил дело.

Это уж мне братья рассказали, когда второй раз съездили.

Мистер Шекспир больше не стоял, не держал коней.

Теперь он нанимал мальчишек, чтоб держали коней вместо него.

Работали под его началом — стайка сопляков.

Да еще слава ему от них была.

Спешится господин: "Вильям Шекспир!" — стало быть, человека кличет, какому можно коней доверить, а кто-то из мальцов уж тут как тут, шапку мнет, кричит:

— Я Шекспиров малый, сэр!

Скоро Шекспировыми малыми стали звать уж всех подряд, кто этим конским делом промышляет, мне братья рассказали.

Я одно-единое письмо написала мистеру Шекспиру. В нем стояло:

"Любезный супруг. Сим сообщаю, что тебя люблю, вдруг ты про то забыл, приехавши в Лондон.

Твоя бедная, но неукоснимо верная

Анна".

Глава двадцать пятая
Прокормить птенцов

Когда сама я опять увидала мистера Шекспира, он от лошадей уже отстал и в люди выбился.

Такой успех: стоял снаружи у театра, теперь уж внутрь пролез.

Это, пожалуй что, когда он домой явился на деньрожденье близнецов, в 1589, в феврале.

И на мои расспросы он мне отвечал, что теперь он, как у них там называется, исполнительный помощник.

Или он сказал — помощный исполнитель?

Да какая разница, пусть он сказал — исполнительный помощник, я-то разве не в своем праве думать, что на самом деле он помощный исполнитель был?

(Смотри главу двадцать третью.)

(Смотри всю его жизнь.)

Э, не важно.

Мистер Шекспир пролез-таки в театр.

Правда, по совести сказать, я и сама не помню, то ли первая должность моего супруга внутри театра была исполнительный помощник, то ли помощный исполнитель.

Всё лучше конопаса, это я запомнила.

Орать на актеров, такая должность, тоже я запомнила.

Мистер Шекспир мне втолковал, что должен актеров созывать на сцену.

И много еще чего он мне нарассказал про эту важную работу, и как трудно — исполнять, не то помогать, да я, простите меня великодушно, запамятовала.

Ничего. Я главное запомнила.

Главное — жалованье помощного исполнителя.

На него и птенчика не прокормишь.

Мне ли не знать?

Поди-ка прокорми.

А у нас их трое было.

Ей-богу, деньги заслужили главы отдельной в этой книге.

Деньги!

То-то и оно.

Глава двадцать шестая
Под яблоней

Своею волей не рассоришься, тут двое нужны.

Иной раз себя и спросишь: а может, мистер Шекспир остался бы со мною в Стратфорде, кабы не близнецы?

Ведь это же какой для него, думается, был удар, радость, известно, тоже, когда я их родила.

Вот была б у нас одна Сусанна, да?

Без Сусанны, конечно, нам бы никак нельзя, без умной, без очкастой моей лебедушки.

Не быть бы нам друг с другом, кабы не Сусанна.

То есть ни за что бы не женился он на мне, не затяжелей я тогда Сусанной.

А тут — и за два месяца притом перед его-то самого двадцать первым деньрожденьем — у мистера Шекспира вдруг оказывается на шее жена с тремя детьми.

Не думайте, я не малахольная, и не бесчувственная, и не злая.

Не воображайте, будто я сто раз не примерялась — как бы это глянуть на все наши дела его глазами.

Прямо он мне про это ни полсловечка не сказал.

Не жаловался, не корил, не злился.

Но, может, ноша эта четверная слишком тяжела ему была?

Тем более, в двух комнатенках на Хенли-стрит.

Знаю, обоим нам на Хенли-стрит порой и думать было тесно.

Тем более, Джон Шекспир пил.

А Мария Шекспир, святая, тем более, все суетилась.

Но вы послушайте.

Другая была тому причина, что он уехал.

Мистер Шекспир от того сбежал, во что, он чуял, кабы остался, мог он превратиться.

Правду сказать — дьявола посрамить.

Сказать-то я скажу, хоть и не только дьяволу от этого выйдет посрамление.

Сказать-то надо, хоть и себя, и мистера Шекспира тоже я ославлю.

Мистер Шекспир сам пил до одури в те давние года.

Одно время до того же свинства он допился, как папаша.

Вместе кутили, буянили, гуляли — старик, брюхастый, краснорожий, и молокосос, как щепка тощий.

Отец и сын, вот срам!

У одного седина в бороду, другой еще и бороды не нажил, — пьют оба непотребно.

Правда, недолго это было.

Как отрезало, когда оба, папаша и сынок, поспали-переночевали разок под яблоней.

Шел дождь.

Пролежали они в обнимку под этой яблоней до света.

Так нализались, что и ползком до дому не могли добраться.

Наутро супруг ввалился в дверь, а про это ни гу-гу.

Три дня, три ночи в постели пролежал, лицом к стене.

Старик пришел за ним, а он — нет, больше не идет в кабак.

С отцом — ни слова. Будто нет его на свете. Лицо воротит от него.

Лежит в постели, ни спит, ни бдит, в стенку уставился.

А как встал мистер Шекспир с постели, он и уехал в Лондон.

Уехал в Лондон и позади оставил отца с его повадкой.

Одна беда — он и меня оставил.

Я так думаю, что в Лондоне мистер Шекспир не пьянствовал.

Там в театрах все больше повесы, моты, из кабаков не вылазят, ну, а он — он от них держался в стороне.

Они и в дверь ему стучат, зовут кутить, а мой супруг — нет, скажет, мол, болеет, не может.

Что́ бы ему вот так-то после свадьбы нашей Юдифи!

Вино губит душу.

Чем больше пьяный пьет, тем больше ему хочется — это как червь, когда он крови насосался.

Глава двадцать седьмая
Херес

Отец мистера Шекспира все пил и пил, когда уж сам-то он уехал.

Даже, можно сказать, подлый старикашка потом еще хуже освинел.

Все больше опускался, хоть, кажется, куда уж больше.

Да, нагляделась я. Тут же, на Хенли-стрит, жила.

Джон Шекспир, сын арендатора-крестьянина, собственными трудами высоко поднялся.

Джон Шекспир в лучшие свои года был главой совета в Стратфорде.

В полицейских, в казначеях, в судебных приставах побывал прежде чем на такую должность выбиться.

Так высоко вознесся человек, а ниже раба природного он пал, и все из-за своего позорного порока.

Кончил, как свинья.

Совсем спился с круга.

Дело свое небрег, потом и вовсе бросил.

Так часто не являлся на совет, что в конце концов у них там лопнуло терпенье, ну, его и прогнали.

В долгу как в шелку, и ведь еще больше увязал.

Заложил наследную женину землю, а толку-то, всё прахом. (Ей это надорвало сердце, хоть все равно она за него молилась.)

Что и было в нем хорошего, то потонуло в хмельной чаше, свинцом попáдало на дно.

Погиб совсем, пропал, как червь капустный, болван-болваном стал, огромный кусок мяса.

Ходил весь драный, куртешка обтрепана, протертые штаны, чулки на пятках до дыр проношены, обувка стоптана, веревка вместо подпояски, и на голове шапка засаленная, в дырьях, оттуда космы лезут.

Скоро дом только у него и остался и чем зад прикрыть.

Да и полдома и всё, чем зад прикрыть, он задолжал кабатчикам.

В последние свои года Джон Шекспир даже в храм Божий сунуться не смел, боялся, как бы там его не сцапали, иск не вчинили за долги[1].

Сидит, бывало, весь гнутый, у огня, и одно херес глушит.

Вечно его пил.

Херес.

Такое белое крепкое вино, и уж старик его потреблял подогретым, перегретым, жженым и подслащенным, а то с сушеным хлебцем или с яйцом.

Только на хересе и жил, когда уже душа не принимала пищи.

Всё шутки свои шутковал, сказки свои рассказывал, да кто же слушать станет.

Ну, а потом и вовсе — грязный, стыдно даже, как гора раздутый, валился навзничь, как еще постель не проломил.

Всю жизнь куражился, а тут все каялся, смирялся.

Джон Шекспир сделался папистом.

Тут и конец ему пришел.

Глава двадцать восьмая
Третьи убийцы

Да ладно, хватит про эти ужасы.

Лучше про мои про собственные тощие года...

Видно, через эту исполнительную помощь мистер Шекспир и прибился к мистеру Бербеджу[2].

1. По тогдашним английским законам, в дом к человеку, чтобы его арестовать, зайти было нельзя, в церкви же арестовать было можно.
2. Джеймс Бербедж (ум. 1597) — видный английский театральный делец, совладелец театра "Блэкфрайерз", способствовавший созданию знаменитого театра "Глобус". Шекспир с ним познакомился через своего друга, а его сына, Ричарда Бербеджа (1567–1619), знаменитого трагического актера своего времени.

Это я про мистера Джеймса Бербеджа, прекрасного дельца.

И тогда-то, видно, когда он втерся к мистеру Бербеджу в доверье, мистер Шекспир в один период времени играл на сцене.

Ну, и вы уж сразу небось подумали, что раз человек так умеет притворяться и врать насчет Бидфорда, когда на самом деле был в Уилмкоте, вы небось себе вообразили, что великий притворщик, ясное дело, окажется прямо чудо каким актером.

Как бы не так.

Мне уж порассказали.

И главное дело, чьему сужденью можно доверять.

То есть кто своими глазами видел, своими ушами слышал, как он играл на сцене.

Мой деверь, Нед, к примеру, меньшой его братишка[1].

С большим дарованием актер, мне про Неда говорили. Уж надо думать. И он будто бы играл даже в пьесах моего супруга. И мой супруг будто бы писал некоторые роли прямо для него. Одну там, помнится, звали Розалиндой[2]. (Мужчинам в театре приходится женщинами прикидываться.)

Так вот, Нед, он говорил, что его старший брат Вил не то чтоб хорошо играл.

Что ж удивительного.

Пусть мистер Шекспир и был отпетый враль, а не приспособил его Господь для актерского дела.

Врать с глазу на глаз — это одно.

При всех прикидываться — совсем иное.

Ну, не было у него этого, что называют сценическая внешность, и голос тоже небогатый.

Это Нед мне объяснил.

У Эдмунда, у того эта сценическая внешность как раз была. И голос — что петь, что говорить, хоть тоненько, хоть басом.

Зато мистеру Шекспиру были по плечу, как брат его их называл, второстепенные роли.

Ну, призраков, глашатаев, трётьих убийц, четвертых гонцов и тому подобную шушеру.

Но даже и в тех ролях он не имел успеха.

Бывало, даже и слова перезабудет, но сразу же, на месте, ловко все пересочинял.

Вот тут-то мистер Бербедж и сообразил.

Засадил неудалого актера за работу, чтоб подправлял чужие пьесы, брал залежалый товар и подновлял, вдыхал в мертвый труп новую жизнь.

Успех, наконец-то, — так сказал мой супруг.

Доволен был. Сиял, как медный таз.

А я не знала, что и думать.

(Да и сейчас не знаю. Мир — это не театр[3].)

1. Эдмунд Шекспир (1579–1607).
2. Из комедии "Как вам это понравится".
3. Ср.: Как вам это понравится. Акт II, сцена 7: "Весь мир — театр, и люди в нем актеры".

Но, хоть и недолго счастье продолжалось, тогда-то дела у него шли как по маслу.

Мистер Шекспир работать очень хорошо умел, когда захочет.

Всегда так было. Как-то раз сад мне прополол за полчаса. Правда, гроздовник весь повыдергал и листовик, зато уж и сорняка ни единого он не оставил.

И тогда в Лондоне, когда переделывал для мистера Бербеджа эти негожие пьесы, он работал споро, и не за страх, а за совесть, и он работал долго.

И на том Рождестве, в 1590 году, когда у нас замерз Чарлькотский пруд, он с посыльным отправил всем нам гостинцев.

Мне достались подвязки лучшего гранадского шелку.

И он эту куклу прислал Сусанне — с шевелящими ногами-руками и закрывающими глазами.

И музыкальную шкатулку Гамнету и Юдифи, нашим близнецам.

Она и сейчас у Юдифи, шкатулка эта. Только муженек, Куини, ее возьми да поломай. Теперь уж не играет она музыку. А то, бывало, "Зеленые рукава" играет, и "Ветр осенний". И еще мотивчик, "Бим-бом колокола" вызванивает. Ну и "Рушится Лондонский мост"[1], это, конечно, тоже.

Мистер Шекспир про Гамнета и Юдифь думал всегда сразу про обоих вместе.

Что уж хорошего.

Разве это любовь.

Когда бедный Гамнет нас навсегда покинул, на Юдифь он как на привидение стал смотреть.

Не нравилось ему, что она читать не может.

Не нравилось, что ничего она не хотела сделать отцу в угоду.

Бедная моя гусынюшка, робкая, упрямая, и головка-то вечно у ней болит, и кулачки-то сжаты, а теперь вот еще злодея Куини терпеть приходится.

Ну, а дальше всякое-разное пошло.

И не безделицы.

Я хочу сказать: даже на Рождество он больше нас не вспоминал.

Да уж, в 92-м году все и кончилось.

За два года до того апреля кончилось, про какой весь мой рассказ.

Напала тогда на Лондон чума.

Театры все позакрывались: рассадники заразы.

Мистер Шекспир мне написал письмо. Столь много народу умирает, было в письме, что звонари даже не бьют в колокола по покойникам, не то звон не умолкал бы день и ночь.

Подумала: может, домой приедет.

Не приехал.

1. Популярные баллады и детские стишки Елизаветинских времен.

Глава двадцать девятая
Скачки-прыжки

По правде вам сказать, в тот апрельский день, когда приехала я в Лондон и вышагивала в его гороховом, по-итальянски скроенном плаще, я не очень-то много представления имела про то, что мой дорогой супруг поделывал с тех пор, как началась чума.

Знала, что сам не помер, и всё.

Кое-какие денежки исправно приходили.

Только-только хватало на прокорм.

А про то, что́ держит в Лондоне мистера Шекспира, ни словечка.

Ах, да почем я знаю, может, и в Лондоне-то его не было...

Почем я знаю, может, мистер Шекспир непрошеный свой отпуск проводил в Нориче, к примеру, вместе с этим фруктом, Нед мне про него докладывал, — с Виллом Кемпом[1].

Что́ им чума!

Обзавелись оба колокольцами.

Дело нехитрое, ума особого не надо.

Два шута — идут пешочком, им и горя мало.

И всю дорогу пьют.

Как во времена ужасные, с папашей.

Бардака ни единого не пропустят.

Им десять миль не крюк.

Из Робин Гуда пляски пляшут, бесстыдники!

Правда, на пляску святого Витта больше у них похоже!

Да нет, едва ли.

Если на то пошло, ни в тот апрельский день, ни в другой какой я не могла вообразить, чтоб мистер Шекспир и вправду скакал из Лондона в Норич.

Читатель, да он и милю ленился пешком пройти до фермы моего отца в Шоттери в первое то время, когда мы только повстречались.

Все норовил какую клячу приспособить, взять взаймы.

Вдобавок, вы уж, верно, догадались, что теперь я понимаю: жизнь моего мужа была в его писаниях.

А на скаку не больно-то попишешь, верно?

Хотя тогда-то, по грязному Лондону гуляя в том плаще, тогда-то я еще не понимала, знаете, что в писаниях для мистера Шекспира — вся жизнь его.

Супруг со мною рядом был для меня почти как незнакомый человек.

Глава тридцатая
Египтянка

Мистер Шекспир в Лондон меня заманил письмом.

Такое странное письмо.

1. Вильям Кемп — актер, младший друг Шекспира, работал с ним бок о бок, их связывали самые тесные отношения.

Жаль, я его не сберегла.

Сберегла бы, я бы его вставила в свою книгу, вы бы прочитали.

Особенно мне конец запомнился.

Ну бесподобно удивительный конец!

Письмо так кончалось:

Навеки твой, сокровище моей души, покуда при своем орудье, Шекспир.

По-моему, вы согласитесь, что очень странно так кончать письмо.

Прочитала я и перепугалась даже, не спятил ли мой мистер Шекспир.

По-моему, любая порядочная жена или мать со мною согласится.

Правда, остальное все в этом письме было пусть и странное, но не до такой степени удивительное.

Разве наши тела — орудья?

Ну, что вы скажете?

Сумасшедший ли конец, не сумасшедший, а я годами хранила это чудно́е письмо в укладке за хлебницей в буфете.

Да вот беда: возьми и залезь туда как-то ночью крыса, ну и сожрала письмо.

Все жеваное, рваное — куда ж его хранить.

И как съела крыса то письмо, завела я себе для компании кошку.

Она у меня царица среди кошек.

Я назвала ее Египтянкой.

(Мистер Шекспир, бывало, мне назло звал ее Клеопатрой. Для краткости, говорил. Хотя, известно, вовсе это не короче.)

Теперь моя Египтянка уже в годах, а когда в соку была, вечно она котилась.

Никак, бывало, не уймется.

Окотится и помет свой помещает в шкафах, буфетах, в подполе, на креслах и в постелях.

Раз поместила не то чтоб такой уж и грязный помет в постели у Сусанны с Джоном. Так Джон, сердечный, стал прямо сам не свой. Три недели потом не мог в своей постели спать, до того он ужасался.

Странные они, мужчины, если разобраться.

Иной раз как дети малые.

Египтянка у меня красавица, шерстка гладкая, как шелк, глаза блестят, да и мышей покуда прекрасно ловит.

Я за нее не взяла бы света белого, не то что чудно́го какого-то письма.

А всё и жаль, что нет у меня того письма.

Глава тридцать первая
Чтение мыслей

В том письме мистера Шекспира полно было важной, непонятной болтовни про то, что нам кое-что надо отпраздновать, кроме его тридцатого деньрожденья.

И то сказать — чума утихла.

И я уже прослышала, что скоро снова откроются театры.

(Мне Томас Грин доложил. Рыжий Томас Грин, родня моему мужу, тогда судейский в Миддл-Темпле, потом секретарь управы у нас в Стратфорде, теперь уж на покое.)

Еще мистер Шекспир упомянул в письме, что мистер Бербедж ему велел сочинить несколько пьес, уже от себя.

Комедий, он написал.

Однако мистер Шекспир не помянул ни словом, какое жалование ему положат за эти комедии, истории, трагедии и выдан ли задаток.

Да пусть бы и выпросил он у мистера Бербеджа задаток, все ж едва ль такой, чтобы сорить деньгами и справлять себе костюм, в каком теперь он щеголял.

Не говоря уже про этот итальянской моды плащ на моих плечах, нарядный, теплый.

Вдобавок наряд ну вовсе и не в духе был мистера Шекспира.

В жизни я не видела, чтоб мой супруг расхаживал таким франтом.

Я держала его под ручку, щупала ткань камзола и дивилась, откуда он взял такой.

Из каких-таких, скажите мне, доходов мой безработный муж разрядился в пух и прах?

Мистер Шекспир всегда угадывал прекрасно, о чем я думаю.

Просто уму непостижимо.

У меня аж мурашки, бывало, по спине бегут.

Раз, помню, раздумалась я об одной песне, и вдруг он ее завел.

Сперва решила, что про себя мурлыкала, пальцами мотив выстукивала, а он услышал, да и подхватил.

Да нет, говорит, ничего он не слыхал.

Просто — знал и знал, что я держу эту мелодию в уме, и вся недолга.

В другой раз я овец считала, чтобы уснуть, а он мне вдруг: "Пятьдесят пять!"

Как, прости Господи, он догадался, что я овец считаю и, главное, до пятьдесят пятой именно до ярочки дошла, уж этого я не могу вам объяснить.

Натурального объяснения здесь даже быть не может.

Прямо хоть вообрази, будто белая тонкая косточка у меня во лбу прозрачной стала.

* * *

Ну вот, а в тот день, в день, про который мой рассказ, мы вышли из-под тени какой-то церкви с шпилем, папистской с виду, пошли своей дорогой, вышли на форменную свалку мусора под названьем (помню) Грейшез-стрит[1], и тут мой супруг вдруг глянул на меня и говорит:

— Этот плащ. Мне подарили этот плащ. Я его не покупал.

Я решила пропустить это чтение в мыслях мимо ушей.

И так печально слишком, чего уж рассусоливать.

Как-никак лишний раз подтвердилось, что мистер Шекспир порою знал, о чем я думаю, а я-то никогда понятия не имела о том, что творится в его немыслимой башке.

1. То есть Благодатная, Приятная (gracious) улица.

Тоска такая, что не сказать словами.

Ну, а насчет плаща, который ему подарили: известно, мне стало любопытно, кто́ подарил. Но не с руки мне было выдавать мистеру Шекспиру свой интерес.

А потому:

— Понятно, — я только и сказала.

Мистер Шекспир улыбнулся.

— Едва ль тебе понятно, — говорит. — Позволь, я тебе объясню. Насчет сравненья с летним днем. Я пошутил.

— О, тогда тем более спасибочки. Премного вас благодарим.

— Нет, нет, — сказал мистер Шекспир. — Ты не сердись. Я над самим собой шутил. Поверь. "Могу ль тебя сравнить я с летним днем"... Я сам себя цитировал. Кое-что из написанного. Сонет. Вдруг всплыла в памяти первая строка, когда мы стояли с тобой на Лондонском мосту. Я написал этот сонет, кой-кого сравнивая с летним днем. И лицо, которому я посвятил сонет, мне подарило этот плащ.

Новая новость. Секунды две я над нею думала.

И плащ этот уже не радовал.

Так и тянуло его скинуть, да лучше я иззябну.

Про свои чувства, ясное дело, я ему ни слова.

Сказала только:

— Очень хороший должен быть сонет.

— Почему? — мистер Шекспир удивился.

— Уж очень плащ хороший.

Мой муж пожал плечами.

— Сонет как сонет, пожалуй что и недурной, — говорит. — Случалось мне писать и лучше.

Глава тридцать вторая
Вспышки

Я поглядела на павлинье перо, которое качалось на шляпе у мистера Шекспира.

— И весь гардероб у тебя от сонетов? — спрашиваю его самым милым голосом.

Мистер Шекспир вспыхнул.

Вся кровь ему кинулась в голову, стал красный как рак.

Мой супруг и всегда легко краснел.

Самомалейшие чувства мигом у него отражались на лице.

Кожа светлая, вот и краснел. Всегда румяный, а делался еще румяней, едва какая чушь его смутит.

От невинности такое происходит или когда совесть нечиста?

Ни то и ни другое, я так скажу.

Я так скажу, что этот господин краснел просто оттого, что в нем было слишком много крови.

Согласись пиявки он поставить, как Гамнет Садлер, когда хворал, — известно, цирюльник его бы вылечил.

Но мистер Шекспир до ужаса боялся кровопусканий.

Нет, лучше он будет терпеть эти свои вспышки. Правда, давным-давно, когда мы только повстречались, он еще хотел найти лекарство, хоть облегчить свое положение разными средствами, как красная девица, ей-богу, — холодил лицо и кувшинковой водой, и любистоком, и еще чем-то, не упомнишь.

Потом-то уж доктор Джон Холл ему прописал воду с лягушачьей икрой, сам и поставлял, чтобы примочки на щеки класть, — будто бы помогало.

Но так, чтобы совсем, мой супруг и не избавился от свойства этого — чуть что краснеть как рак.

Знаете, как говорится:

Кто краснеет, тот стыд имеет.

А все же, по-моему, удивления достойно.

То есть, как подумаешь, что́ мистер Шекспир творил и что́ мистер Шекспир говорил, как представишь, про что, Сусанна рассказывает, он в пьесах своих писал, да и вообще какой он был стреляный воробей, тертый калач, какой поганец.

И когда подобный человек краснеет оттого, что жена задала ему простой вопрос, а весь ли гардероб у него от писания сонетов, — нет, как хотите, а я до сих пор считаю, иначе тут не скажешь — это ну прямо поразительно.

Видывала я, как мистер Шекспир творил даже очень странные дела, когда кровь вот так ударит ему в голову.

От этих вспышек он всякую власть над собой терял.

Бывало, что-нибудь прямо дикое выкинет, чтоб свою эту слабость скрыть.

Раз как-то его мать рассказывала историю про то, как он родился, как трудно ей тогда пришлось, а я вижу: краснеет, краснеет, уж, кажется, вот-вот лицо у него лопнет.

Сидит, щеки в ладонях, а Мария все разливается о своих ужасных родах.

Вдруг он как вскочит — и сунул маринованную луковку ей в рот!

Представил, известно, все дело так, будто бы он пошутил, и папаша хохотал, а Мария-то чуть той маринованной луковкой не подавилась!

Другой раз, когда мистер Шекспир покраснел как рак, вижу: кинулся лицом в кадку с мальвазией, будто бы от вина у него разом снова охолонут щеки.

(Но это уж потом, когда пьянствовали они с папашей.)

А тогда, в Лондоне, когда я его спросила, не весь ли свой модный гардероб он заимел через писание сонетов, и в ответ он ужасно стал краснеть, тогда мистер Шекспир вдруг метнулся от меня в сторону и дико взбрыкнул.

Сперва я подумала: ну, взбрыкнул и взбрыкнул.

Потом разглядела — пинает предмет определенный.

Предмет этот, какой он пнул, была мимохожая дворняга.

Дворняга — смотреть не на что, вся черная, как дымоход, и без хвоста, а носик словно куний.

Как мистер Шекспир пнул ее, она взвилась, давай визжать, а потом плюхнулась прямо в уличную грязь.

Лежит черный песик, задыхается, пасть раззявил.

И ни единого-то зуба, я заметила, у бедненького.

Шкурка вся свалялась.

Потом дворняга эта поднялась, встряхнулась и с лаем затрусила прочь.

Мой супруг стоял и теребил налитые кровью щеки.

— Ты видела? — спрашивает. — Она хотела тебя укусить!

Я на него глянула.

От вспышки лицо у него сделалось как роза.

— Видела я, — говорю. — Видела, что ты сделал.

Роза, казалось, вот-вот лопнет.

— Свирепый пес, — мой супруг гнул свое, — хотел тебя укусить!

Тут надо объяснить.

Мой муж был не любитель собак.

Глава тридцать третья
Собаки

Нет, собак мой мистер Шекспир очень не любил.

Кошек, тех он еще мог терпеть, а мою Египтянку, по-моему, так прямо обожал.

Ну, Египтянка, она, бывало, вскочит к нему на колени, сидит, и даже было замечено, как мой супруг гладит ее по шерстке.

Еще бывало, эта кошка лежит, свернувшись, у его босых ног, когда он пишет: ей нравилось, как он пальцами стихи свои отстукивал.

А собак мистер Шекспир прямо не переносил.

Они для него были либо псы виляющие[1], либо звери дикие.

Был у собаки хозяин, она, по его понятию, к первому разбору относилась. Всякая бесхозная дворняга сразу относилась ко второму.

Сучье семя — так он всех вместе их честил[2].

У нашей внучки, у Елизаветы, когда была маленькая, был щеночек, вислоухий спаниель.

Краб мы его прозвали — все бочком, бочком, бывало, ходит.

Чтоб потешить Елизавету, в угоду внучке, мистер Шекспир, случалось, и бросит палочку щеночку Крабу.

Но сразу повернется и в дом спешит, покуда Краб опомниться даже не успеет, не то что эту палочку ему принесть обратно, — либо чтоб не гладить-не хвалить потом собаку за ее усердие, либо чтоб не затрудняться — снова палку кидать.

И это еще самая большая милость, какую мой супруг оказывал собакам.

Елизаветин спаниель, щеночек Краб, — единственный был пес, которого он хоть прикидывался, будто бы любит.

1. См., в частности: Юлий Цезарь. Акт III, сцена 1: "...сладкой речью и виляньем псиным". Перевод М. Зенкевича.
2. См. Король Лир. Акт II, сцена 2.

Глава тридцать четвертая
Моя улыбка

Все это взяв в соображение, и вспышку эту, и ненависть его к собакам, я не могу сказать, что очень удивилась, когда мистер Шекспир пнул ту дворнягу на Грейшез-стрит.

Насчет свирепости этого пса я решила лучше уж не спорить со своим супругом.

Зато тебе, любезный мой читатель, могу сказать, что, вздумай тот пес меня куснуть, очень несладко бы пришлось его беззубым деснам.

— Так как же? — снова спрашиваю у мистера Шекспира.

— Что — как же? — ему непонятно.

— Весь свой гардероб ты заработал писанием сонетов?

Румянец расползался.

Спустился к шее мистера Шекспира, дополз до кадыка.

Расползся вширь, к ушам.

Он ведь лопоухий был.

И эти уши вспыхнули огнем.

Будто бы все лицо он крапивой обстрекал.

Хитрые глаза мистера Шекспира забегали туда-сюда по улице.

Он смотрел сразу повсюду, никуда, ни на что, лишь бы не встретить мой откровенный взгляд.

Он кусал ногти.

— Ну, можно сказать, — признался, наконец. — Пожалуй.

Мистер Шекспир сплюнул.

Видно, горьки ему ногти показались.

Мистер Шекспир сказал:

— Но я писал сонеты не ради одежды.

— Ну да, ну да, — говорю. — Ясное дело.

Мистер Шекспир сказал:

— Я получал одежду за сонеты, только и всего.

— Ну да, ну да, — говорю. — А как же.

Тут мистер Шекспир ухватился пальцами за обе свои красные ушные мочки, давай их крутить, вертеть и дергать, а сам кричит:

— Но я писал сонеты потому, что я не мог иначе!

И тут я подарила его улыбкой, какую разучила.

— Совершенно тебя понимаю, — говорю.

Тут, видно, придется объяснить насчет моей разученной улыбки.

Мне говорили, что у меня, мол, не хватает сочувственности.

(Неправда это, знаю. Но так мне говорили.)

Юдифь Садлер говорила. Моя подруга Юдифь меня укоряла, что, когда она призналась мне, что ее муж Гамнет храпит, на моем лице не выразилось сочувствия.

Но мне ли не знать, что на самом деле я ее пожалела, а значит, оказывается, никуда не денешься, что мое лицо в этом случае просто не показало того, что я испытывала.

Я-то знала, как улыбнулась тогда Юдифи (я надеялась, душевно), и моя улыбка, выходит, просто не отобразила моих чувств.

Вот по какой причине я стала учиться перед зеркалом.

Смотрю на себя в зеркало и с минуту улыбаюсь от души.

У меня, известно, мелькало в голове, что есть в моем поведении что-то дурное, актерское, блядское, криводушие какое-то.

И улыбка-то снисходительная получалась, свысока, если чересчур долго ее продержишь на губах.

Но все равно, я дальше добивалась такой улыбки, чтоб соответствовала смыслу, какой, я знала, в моей улыбке должен быть.

Главное — смысл, на то нам и дано лицо, чтобы его друг другу выражать.

Вот я и училась как следует улыбаться.

Мои глаза, конечно, во всем играли свою большую роль.

Губы могут лгать, глаза всегда скажут правду.

Я про жизнь толкую, не про театр.

Речь тут о честности, не о притворстве.

У меня-то плохих зубов не было, чтоб их скрывать.

Сэр Ухмыл, ясное дело, не заслужил такой моей улыбки.

Как он покраснел, как пнул дворнягу, заикался, оправдывался, плел насчет своего сонетного промысла — и с чего мне было так ему улыбаться?

Но чувствам не прикажешь — гони их в дверь, они влетят в окно.

Вот я и улыбнулась мистеру Шекспиру.

Я ему улыбнулась.

Тут, помнится, стало накрапывать.

Мелкий дождичек посеялся с неба, и было оно цвета утиного яйца.

Мистер Шекспир закусил нижнюю губу.

Я стою и улыбаюсь, жду.

Он взял меня под ручку, и пошли мы дальше.

Глава *тридцать пятая*
Мой сонет[1]

Это очень печальная история — которую я вам рассказываю.

Как-никак история-то про любовь, — небось теперь уж сами догадались.

По-моему, самые распечальные истории — наши истории про любовь.

Мистер Шекспир уже сочинял сонеты, когда мы только-только с ним повстречались.

1. Глава посвящена сонету 145, некоторые шекспироведы считают его и в самом деле ранним сонетом Шекспира. В этом сонете, в тринадцатой его строке, по мнению автора книги, обыгрывается фамилия Анны Хетэуэй, (Hathaway), а именно: "I hate" from hate away she threu", т. е. в буквальном переводе "Ненавижу" она от ненависти отделила". Это личное наблюдение автора для всей концепции книги очень важно. Однако в шекспироведении оно не привилось, и ни один переводчик, уж конечно, даже и не пытался передать этот, как считает автор книги, шифр поэта.

Раз как-то мне сочинил сонет, когда разозлил меня каким-то пустяком, и я (горячая была) что-то фыркнула, буркнула, и он вообразил, будто бы ненавижу я его.

Вот как это все случилось.

Вечно надо ему было делать вид, будто бы он в любви несчастливый, обиженный, — в то, в первое время нашего знакомства.

Раз как-то я от него отвернулась в сердцах, уж совсем он дерзок стал и вдобавок ужасно как надоел своим притворством, что, если я сейчас его не приголублю, у него сердце разорвется!

Ну, что бы вы тут стали делать?

Вот и я.

Я сердито и насмешливо фыркнула.

По-моему, каждая порядочная женщина так бы вела себя на моем месте.

Но мистер Шекспир, совсем зеленый, мою досаду на его поведение счел за тот знак, как будто бы я его ненавижу.

Ну, и я, увидевши, как он сильно удручен, аж слезы на глазах, я его пожалела.

Прикусила язык, будто корю его, язык свой то есть, за это фырканье, и говорю:

— Это я не тебя!

И тут он крикнул:

— О чем ты? Ты меня ненавидишь!

И я ему растолковала:

— Я ненавижу, когда ты так вот притворяешься. Но не тебя я ненавижу.

Теперь, когда старее и умней я стала, я знаю, что в этом — самая истинная религия и есть.

Ибо мы должны возненавидеть грех, но возлюбить грешника.

Так или иначе, мистер Шекспир весь от радости растаял, а потом призадумался, когда я сказала эти слова, что, мол, я ненавижу, когда ты притворяешься, но не тебя я ненавижу.

Потом вдруг стал ходить, и так полчаса целых, а то и дольше — все ходит взад-вперед и под нос себе жужжит.

И до того увлекся, что вовсе забыл про поцелуи и про все про то, чего он только что так домогался.

А как пришел снова на Хьюландс-фарм, смотрю: подает мне сонет, какой на этот случай он сочинил:

С уст, созданных любви рукой,
"Я ненавижу" сорвалось.
И сердце стиснуто тоской,
Печалью горькой налилось.

Увидя скорбь мою, она
Свой разбранила язычок
И, сострадания полна,
Сменила на привет попрек.

"Я ненавижу" — да, но вот
Слова иные вдруг звучат,

Как вслед за ночью день идет,
Ее с небес свергая в ад.

"Я ненавижу", — и любя
Меня спасает: "не тебя"[1].

Позвольте разъяснить иным читателям, непривычным к загадкам, какие встречаются в поэзии.

В строчке первой он имеет в виду, что у меня хороший рот.

В строчке седьмой он имеет в виду мою доброту.

Дальше, в строчках с девятой и сплошь до четырнадцатой, он имеет в виду, что от моих добрых слов, от моего разъяснения: "не тебя", все для него переменилось, будто было темно и стало вдруг светло.

Все ловко очень и умело сказано, но как-то иногда уж чересчур смешно, и непонятно, почему ни за что ни про что бедняжку ночь, куда нам без нее, надо "с небес свергать в ад" (см. строчку двенадцатую), будто бы она дьявол, сатана какая-то, с небес исторгнутая.

Правда, такая болтовня, по-моему, в поэзии дело самое обыкновенное.

Не стану оправдывать такие вещи.

Самой не нравится.

Еще мистер Шекспир мне толковал, что сонетом этим он меня увековечил и все теперь поймут, что он написан про меня.

Хотя не очень-то я поняла.

Да, ловко, ничего не скажешь.

Прямо обезьяньи штуки.

Жаль, обезьян я не люблю.

Еще мистер Шекспир хвалился:

— Когда-то кто-то прочтет этот сонет, и он узнает, какая ты была, что ты говорила, что ты делала, та, кого я любил!

Ну, может, и правда.

И ладно, и бог с ним, с этим сонетом.

Да вот ведь какая с ней еще беда, с поэзией.

Если только поэты не тешат себя, играясь со словами, сразу им с будущими поколениями надо заигрывать.

Уж сколько времени убьют на то, чтоб любоваться собственной душой. Ну, а после подавай им обожателей в потомстве, и нарочно про непонятное они толкуют, чтоб было лестно тем читателям: какие умные, своим умом дошли.

Поэтам стихи нужны, главное, как зеркало, а потом уж как укладка, чтоб клад сберегать — собственный свой ум.

А? Разве не права я?

1. Перевод А. Финкеля. (Перевод этот выбран не оттого, что кажется нам лучшим, а по необходимости на него ссылаться в тексте: словесно он все-таки несколько ближе.)

То-то.

Ох, самой даже тошно.

Да ладно, как-никак, а по моему рассказу вы поймете, что мистер Шекспир тогда уже поднаторел в своем писании сонетов.

И пока мы ковыляли под дождем, я, известно, все голову ломала, с чего это он снова взялся за свои сонеты в Лондоне.

Сонеты ведь он свои затеял, чтоб складно, в четырнадцати строчках, улаживать все нелады, каких спервоначалу много было в нашей жизни.

Небось вообразил, что вставит он любую нашу ссору в сонет с куплетом на конце, и сразу все зло уйдет, и снова будет тишь да гладь.

Что ж, и очень даже мило, и вреда от этого не было большого, но оставался один вопрос:

С кем мистер Шекспир теперь-то старался нелады уладить?

Читатель, меня разбирало любопытство.

Читатель, мне было интересно.

Читатель, я вся измаялась.

Но я уже слегка промокла, а потому ни слова не сказала.

Глава тридцать шестая
Вишня

Мистер Шекспир тоже слегка промок, но ему, кажется, на это было наплевать.

У моего промокшего супруга был даже веселый вид.

Как будто бы он рад, что покаялся насчет писания сонетов, душу облегчил.

Как будто бы червя из кишок он своих вынул, какой их ядом отравлял.

Румянец побледнел.

Схлынул с щек.

Скоро мистер Шекспир опять стал прежний. Лицо стало такое, как всегда.

Я искоса заглядывала в это лицо, пока мы шли.

И вот что я увидела:

У мистера Шекспира было открытое лицо, хотя в глазах мелькала то и дело лисья хитрость.

Черты были твердые, но тонкие черты.

Брови светлые и низко над глазами.

Лоб в залысинах.

И легкие пушистые усы, бородка под губой, над сильным, гладким подбородком.

На левой щеке родинка.

Самой приметной его чертой был, известное дело, нос, прямой и твердый, а в ноздрях широкий.

Оно было продолговатое, округлое, его лицо, и карие глаза блуждали хитро туда-сюда, но как на тебе остановятся, пронзят тебя насквозь.

И сразу видно по лицу, что выпить не дурак.

Сын своего папаши — и лицо такое.

Капли стекали по лицу мистера Шекспира, и мы с ним поспешали под этим ливнем.

То и дело, я заметила, он высовывал язык, пробовал на вкус дождевые капли.

И вид у него был такой, я говорю, как будто, передо мною душу облегчив, он весь очистился, как дождичком промылся.

Мы пошли быстрее и примолкли.

Потом мистер Шекспир окликнул уличную торговку.

Вынул из камзола туго набитый кошель и купил мне горстку вишни.

Что ж, и на том спасибо.

Как говорится, не подарок дорог, а внимание, заботливость: догадался, муженек, что мне пора покушать.

Оно конечно, да только вишня...

Мне вишни мало было, должна я вам признаться.

Мне бы не повредило заячье рагу, мне бы пирога с бараниной горяченького, с пылу с жару!

Помнится, дождь серебрил мой плащ гороховый и эту краснорожую торговку.

Она была как мой супруг, вот когда давеча он весь краской залился, — будто заразу подхватила.

Так и запомнилось: дождь льет средь звонниц с насупленного лондонского неба, и баба краснорожая стоит под проливным дождем в своей черной шали и сует мне кулек бумажный с вишней.

Ну, отведала я одну.

Вишня отдавала Лондоном и этой бабой.

Не по душе пришелся мне тот вкус.

Мне не понравилось, чем вишня отдавала.

И я решилась поговорить начистоту с мистером Шекспиром.

— Сонеты, — говорю.

— Ну да, — ответил он. — Сонеты.

— И много ль ты их насочинял? — спрашиваю.

Мой супруг нахмурился.

Я заметила в его глазах презрение ко мне, убогой, что я хочу их счесть.

Но не из одной своей страсти к счету я это знать хотела.

Мистер Шекспир вздохнул.

— Теперь, должно быть, я написал уж больше ста, — сказал, но как-то вяло.

— Скажите, — я говорю.

— Да, — сказал мистер Шекспир. — Цикл, сто сонетов с лишним.

— Ну-ну, — я говорю.

Вишни этой я уже не ела.

Не хотелось мне больше эту вишню есть.

Я, известно, все еще голодная была.

Мне бы чего вкусного, горяченького.

Даже от рубца говяжьего, на худой конец, я бы не отказалась.

Ну, а за колбасу свиную прямо убила бы кого.

Только на вишню эту глаза бы мои больше не глядели.

Глава тридцать седьмая
Муравей и перчатка

Чудно́, как может еда какая-нибудь вдруг опротиветь, да?

Помню, раз как-то ела я ну прямо бесподобные, меленькие такие грушки.

Желтые, кругленькие, твердые, вкусные, пальчики оближешь, и кожурка тоненькая, зернышки черные, как агат.

Сперва выну стерженек, прямой, тоненький, из каждой грушки и обсасываю.

Стерженек этот, он кислил, а сама груша была до того уж сладкая.

И потом каждую грушу мигом я съедала, всю, со всем нутром.

Кажется, штук шесть подряд я так их скушала, полдюжины сладких желтых груш, сочных, вкуснющих, и принялась было за седьмую, последнюю в корзинке, как вдруг замечаю, что в нее влез муравей.

Так и вижу до сих пор: круглая дырочка, по краю как перцем обсыпана, куда муравей заполз.

Ну, и в рот мне не полезла последняя та груша.

И больше уж тех мелких желтых грушек в жизни я не ела.

Не то чтоб отвращенье.

А просто про каждую такую грушу думалось, вдруг тоже она домик для муравья.

* * *

Другой раз, помню, чудесный рыбный пирог я испекла.

Всю ночь-то он мне снился, все утро я его лепила, после обеда все его пекла.

И вот, когда пора бы ужинать садиться — не заладилось.

Мелочь, кажется, а кушать вовсе уж не было охоты.

А было вот что.

Сперва влетела на кухню ко мне муха, жужжит, жужжит, спасу нет, а потом в старом плаще, — на задней двери он, на гвозде висел, — в кармане у мистера Шекспира вдруг я нашла перчатку — прекрасную перчатку, тонкой кожи и две черные пуговки на запястке.

Незнамо сколько лет, видно, в кармане пролежала.

Стою я, прижала к щеке эту тонкую перчатку и чую запах своего супруга.

Ну, а потом ту муху перчаткой этой и пристукнула.

А на пирог на собственный потом даже глядеть мне стало тошно.

Сама не знаю почему, но только глаза бы мои не глядели на мой рыбный пирог.

Так мне хотелось покушать этого пирога. А потом, как нашла ту тонкую перчатку да пристукнула той перчаткой муху, оказалось, что кусок мне в горло не лезет.

Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом (Притчи. 30:8).

Мистер Шекспир уродился с бедной, слабой головою по части питья[1].

Он лежал между двух серебряных шандалов.

Я обняла его за шею.

Он улыбнулся.

— Виси, как плод, — он мне сказал. — Виси, как плод, душа моя, на этом дереве, покуда не погибло[2].

Может, подумал, что стоит он.

И вдруг все лицо его погасло.

И вот опять я удивляюсь.

Но, может, просто так уж устроен человек?

Глава тридцать восьмая
Не она

А потом дождь перестал, я помню это.

Кончился апрельский ливень.

Дождь кончился почти сразу же, как мне расхотелось кушать ту лондонскую вишню.

Заиграла музыка и прошлась мимо нас по улице.

Две флейты, четыре скрипки, гобой, виола и еще один паренек с бомбардой[3].

И все за главным за своим идут послушно так, как цыплятки за курицей.

Я захлопала в ладоши, стала слушать. Но моему супругу, кажется, хотелось поскорей уйти.

Я удивилась. Он слушать музыку всегда любил.

Протопали те музыканты мимо, свернули за угол, и уж тогда мы тоже снова медленно пошли.

И как только мы пошли, я улыбнулась ему и говорю:

— А я рада, знаешь.

— Чему? — мистер Шекспир удивился.

— Рада, что ты мне рассказал про то, что сочиняешь свои сонеты.

— Ну что ж, — сказал мистер Шекспир.

— Очень приятно было это узнать, — я говорю ему, сама — сахар медович.

Мой муж нахмурился.

— Что́ тебе приятно было узнать? Что я написал так много сонетов?

— Нет, — я ему отвечаю. — Мне приятно было узнать, что у тебя есть кто-то, кому ты сочиняешь так много сонетов.

Мистер Шекспир свесил голову.

Тень от павлиньего пера ему упала на лицо. Перо все грязное, замызганное. Дождь вовсе не пошел богатому павлиньему перу на пользу. В ту минуту оно скорее походило на знак оскорбленной гордости.

1. Отелло. Акт II, сцена 3. Слова Кассио в ответ на уговоры Яго, старающегося его споить: "Мне пить нельзя, я уродился с бедной слабой головой по части питья".
2. Цимбеллин. Акт V, сцена 3. Слова Постума.
3. Старинный английский музыкальный инструмент (вроде дудочки).

Ну, и тут я выказала своему насупленному супругу все свое осуждение, притом нарочно говорила чувствительным, ребячьим голоском.

– Мне очень приятно, что у тебя есть кто-то, – я сказала. – Мне очень приятно, что у тебя есть для кого стараться и сочинять свои сонеты. И тем более мне приятно, что кто-то, для кого ты сочиняешь свои сонеты, такие качества имеет, что ты сочиняешь так много сонетов.

Я потянула его за рукав, чтоб он остановился.

Протянула руку к его лицу.

Он даже рот открыл.

И в этот открытый рот я ему бросила крупную вишню.

– Да еще плату получаешь, – говорю.

Мистер Шекспир поперхнулся.

– Сто с лишним, – говорю. – Она обожает небось сонеты.

Я похлопала мистера Шекспира по спине.

Он заглотнул эту вишню, всю, с косточкой.

– Небось она жить не может без сонетов, – я говорю. – Небось она на сонетах помешалась.

Мой супруг откашливался и плевался.

Мотал руками.

Опять он красный стал, как свекла.

– Что? Что? – я крикнула. – Что ты стараешься сказать?

Чуть не подумала, что он прощенья хочет попросить.

Признаться честно, надеялась я, что он попросит у меня прощенья.

Вот дура.

И дождалась, о Господи.

Нет, не сказать, чтоб он у меня попросил прощенья.

Мистер Шекспир глубоко вздохнул, прочистил горло.

– Это не она, – сказал мистер Шекспир.

Мой супруг.

Порочный мистер Шекспир.

В любви отступник.

Глава тридцать девятая
Цикута

Я споткнулась об подол этого горохового пальто.

Я вляпалась в кучу конского навоза.

По крайней мере, по-моему, то, во что я вляпалась, был конский навоз.

А может, это человечье говно было, кто его знает.

Свободно могло быть говно его папаши, если бы он в гости в Лондон заявился.

Да и самого мистера Шекспира могло быть говно, если на то пошло.

(Мы уже недалеко были от его квартиры.)

Лежало на Грейшез-стрит: такая золотая кучка.

Ну, я и вляпалась.

Оступилась и вляпалась.

Фамилию моего супруга можно писать на разные лады:

Shagsper.

Shaxpur.

Shakeshafte.

Chacsper.

Пишите любым способом, как только вам взбредет.

Пишите любым способом, пишите, как вам нравится и как вам не нравится, пишите.

Что греха таить, читатель:

Мне стало тошно.

Потому что — ох! — да поняла я, что имел в виду мой супруг.

И если я всю жизнь чуть не безвылазно торчу в нашем городе Стратфорде, это еще не означает, что я слыхом не слыхала про платоническую любовь.

Знала я, какие ужасы творил Сократ с учениками.

Знала, за что этого грека заставили выпить цикуту.

А посмотрите, что случилось с юношами из города Содома, когда они чересчур себе много позволили, привечая Ангелов[1].

Тот, кто не любит женщин, к мужчинам не может быть причтен.

Нет, но это ж надо!

Глава сороковая
Новое начало

Эту свою книгу я начала его словами.

И зря, теперь-то мне понятно.

Что ж я, тень его?

Да нет, какая ж я ему тень.

Или, может, я его эхо?

С чего бы.

Нет, книгу надо начинать своими собственными словами.

Так что уж вы воротитесь к началу и сотрите самую первую мою фразу, ладно?

Сотрите и думать про нее забудьте.

И пусть книга миссис Шекспир начинается так:

"Нет уж, спасибочки!"

Глава сорок первая
Примечание

Ох, да, этот плащ гороховый на меня был длинный.

Помните?

1. См. Бытие, 18:20—19:25. Миссис Шекспир имеет в виду эпизод 19:4—5: "...содомляне... окружили дом. И вызвали Лота и говорили ему: где люди, пришедшие к тебе на ночь? выведи их к нам; мы познáем их". (Люди, пришедшие к Лоту ночевать, и были Ангелы.)

Я ж на десять дюймов и три четверти ниже, чем был мистер Шекспир.

Что́ ему повыше щиколотки, мне было аж до пят.

Вот почему (вдруг вам интересно) случилось так, что я споткнулась об этот его гороховый подол.

Споткнулась и вляпалась в навоз.

Это как сноска к первой фразе моей главы насчет цикуты (номер тридцать девятый).

Низко опустилась, можно сказать, — к примечанью, под строку.

Вы уж мне простите такую игру словами.

Сама презираю писателей, которые не брезгают играть словами.

Честное слово вам даю, больше не стану безобразить своих страниц.

Глава сорок вторая
Ризли

— Ну как? — я спросила у мистера Шекспира. — И шел там дождь?

— О чем ты? — он не понял.

— В этом сонете летнем, — говорю. — Шел там дождь?

Мистер Шекспир нахмурился.

Смотрю: перебирает в голове весь этот свой сонет, вовсю страется припомнить, какая в нем погода.

— Нет, пожалуй, — насилу вспомнил. — Нет-нет, там нет дождя[1].

— Понятно, — говорю.

Он прямо вылупился на меня.

— Какого черта, — говорит, — при чем тут дождь?

— Так, — говорю, — просто вот подумала, вдруг ты сонеты пишешь, чтоб плащи получше продавались. Вдруг подумала, не изготовляет ли часом твой благодетель плащей.

Тут мой супруг смахнул мою руку со своего локтя.

И на ладонь подул, как будто обжегся моими этими словами.

— Между прочим, — сказал мистер Шекспир, — человек, о котором у нас с тобою речь, высокого рожденья.

Тут я не удивилась.

Я ж вам говорила, что знатных он любил.

Мистер Шекспир всегда был сноб.

— Понятно, — говорю. — И богатый он?

Мистер Шекспир пожал плечами.

Я уж не раз тут поминала о том, как он плечами пожимал, но, сказать по правде, мне следовало бы писать только, что, как мне кажется, он пожал плечами.

Я вам уже поминала про его модный камзол.

А теперь я заметила, что плечи у этого камзола до того уж вздутые, что понять никак нельзя: пожал ли человек плечами, не то он передернулся.

1. В 18-м сонете и впрямь есть строки о погоде, но не о дожде: "Вот солнечный в лазури глаз сверкает / Вдруг тучи закрывают небеса..." Перевод В. Васильева.

Я люблю, чтобы все точно.

Пожми мистер Шекспир плечами, это бы показывало, что ему безразлично, богат его этот друг, нет ли. По крайней мере, что он передо мной прикидывается, будто ему это безразлично.

Ну, а если передернулся человек, это скорей показывает его смущение.

Или досаду, что я насмелилась задать такой вопрос.

И, скорей всего, плечи мистера Шекспира как раз досаду и выказывали.

Я опять взяла его под ручку.

Мне было обидно, чудно́, непонятно, но хотелось до сути докопаться.

Я решилась искать в этом деле светлую сторону.

Я всегда во всем ищу светлую сторону.

— Ты не беспокойся, — говорю. — Я рада за тебя.

— Правда? — спросил мистер Шекспир с эдаким сомнением.

— Правда, — говорю.

— Честное благородное слово? — мистер Шекспир спрашивает.

— Честное благородное слово, — я ему в ответ. — Поэзией не больно-то прокормишься, верно? Любая поэтова жена тебе это скажет. Поэту нужно покровителя. Тебе повезло еще, что ты себе такого человека приискал.

— Генри мне больше чем покровитель, — сказал мистер Шекспир. — Генри мне друг.

— Генри? — говорю. — Его, стало быть, так зовут? Генри?

— Генри Ризли, — сказал мистер Шекспир.

Мы постояли, чтобы телега, которая сворачивала во двор пивоварни, нас не задавила.

Я под шумок бросила вишню остатнюю в сточную канаву.

А потом мы пошли дальше, мимо Корн-хилла, под ручку.

— Генри Ризли, — повторил мой супруг, — граф Саутгемптон.

— Да погоди ты, — говорю.

— Что такое? — удивился мистер Шекспир.

— Вот, хочу соскрести конское дерьмо с подметок, — я ему ответила.

Мистер Шекспир на меня смотрел, пока я соскребала.

— И барон Тичфилд, — он прибавил, потирая свой длинный нос.

Я отчистила свои новенькие, чу́дные башмачки, и мы снова двинулись в сторону Бишопгейтс.

— Граф Саутгемтон, — я за ним повторила, — барон Тичфилд. Вот это покровитель!

— Я уж сказал тебе, Анна, — скривился мой супруг. — Генри мне не то что покровитель...

— Ах, да, я позабыла, — говорю. — Он же больше похож на летний день, да?

Давным-давно, еще девчонка я была, стояла я на Стинчкомб-хилл, под вишнею в цвету.

Только-только рассвело.

Я подняла руку. Пальцем поманила.

И лепесточек один упал мне на ладонь.

Все только начиналось.

Джон говорит, что это был удар.

У мистера Шекспира в голове чересчур много было гемм.

И левая височная артерия стала очень толстая, Джон говорит.

Джон его лечил припарками, — возьмет ласточкино гнездо, грязь, навоз и прочее, прокипятит в масле ромашки, лилии, накрошит, провеет через сито, а потом добавит одну унцию дерьма белой собаки.

Да ведь его же херес убил и мадера, его мальвазия убила и мускат.

А еще этот Дрейтон виноват, и этот Джонсон[1]. (Да и раньше, перед ними, от этого Куини не было добра большого.)

Эти поэты даже на похороны не остались.

Простыня вся в дырьях сделалась, где он ее кусал.

Я белье его грязное постирала.

Я на глаза ему монетки положила.

Я матерью ему была, я была его жена, и вот пришлось мне стать его вдовою.

Глава сорок третья
Я прошу прощения

Ну вот, Читатель!

Вот мы и добрались до жилья мистера Шекспира!

Прощенья просим, долгонько пришлось добираться.

Эдакой медленной ходьбы ты небось еще в жизни не видывал.

127 страниц в моей прекрасной книге, пергаменом переплетенной, ушли на то, чтобы нам с мистером Шекспиром от Лондонского моста доплестись до двери его лондонского жилья.

Прощенья просим.

Да, писатель из меня не сказать чтобы хороший.

Какой уж из меня писатель.

Мистер Шекспир, о, тот бы в мгновенье ока тебя сюда перенес.

Взмахнул бы своей волшебной палочкой из слов, раз — и ты уж здесь, Читатель.

А у меня волшебной палочки-то нету.

У меня только мое правдивое гусиное перо.

Какое же сравнение — я и мистер Шекспир! Все равно что сравнивать поэзию и правду.

Я не темню, я ничего не опускаю.

Мне надо все пересказать, все-все, как оно было.

Все-все я напишу. Все объясню. Все растолкую. Уж я-то не придумаю красивых слов, чтоб тешить тебе слух.

Но это ж надо! Идти по Лондону на 127 страницах!

1. Майкл Дрейтон (1563–1631) — английский поэт, автор поэм "Великий Кромвель", "Полиальбион" и др. Бенджамин Джонсон, обычно Бен (1573–1637) — английский поэт, теоретик драмы и драматург.

В последней-то главе я уж старалась было немного ускорить дело.

Не по нутру мне это, но я старалась.

И в надежде нахожусь, что ты заметил, нет?

Все эти он сказал, и я сказала.

Как пишут настоящие писатели.

Но когда эдак пишешь, кое-что и упустишь, нет?

К примеру, когда дошли мы до куска насчет того, что его друг Ризли, оказывается, граф Саутгемптон и барон Тичфилд, и я тебе напомнила, что мой супруг всегда льнул к знатным, у меня мелькнуло было в голове, что тут бы кстати помянуть эту историю с сэром Томасом Люси, которая еще здесь, в Стратфорде случилась[1].

Но слово серебро, молчанье золото, а уж такой позор в особенности — зачем и ворошить.

Украсть оленя у человека за то, что он не пожелал покровительство тебе оказывать!

Вот я и решила — лучше опущу, для пользы моего супруга. Неохота мне в этом деле твоему любопытству потрафлять.

Зачем я стану повторять навет этого паршивца Люси. И так уж надоело до смерти.

Хотя, насчет наветов, — Джона Лэйна, того я не забыла.

Понимаешь ли, есть истории, которых хочешь не хочешь, а приходится касаться заодно с нашей историей.

В этой книге — история про поэта, про его жену, про лучшую кровать и про кровать, которую назвали второй по качеству.

Но это еще немножко история про Джона Шекспира, который начинал отведывателем эля для Стратфордского совета, а кончил горьким пьяницей, и про Марию Арден, его жену (святую), и про Сусанну, мою лебедь, и про Юдифь, мою гусыню, и про доктора Джона Холла, моего бесценного ученого зятюшку, и про второго моего зятька Томаса Куини (нечестивца этого).

Когда рассказываешь истинную историю по всей правде-истине, приходится и другие истории рассказывать.

Я тебе одну историю рассказываю, а с нею вместе и другие, куда денешься.

Глава *сорок четвертая*
Упреждение

Но вот и пришли мы наконец к лондонскому жилью мистера Шекспира.

Бишопсгейт, возле Святой Елены, все как он сказал.

Прошли мы парочкой по всем этим поганым улицам.

И вот стоим мы на пороге, можно сказать, самой моей истории, главной ее сути.

И как войдем мы в эту дверь, обратно уж пути не будет.

1. Сэр Томас Люси — помещик и мировой судья, владелец обширных лесных угодий подле Стратфорда, где, по преданию, браконьерствовал юный Шекспир и была какая-то неприглядная история с оленем.

Мы пройдем в эту дверь, мы с мистером Шекспиром, и тебе, любезный мой Читатель, придется войти в эту дверь за нами следом.

Придется взобраться вместе с нами по этой лестнице.

И во всем участвовать, что мы здесь обретем.

Читатель, я прямо и не знаю, как приступиться.

Тут я помешкаю немного, тебя чтоб упредить:

Если у тебя не львиное сердце и нет в тебе львиной отваги, лучше уходи.

Крепись, Читатель!

Зато в награду ты получишь истинную правду.

Тайную истину любви всегда полезно знать, ей-богу.

И мы только сильней, и лучше, и мудрей становимся, ей-богу, когда узнаем, как другие оступались, бредили, творили глупости в любви.

Но та правда, которую сейчас я поднесу тебе, — такой крепенький орешек, что мое дело тебя упредить.

Глава сорок пятая
Заячий суп

Кстати, почему бы тебе заячьего супа не покушать?

Я всегда говорю, что миска доброго заячьего супа творит чудеса.

Я, между прочим, удивляюсь, отчего это писатели никогда не посоветуют своим читателям, чего б такого им покушать, пока они читают.

Это ж удовольствие какое — в одно и то же время кушать и читать, да?

Если, конечно, в обществе ты не сидишь, кушать и читать очень, по-моему, культурно, а до чего ж приятно, да?

А раз уж нынче я себе приготовила миску доброго заячьего супу и раз уж мне хочется себе представить, как ты кушаешь его вместе со мной, вот тебе на доброе здоровье мой рецепт:

Прекрасный заячий суп миссис Шекспир

Возьмите заяца, освежуйте, только смотрите не повредите, что под кожей.

Засуньте руку внутрь и вытащите легкие.

Подержите своего зайца над тазом, пусть кровь туда стечет.

Разрубите зайца на части.

Выберите из него все косточки, а мясистые кусочки отложите в сторону.

Теперь все косточки поскладывайте в котелок, залейте водой (холодной), добавьте репы, моркови, стеблей сельдерея и пару луковок.

Варите (если заяц у вас молодой) полтора часа.

Варите (если заяц старый) два часа, а то и дольше.

Пролейте кровь вашего зайца сквозь волосяное сито, потом немножечко воды добавьте, всыпьте горстку тонкой овсяной муки и слейте все в сотейник.

Помешивайте в одну сторону, покуда не закипит.

Следите, чтоб не свернулось.

Выньте кости.

Растолките в сите овощи.

Добавьте кровь, она тем временем уже у вас вскипела.

Нарежьте мясо меленькими кусочками (примерно с грот[1] величиной) и положите в котелок к тому, что там уже лежит.

Все вместе варите, хорошенько помешивая, с полчаса (на полчаса подольше, если заяц у вас старый).

Приправьте змеиным корнем.

Поперчите и посолите по своему вкусу.

И можно ложечку медку добавить, если вы похожи на моего покойного мистера Шекспира.

Читатель, мне приятно думать, что ты отвлекся ненадолго от моей истории и приготовил себе заячьего супчику.

Этот супчик подкрепит тебя, а это тебе сейчас не помешает.

Да, трудненько тебе пришлось бы без моего заячьего супчика, Читатель, если ты решился войти в эту дверь за мной и мистером Шекспиром.

Вот бы меня-то кто угостил мисочкой горяченького заячьего супа перед тем, как я пошла навстречу моей погибели!

Часть третья

Что мистер Шекспир
со мною делал
в тот единственный раз,
когда я приехала в Лондон

Глава сорок шестая
Трубчатка

Жилье моего супруга было прямо над торговцем живой рыбой, на углу Турнегейн-лэйн.

Кругом понасорено, рыбьи головы, рыбьи хвосты, и кадки стоят, с живыми угрями.

Внутри как будто бы и прилично, только вонь от скумбрии.

Сама-то я рыбу люблю.

И камбалу и хека уважаю.

Сельдь вареная — это же пальчики оближешь.

А форель — ее поджарить хорошенько в сухарях, так лучше и не надо угощенья.

Я даже и морского угря люблю, и краба, и миногу, если в овсяной муке ее потушишь.

Из всех рыб одну трубчатку я не перевариваю.

Сама-то я ее люблю, да желудок мой не терпит.

1. Старинная английская монета достоинством в четыре пенса.

Глава сорок седьмая
Повязка на глаза

На пороге черного хода этого своего жилья на Турнегейн-лэйн мистер Шекспир остановился и меня поцеловал.

Это он в первый раз за день меня поцеловал, прежде только в щечку чмокнул, когда ямщицкая коляска остановилась в Лондоне.

Поцелуй был мягкий, мокрый.

Селедкой отдавал.

Не мастер он был лобызаний, Вильям Шекспир.

Верно я говорю?

А то.

Уж мне ль не знать.

Мой супруг раздул ноздри и поцеловал меня.

А потом стал выматывать шелковый шарф из рукава своего шикарного камзола.

— Ты чего это затеял? — я спросила у мистера Шекспира.

— Повязку на глаза, — он сказал, — я хочу, чтоб ты ее надела. Я-то знаю, что́ там наверху, а ты не знаешь. И я хочу усугубить сюрприз.

— Может, просто я глаза закрою? — говорю.

— Нет, это будет уж не то, — ответил мне мистер Шекспир.

— Ну почему? — говорю, — я ж без обмана. Честное слово, не открою глаз, не гляну, пока ты не велишь.

Мой супруг вздохнул и покачал своей большущей головой.

— Знаешь небось, что я сюрпризы ненавижу, — я ему напомнила.

— Ну, этот-то тебе понравится, — пообещал мистер Шекспир.

А я и вправду терпеть не могу сюрпризы, приятные ли, печальные ли.

На деньрожденье, на Рождестве, всегда я, — это ужас прямо, — все свертки перещупаю.

Хочу дознаться, что там, под оберткой.

Чтобы заранее знать, какое выражение мне сделать на лице, когда подарок развернут.

Я прямо ненавижу, если кто-то вдруг, сюрприза ради, ко мне подкрадется.

Если кто, без слова, без упрежденья, вдруг к тебе притрагивается, — от такого я аж взвиваюсь вся.

И если я, к примеру, над мойкой отскребаю котелок, а сзади кто-то подкрадется, пощекотит меня или под ребра ткнет, я прямо дергаюсь, от вас не скрою, и мне такое, прямо вам скажу, нисколько не приятно.

Мистер Шекспир выпростал и держал наготове свой шарф.

— Глаза мне, стало быть, завяжешь? — спрашиваю.

А он стоит, такой хитрый, нежный и такой довольный, как мышь в сыру.

— Да, душа моя! Да, непременно!

Мой супруг никогда не был, что называется, красавец, но тут лицо у него сделалось милое, веселое, как у мальчишки.

И хоть и понимала я, что чепуха все это, меня разобрало любопытство.

Что греха таить:

У меня даже мурашки побежали по хребту.

С повязкой это он хорошо придумал.

Тут радость мерещилась какая-то, чудилась какая-то детская забава.

Но он-то был не дитя, да и я тоже, и чуяло мое сердце, что ничего такого детского меня не ждет.

Может, потому-то, что из меня девчонку сделали, когда невесть что ожидало впереди, у меня мурашки и побежали по хребту?

Может, и так.

Что-то в сходном духе.

Тайна ли мне какая-то помстилась.

Или угощенье.

Мистер Шекспир угощеньями меня не очень баловал с тех самых дней гуляний майских, да ведь это когда было!

Глава сорок восьмая
Вверх по лестнице

Ну, и не стала я перечить своему шутнику-супругу.

Поддалась на его блажь.

(Хотя теперь, когда назад оглядываюсь, я вижу, что все-то он заранее придумал.)

Да все равно, блажь ли, расчет, а я ему позволила мне на глаза надеть повязку.

Позволила повязать мне на глаза тот шарф.

Шарф мягкий, теплый. Теплый от пальцев мистера Шекспира, — уж как он мял его, теребил, пока меня улещивал.

А потом мистер Шекспир взял меня за руку.

И повел наверх.

Рука его была горячая и липкая.

И дрожала.

Так дрожала у него рука, что я подумала, уж не в горячке ли он.

А он и был в горячке.

Только такую докторам не вылечить.

Мы ни единым словом не обмолвились, покуда поднимались.

Теперь он меня держал под локоть.

Лестница была узкая. Нас друг к другу прижимало, пока по ней мы шли.

И я чувствовала жар мистера Шекспира. Не только жар его руки. Он весь горел.

Если вам такого не случалось, я вам должна сказать, что очень это странно, когда идешь вслепую вверх по лестнице, а мужчина держит тебя под локоть.

Я вся была во власти мистера Шекспира.

Лестница была крутая.

Ступени скрипели под ногами, пока мы взбирались.

Вот только этот скрип, а так здесь тишина стояла, как в могиле.
Но тут, известно, могила и была, и с рыбной вонью.

Мы взобрались на самый верх.

Я услыхала, как мистер Шекспир отпирает дверь, услыхала визг несмазанных петель, когда она отворилась.

Снова он меня взял за руку, и мы вошли.

Я услыхала, как дверь за нами затворилась, как он ее запер.

— Одну минуту, — шепнул мистер Шекспир.

Слышу — трутницей потарахтел.

Чую — серный дух.

А потом он снял с моих глаз повязку, и я — увидела.

Глава сорок девятая
Что я увидела

Кровать.

— Ох, Господи Иисусе, — я крикнула, — да это ж как алтарь папистский!

Глава пятидесятая
Кровать

Это была громадная кровать, о четырех столбах, и каждый столб толщиной со взрослого мужчину, и малиновый, тяжелый, бархатный полог свисал до полу, а снурки толстенные, что веревки на звоннице.

В жизни я не видывала громадной такой кровати.

А когда сдвинешь полог, видна сама постель, и на ней шелковое покрывало, черное, как ночь, и все расшитое звездами.

На нем с полдюжины белых подушек, лебяжьего пуха, не иначе, такие они пухлые, нежные, и много-много валиков, а перины так высоко навалены, что без лесенки на них и не залезть.

Ну, а простыни — до того громадные, роскошные, будто бы для них паруса содрали с испанского галеона какого из Великой Армады.

И семь черных свечей стояли в серебряных шандалах вдоль всего изголовья, а само изголовье было сплошь резное, и на нем нимфы и как будто бы козлы.

Только они были не ко́злы.

Я сразу поняла, едва мистер Шекспир согнулся и запалил те черные свечи.

Нет, не козлы были вырезаны на изголовье той кровати.

Скорее бесы.

Глава пятьдесят первая
Подмостки

Вот я и крикнула: "Господи Иисусе, это ж как алтарь папистский!" — когда уставилась на эту жутко какую громадную кровать, которая чуть не всю комнату заполонила, темную от закрытых ставен, над лавкой живой

рыбы, на Турнегейн-лэйн, а мой супруг мистер Вильям Шекспир стоял, опершись на один из четырех ее столбов, и мне ухмылялся.

Он позажигал все свечи подле резного изголовья.

Глаза у него как бусины блестели в мерцании свечей.

Лицо было бледное, и по нему стекали капельки пота.

Я смотрела, как плюхался этот пот.

На туфли ему плюхался — кап-кап-кап-кап.

Туфли у мистера Шекспира были черные, и на них новехонькие, блестящие серебряные пряжки.

Лицо сияло в свечном свете.

Не только от пота.

Лицо его сияло оттого, что он на меня смотрел.

Свечной свет льстил мистеру Шекспиру, правда, голова, как и обыкновенно, казалась слишком велика по его телу.

Губы были сухие и потрескались.

Язык между них дрожал, как у гадюки.

В левой руке он все держал свой шарф.

Он этим шарфом утер лицо.

Он его заранее понюхал, потом опять понюхал, когда уже утер лицо.

Мой запах, что ли, вынюхивал в этом своем шарфе?

Или пот собственный хотел учуять?

— Не алтарь, — сказал мистер Шекспир. — Подмостки.

И стал тереть свой костистый нос дверным ключом.

Потом потеребил этим ключом усы.

Глава пятьдесят вторая
Игра

— Я для тебя сюда театр перенес, — сказал мистер Шекспир.

И ткнул серебряным ключом в эту кровать.

А я смотрю на него хмуро, недоумеваю.

— Почем мне знать, похоже это на театр, не похоже ли, — говорю. — Я отродясь в театре не была.

Мистер Шекспир все ухмылялся.

— Так не пора ль это исправить? — говорит.

А я не понимаю.

И что-то мне делать надо, чтоб утаить свое смущенье.

Ну, сняла я этот гороховый плащ.

Стою, дрожу, свечи вокруг горят.

И что-то недоброе чует мое сердце.

Не было у меня охоты театры посещать, спасибочки.

Притон порока.

Скопище обмана.

Ложь сплошная.

Жизнь слишком коротка, чтоб еще по театрам шастать.

— Эта кровать, — сказал мистер Шекспир, — театр только для нас с тобой.

— Ух ты! — говорю. — И что ж мы в этом театре станем делать?

— Играть, — говорит мистер Шекспир, а сам улыбается.

Мой супруг.

Игривый мистер Шекспир.

Чего только не придумает.

Глава пятьдесят третья
Суть моей истории

Теперь ты небось думаешь: и зачем ей это надо — толковать про то, что было на уме у мистера Шекспира.

Такое небось мненье у тебя, Читатель, что зря, мол, вообще она взялась тебе описывать, что да как происходило у них в ту ночь на той постели.

И на другой день, на его деньрожденье.

И на другую ночь.

И во все те ночи и те дни, и неделю целую, которая потом была.

А я вот расскажу, потому что было это не то чтобы обыкновенно.

И в этой самой необыкновенности, в ней как раз и есть вся суть моей истории.

Глава пятьдесят четвертая
Овчинный кафтанчик

Я мистеру Шекспиру на деньрожденье привезла из Стратфорда подарок.

И вот решила я его распаковать.

Это кафтанчик был, из овечьей кожи, черной и белой, под холодную погоду.

Подарок, возможно, и не по сезону, и вещь не то что модная.

Однако в моем выборе была забота любящей жены, поскольку я не предвидела, чтоб он со мною дома встретил следующую зиму, да и любую зиму, если на то пошло.

А славный был кафтанчик.

Сшит прекрасно.

И саржею подбит.

Я его показала своему супругу.

— И ты своими руками это сделала? — он меня спроcил.

А я возьми да и соври.

— Ну да, — говорю. — С деньрожденьем тебя.

Тут мистер Шекспир меня поцеловал.

Потом взял кафтанчик мой, ну и его поцеловал.

Знал ведь, что не по мне дела такие.

Знал, что не швея его жена.

— Примерь, — я ему говорю.

Примерил.

Надел он на себя овчинный мой кафтанчик.

Стоит, улыбается, как дурак, возле постели той громадной.

Только вот улыбался-то он зря.

Я разглядела черные обломанные зубы.

Жидкие волоса свои он начесал вперед, чтобы залысины прикрыть.

— Вот я и волк, — сказал мистер Шекспир. — Волк в овечьей шкуре.

А потом он снял с меня платье, и рубашку мою льняную, и чулки, и уложил он меня на ту кровать, и мы любились.

Глава пятьдесят пятая
Любовные утехи

Любовь у нас не очень сладкой вышла.

Я, по совести сказать, не удивилась.

С самого начала, и даже в самый первый тот разок в Уэлфорде, у мельничного пруда, всегда одно воображение, одна мечта все чувства чаровали у мистера Шекспира.

Вкус у супруга моего, как дойдет до главного блюда, оказывался, можно сказать, что пресный.

Самого смака он не разбирал.

Сахарный-то мой — в кусок вонзиться не умел.

Ну, да ничего, марципанчик мой меня обрюхатил, за милую душу заделал нашу Сусанночку возле того пруда.

Я на четвертом месяце была, когда мы обвенчались.

— О, моя любовь, — он вздыхал, — о, жизнь моя.

— О, жизнь моя, — я вздыхала, — о, моя любовь.

Любовь?

Да ну, уж какая там любовь.

Не мог он просто.

А я не хотела.

Вот и всё.

Супруг мой в трудах любовных всегда был не совсем мужчина.

Все вам выкладываю, как есть.

Как это ни печально.

Бог мне свидетель, наше брачное ложе сроду не было прекрасно.

Ни тебе блаженства, рая и покоя.

Не так, как полагается.

Ах, да и в самый первый тот разок, в длинной траве, под теми сережками, когда сперва он половил форель руками, с нею поигрался, а уж потом принялся за меня, когда уж, кажется, могла бы новизна его зажечь...

Нет, и не зажгла.

Без обиняков вам скажу.

Той форели, известно, в сравнении со мной, побольше радости досталось.

Помереть мне на этом месте, если вру.

Не больно он горячим оказался в тот день в Уэлфорде.

Не сильно меня потряс мистер Шекспир, да и тряс не сильно, если на то пошло.

Ха-ха! (Скорей — увы!)

Сама фамилия-то у него сплошная шутка[1].

Ну, и моя тоже, помните?

Да, любезный мой Читатель, и пришлось мне самой потрудиться, даже главную работу взять на себя.

Чтобы от девственности этой избавиться, будь она неладна.

(Я подарила ему самое дорогое, что только может подарить девушка.)

Ну, ясное дело, волновался он. От ожиданья весь дрожал.

Но потом-то я очень скоро убедилась, что желанье у него всегда было не в соответствии с тем, что получалось.

Ну, как бы это объяснить?

Весь жар у мистера Шекспира уходил в пар.

Хотелось сладенького, а не умел куснуть.

Не очень он меня своими трудами ублаготворял.

И теперь, в ту ночь на той постели, в ту ночь перед его тридцатым деньрожденьем, сперва я думала, что все так у нас и получится, как всегда.

Дух бодр; плоть же немощна[2].

Господи Боже, ну прямо цветочек нежный-тонкий.

— Анна? — он закричал в тревоге.

— Да, — я соврала с досадой.

Глава пятьдесят шестая
Клеветы

Теперь пора, по-моему, вам рассказать про те клеве́ты Джона Лэйна.

Почему теперь?

А потому что я так сказала, вот почему.

Моя книга, как напишу, так и будет написано.

Это моя история, ну, конечно, еще история про меня и мистера Шекспира, и вот — играю я нынче утром на клавесине, обычай у меня такой, и вдруг меня как стукнет, что я ведь вам еще не рассказала про клеветы Джона Лэйна, а давно уж обещалась, аж в Главе восьмой.

Ну вот, и хватит вас обещаньями кормить.

А все случилось так. Слушайте меня внимательно.

Джон Лэйн, сам он стратфордский, хозяйский сын из Алвестонского поместья, отсюда в двух милях вверх по Эйвону. Лэйны эти и Шекспиры друг друга терпеть не могут.

Лучше не спрашивайте, с чего у них пошло, — вражда еще с дедов начиналась.

Джонов дед, Николас Лэйн, как Крез богатый был, а однажды хотел судом, из кожи вон лез, содрать с отца мистера Шекспира деньги за одного поросенка.

1. Читатель, конечно, это и так знает: shake — по-английски — трясти, потрясать; speare — копье.
2. Евангелие от Матфея, 26:41.

Мать Джона Лэйна, так та, стервь, язык высунет, бывало, и рожи корчит за спиной у миссис Шекспир, едва завидит на базаре эту святую женщину.

Скверные ругатели они, умом не вышли, Лэйны, и вся семья такая.

Джон Лэйн, меньшой, так тоже он папист и пьяница, — яблочко от яблони недалеко падает.

Вы, верно, помните, что Сусанна наша названа в честь прекрасной героини из апокрифов. Той, которую в распутности напрасно обвинили.

Ну вот, так же в точности и на мою дочь возвел напраслину этот Джон Лэйн, поганец.

Случилось это летом 1613 года, как раз когда уж мистер Шекспир отошел от дел в театрах, чтоб тихо-мирно век вековать со мною дома в Стратфорде.

На одном званом ужине, народу много было, Джон Лэйн надрался.

Вино развязало ему язык, и изо рта у него уж такая дрянь поперла.

Когда рыбу подали, он плюхнулся лицом в тарелку, однако же успел пробормотать, люди слыхали, что у старшей, мол, у дочки мистера Шекспира в причинном месте теча.

Совсем совести нет у людей.

Под этой течей он сифилис подразумевал.

На гонорею намекал. Когда гноятся почки.

Болезнь венерическая. Дурная. Вот что́ он приписал нашей Сусанне.

(Если сомневаетесь, сами можете удостовериться по списку болезней, в порядке алфавита приведенном в Избранных Наблюдениях по медицине моего дорогого зятя Джона Холла. Там под буквой Г. первым делом так и стоит: "Гонорея, гноеистечение из мочеиспускательных каналов".)

И будто еще мало ему этого, Лэйну, зла на него не хватает, ведь не угомонился, щекой в жареной семге лежучи, а выдумал такую пакость, что будто бы Сусанна прелюбодейничала с Ралфом Смитом в доме у Джона Полмера.

* * *

Ну, все вранье собачье, ни слова правды.

Тут что ж и толковать.

А правда та, что Сусанна тогда была, как и доныне остается, счастливая супруга и мать нашей внучки Елизаветы.

Правда та, что Джон Лэйн пьяница, а у злого, когда надерется, одно только зло на языке.

Милая, невинная Сусанна!

Как и ее тезка, она изобличила эту свинью Лэйна, будучи благоразумна и премудра так, что и мужчинам впору, а те уязвлены похотью к ней и полны беззаконного умысла ее до себя унизить.

Оно конечно, пыль неба не коптит, к чистому поганое не пристанет.

И кто же Лэйну этому поверит.

Но все равно, зачем спускать такое?

Нет в мире важнее доброй славы.

Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота (Притчи. 22:1).

Отнимите у человека доброе имя, и вы его погубите.

А потому Сусанна, с полным согласием своего отца и моим собственным, притянула Джона Лэйна за его наветы.

В 1613 году, в июле месяце, она подала на него иск за клевету в Церковный суд при Вустерском соборе.

Главный свидетель за нее был Роберт Уоткотт, тот самый, что стал потом душеприказчиком мистера Шекспира. Уоткотт сидел тогда напротив Джона Лэйна за столом и согласился подтвердить под клятвой, что слышал те поносные слова.

Да только не насмелился Джон Лэйн на этот суд прийти.

Затаился где-то.

Не стал он защищаться.

Ну, и он дело проиграл, да он его так и так бы проиграл.

И отлучили его от церкви.

И сидит он теперь один-одинешенек, и пьет, и пьет.

Иной раз видишь: сидит, пьяный, у реки Эйвон, отражением своим поганым воду лебедям мутит.

Он и в винной лавке пьет, у Томаса Куини, под названьем "Клеть", на углу Мостовой и Главной.

Из-за этих его походов в "Клеть" у Юдифи с Сусанной теперь и вовсе дружба врозь.

Между собой почти не разговаривают. Если понадобится что, всё через меня.

И ведь даже после этакого дела Джон Лэйн не научился свой язык держать в узде.

На него уж иск в Звездную палату[1] подавали, за непотребства и за клевету на нашего викария Томаса Уилсона.

И церковные старосты присягнули на суде, что он пьяница.

Ох, боюсь я, Куини, зятя моего, на ту же дорожку клонит.

А мой добрый доктор Холл, заметьте, какой человек порядочный, при таком-то несогласии между сестер он лечил Куини от цинги, своим цинготным пивом пользовал, и вылечил.

Вот было б у него лекарство против пьянства!

Да только не открыли еще травы подобной и не откроют никогда.

Семя болезни этой лежит у человека в сердце и в душе. Болезнь эта — болезнь духа, и она смертельная.

Сусанна говорит, что в пьесах моего супруга много клевет возводится на женщин и на их природу.

То он ставит женщин на пьедесталы, всех уверяет в их полной чистоте, какой на свете даже не бывает, то он их боится, им не доверяет по причине их (обыкновенно напридуманной) неверности.

В пьесах у него женщины в полной власти у мужчин, то как невинные богини, то как бляди.

1. Высший судебный орган Англии, действовавший вплоть до 1643 года.

А по мне, так швырнуть бы его в реку с кулем грязного белья за такие вещи, а сперва бабой нарядить да избить за то, что печатно кичился своей силой, и пусть бы мальчики испорченные ему что надо прищемили за похоть его скверную и за многие его грехи против любви.

Глава пятьдесят седьмая
Секст

Как кончил он заниматься этой, с позволения сказать, любовью, мой супруг мистер Шекспир перекатился на спину на громадной постели.

Ноги скрестил и стал чесать коленки.

У него же руки неописуемо длинные были, я еще не говорила?

А потом, ни тебе "прошу прощенья", ни тебе "позволенья просим", стал трубочку курить.

Трубка у него была белая, глиняная, запах у табака приятный.

Я скушала одно яблоко и пять печений.

Лежу я себе и смотрю на балдахин, на свечи. Черный воск капал вниз, на похабную резьбу.

По правде сказать, эта резьба напомнила мне образы Страшного Суда, какие были раньше на стенах ратушной часовни здесь у нас, в Стратфорде. Их забелили, когда я еще девочка была, за то, что чересчур папистские. Мой свекор Джон Шекспир тогда был казначей и отвечал за эту вымарку.

Помню, бывало хвастался, что всего в два шиллинга побелка ему обошлась.

А помер он папистом.

Вот уж впрямь, чужая душа потемки, да?

Лежу я и смотрю, как черный воск катится, густеет.

— Эта кровать, — вдруг я спросила, — во сколько же сонетов она тебе встала?

Я на спине лежала и ладонями простыни оглаживала.

Мягкие, как масло.

Мистер Шекспир не вздрогнул, хоть мой вопрос был грубый.

Сосет себе свою длинную трубку. И бровью не повел.

— Ни одного сонета, — говорит. — Только две поэмы.

— Скажите! — говорю. — И длинные?

Мистер Ухмыл пыхнул трубкой, кивнул.

— Довольно длинные, — говорит. — Да я тебе покажу.

Тут мой супруг отложил трубку и поднырнул под одну пуховую перину. Как будто вплавь пустился. И даже пятками брыкал. А когда вынырнул, в каждой руке держал по книге.

Два тонких томика, с золотым обрезом, в четверть листа размером.

И всучил их мне, очень собою гордый.

Такие книги я только у богачей в библиотеках и видала.

Это вам не то что грошовые листы, тетрадки, книжицы.

(Потом уж я узнала, что все издание тех книг не столь изящное. Эти два тома были переплетены особо для моего супруга: от покровителя в подарок.)

Венера и Адонис - одна книга называлась.

Другая – Поругание Лукреции[1].

И на каждой книге, на первом листе, большими буквами означено: Вильям Шекспир.

И на каждой посвящение Высокочтимому Генри Ризли, графу Саутгемптону и барону Тичфилду[2].

Читаю и на ус мотаю.

Ага, думаю.

А сама молчу.

Не лыком шита.

И говорю про совсем другое.

– Про Венеру, – говорю, – про ту я знаю. А Лукреция кто же такая?

Мистер Шекспир опять взялся за трубку.

– Римлянка, – он мне объяснил.

– Римская леди, которую поругали? – спрашиваю.

– Вот именно, – отвечает.

Я надкусила новое яблоко.

Он начал кольца дымные пускать.

Я на локоть оперлась, смотрю на эти кольца.

И получше видывала.

– А кто ссильничал Лукрецию?

– Тоже порожденье Рима, – сказал мистер Шекспир.

– Тоже римлянка? – я его спрашиваю.

Тут мой супруг закашлялся.

– Разумеется, нет. – Он сказал. – Римлянин. Царского рода, если на то пошло. Из рода Тарквиниев. Секст Тарквиний[3].

– Секст, – говорю. – Красивое имя.

Он нахмурил брови.

– Ты полагаешь? – и очень, кажется, он удивился.

– Секст, – я повторила. – Да. Мне нравится, как этот Секст звучит.

Ну конечно, я его дразнила.

Плевать мне, как звучат слова и имена.

Звук слов не в соответствии с их смыслом.

Мистер Шекспир был такой человек, для которого на первом месте стоял звук слов.

А я такая женщина, для которой на первом месте их смысл, и только смысл.

То есть смысл только один меня и занимает, как всякую порядочную женщину.

Ну да, и просто я дразнила моего супруга, нахваливая Секста.

Мистер Шекспир, он этого не понял.

Он очень даже медленно соображал, когда ему удобно.

– Ну, – он мне сказал, – этот Секст был большой мерзавец.

1. В оригинале сильнее – "Rape...", то есть "Изнасилование Лукреции". В русской традиции поэму принято означать просто "Лукреция".
2. Кстати, оба посвящения весьма пространны и прочувствованны. "Венеру..." автор, среди прочего, называет своим первенцем и выражает смиренную надежду на то, что он будет достоин столь благородного крестного отца. "Лукрецию" предваряет заверениями в любви без конца и такими словами: "Все, что я сделал, твое (ваше), все, что я сделаю, твое же".
3. Лукрецию, благородную супругу Лукреция Тарквиния Каллатина, опозорил старший сын последнего римского царя Тарквиния Гордого – Секст.

Я улыбнулась черным свечкам.

— Само собою, — говорю.

Я еще немножко пожевала яблоко.

Что твоя Ева.

— А все равно мне звук имени его нравится, — сказала я мистеру Шекспиру.

Глава пятьдесят восьмая
Изгнание, вепри, и больше ничего

Темнее стало в комнате.

Мистер Шекспир лежал, качал головой и сосал свою трубку.

Но скоро он заметил, что трубка у него погасла.

— А что стало с Лукрецией? — я его спросила. — Ну, потом, то есть когда уж Секст ее ссильничал...

— Она все рассказала мужу, — ответил мой супруг. — А потом закололась.

— А Секст? — я его спрашиваю.

— Секста отправили в изгнание, — сказал мистер Шекспир.

Я перестала кушать яблоко, лежу, облизываю пальцы.

— И это всё? — говорю.

Мистер Шекспир возился со своей трутницей.

— О чем ты? — он меня спросил. — Что — всё?

— Изгнание, — говорю.

Мистер Шекспир нахмурился.

— Слабоватый конец, по-моему, — я говорю. — А может, пускай бы лучше этот муж убил твоего Секста?

— Но он не убил, — мистер Шекспир весь встрепенулся. — Ты не поняла. Основа историческая. Истинное происшествие.

Я улыбнулась ему самой лучшей своей улыбкой.

— По-моему, поэтам и приврать не грех, — я ему сказала.

Я опять откинулась на подушку и стала смотреть, как горят свечи.

Слегка побарабанила по постели пятками.

— Ну, а в другой поэме кто кого сильничает? — спрашиваю.

Мистер Шекспир аж спичку уронил: — Прошу прощенья?

— Вопрос простой, — я говорю. — Твоя Венера ссильничала твоего Адониса или твой Адонис твою Венеру?

Вижу: мистер Шекспир начал краснеть от мысли о Венере, которая сильничает Адониса. Мельничный пруд в Уилфорде вспомнил, какое же сомненье. Или небось в Чарлкоте вечер, под тем громадным дубом.

— Ясное дело, — я поскорей прибавила, его жалеючи. — Если это строго историческое или — как тут правильно сказать? — мифическое, тогда...

— В моих поэмах не сплошь одно насилие, — пробурчал мистер Шекспир.

Ишь как.

Не на таковскую напал.

— Ладно уж, — говорю. — Сделай милость. Знаю я немножко эту историю про Венеру. Там женщина мужчину сильничает, так ведь?

Мистер Шекспир втянул воздух своими тонкими белыми ноздрями.

Потом вздохнул.

Лицо у него стало краснеть.

— Венера — богиня, — он сказал. — Она влюбляется в смертного, в Адониса. Она не хочет отпускать его на охоту. Удерживает, домогается. Но не может завоевать его любовь.

В точности как у нас, я подумала. Я его не отпускала на охоту. Он гнал оленя, у Томаса Люси в Уэлфордском лесу. И в Чарлкоте тоже, когда ему почти уж повезло.

Я прямо уверена была, что мистер Шекспир знает, о чем я думаю.

Он читал мои мысли, я уж объясняла, как по открытой книге.

А потому я ни единого слова не сказала про наши с ним дела.

Наоборот:

— Интересно, — говорю. — Начало хорошее и середина, но чем у них кончается? Адониса отправляют в изгнание?

Лицо у мистера Шекспира даже вытянулось все.

Что-то он пробормотал.

— Прости, не разберу? — говорю.

— Его задрал дикий вепрь, — буркнул мой супруг.

Тут я не удержалась, улыбнулась.

Я хмыкнула.

Потом расхохоталась.

Ну, что вы скажете?

А вы бы как вели себя на моем месте?

Я откинулась на подушках и хохотала, хохотала.

Мистер Шекспир вынул трубку изо рта и на меня уставился.

— Что тут смешного? — он наконец спросил.

— Ой, прошу прощенья, — говорю, насилу с собою совладавши. — Чуть-чуть смешные у тебя эти поэмы. То сильничают в них, то ссильничать хотят, потом изгнание, вепри, и больше ничего.

— Сюжеты не важны, — серьезно так сказал мистер Шекспир. — Главное — стихи. То, что я делаю из готовой темы. Дай-ка я прочитаю тебе место...

— Лучше давай не надо, — я сказала. — У меня и так уж голова болит.

Глава пятьдесят девятая
Адское пламя

Голова у меня не болела.

Я прилгнула моему милому сочинителю-супругу для его же блага.

Голова у меня не болела.

Просто не хотела я слушать его поэзию.

Голос у мистера Шекспира, когда он читал стихи, был дивный, ну прямо бесподобный голос. Ласкал ухо.

А сейчас не ухо у меня просило ласки.

Мы лежали на постели рядышком.

Лежали рядышком на этих шикарных, гладких простынях, друг друга не касаясь.

А я ведь голая была.

И свечи эти были для меня теперь как адское пламя.

Голова у меня не болела.

Странно даже.

От речей этих полоумных про изнасиленье Адониса, изгнание, вепрей, и больше ничего, у меня все болело.

Какие только мысли и картины не проносились у меня в уме.

Картины похотливые.

Мысли сладострастные.

Вещи несказанные.

Кое-какие мысли и картины даже и смешные были.

Но самое главное вовсе было не смешно.

Я все смотрела на резьбу, на свечи.

На бесов с нимфами.

Что они вытворяют.

Казалось мне, будто шевелятся они.

Прямо я их движенья видела.

Свечное пламя так играло, никакого сомнения.

Но две свечи свивались, сливались, таючи, в одну, и это уж на самом деле.

Смотрела я, как черный воск густеет, капает с тех двух свечей, которые слились в одну.

А я ведь голая лежала.

Лежу и глажу черное шелковое покрывало.

И звезды щупаю.

Твердые, зубчатые.

Не приведи вас Бог — звезды в руках держать, вредно для головы и сердца.

Ну прямо не могла я повернуться и глянуть на мистера Шекспира.

Я слушала, как он дышит.

Дышал он глубоко, но я-то знала, что не спит.

Или опять он читал мои мысли?

Не знаю.

Узнала б, сразу же бы вам доложила.

Читай он мои мысли, это бы скорее объяснило то, что случилось дальше.

Да только не пришлось моему супругу мысли мои читать.

Потому что, спустя немного времени, я тихонечко проговорила:

— Генри Ризли.

— Да, — сказал мистер Шекспир.

— Генри Ризли подарил тебе эту кровать за твои поэмы.

— Нет. Он дал мне денег. И я купил кровать.

— Денег, — говорю.

— Да, — он говорит.

Я мялась.

Все не могла взглянуть на мистера Шекспира.

Потом спохватилась, что простыни эти я обнюхиваю.

Ничком в перине, на пуху лебяжьем, я обнюхивала эти простыни.

Супруг мой ничего не говорил.

— Эта кровать, — я шепнула. — Он спал на ней?

Глава шестидесятая
Тысяча фунтов

Мистер Шекспир не отвечал.

И я поняла.

Раз мистер Шекспир не захотел мне отвечать, я поняла, что как пить дать друг его побывал в постели, в которой мы теперь лежали.

— Господи Иисусе, — я шепнула, — милостивый, многотерпеливый Господи Иисусе.

Обыкновенно я не поминаю имя Господа так, за здорово живешь, или всуе.

Мне и теперь аж неприятно вспоминать и записывать, что я тогда сказала: "Господи Иисусе".

Но из песни слова не выкинешь.

Я ничего не пропускаю.

И не вру.

Я все начистоту выкладываю, пусть даже такие дела и слова приходится припомнить, какие совсем мне будут не на пользу, когда прогремит труба в день Страшного Суда.

Я глаз не могла отвесть от этих двух свечей.

— А что мужчины делают? — я шепнула.

Ответа не было.

Но я услышала, как муж мой вздохнул, тяжко, будто бы от боли.

Я шепнула:

— Хорошо это, да?

Постель, я чувствовала, колыхнулась.

Я обернулась, глянула.

Мистер Шекспир приподнимался.

Стягивал свой овчинный кафтанчик.

Потом потянулся к толстому снурку и сомкнул вокруг нас полог постели.

— Ризли, — я сказала. — Граф Саутгемптон. Барон Тичфилд.

Постель была теперь как комната у комнаты внутри.

Укрытие.

— Деньги, — я сказала. — Ах ты блядь, — я сказала.

Воск капал с изголовья. Простыни пятнал.

Вот капля плюхнулась, горячая, на лебяжью подушку. И зашипела на шелку.

Я шепнула:

— И сколько ж он тебе заплатил?

Мой супруг пробормотал что-то.

— Сколько? — я опять спросила.

И тогда мистер Шекспир заговорил ясно и спокойно.

— Он дал мне тысячу фунтов, — сказал мистер Шекспир.

Глава шестьдесят первая
На той постели

Я уставилась на мистера Шекспира.

Мистер Шекспир не улыбался.

Он очень прямо на меня смотрел.

— Что ты делал? — я прошептала. — Что ты такого сделал, чтоб на тыщу фунтов потянуло?

Мистер Шекспир теперь был голый.

Уд у него стоял, твердый, как кочерга.

— Ты хочешь знать, — он сказал. — Ты вправду хочешь знать.

Это был не вопрос.

Он это утверждал.

— Я хочу знать, — шепчу. — Что ты делал?

— Я его драл, душа моя, — очень тихо сказал мистер Шекспир.

— Как это? — спрашиваю. — Что это такое значит?

Мистер Шекспир ни слова не ответил.

Глаза у него были как раскаленные уголья.

Он кусал губу.

Когда перестал кусать губу, он крепко поцеловал меня в губы. Потом провел пальцами по моему лицу и нежно поцеловал мои веки.

Раз муж мой поцеловал мои веки, я решила не открывать глаз, и я ждала.

Я чувствовала, как мистер Шекспир у меня за спиною шевелится.

Потом постель колыхнулась — это он на колени встал.

Чувствую: скорчился у меня за спиною в темноте.

Руки вытянул и крепко стиснул сзади мои ляжки.

А потом, чувствую, отверделостью своей зашлепал меня по ягодицам.

— Она хочет знать, — он сказал спокойным голосом. — Да, она в самом деле хочет знать.

Голос шел будто бы издалека. Но сам он, горячий, жесткий, уже входил в меня сзади.

— Да! — я крикнула. — Да! Да! Как ты это делаешь?

Потом:

— Вот так, — сказал мистер Шекспир.

И он со мною сделал это.

Глава шестьдесят вторая
Улитки

Сперва мне было больно.

Потом больно не было.

Больно мне, не больно, но как начал мистер Шекспир, его уже нельзя было остановить.

– Хорошо? – он кричал. – Нравится тебе?

– Нет! – я кричала. – Нет, не надо, не хочу, нет, нет, нет...

Но потом, немного погодя:

– Да!

Улитки были самые любимые твари у мистера Шекспира.

Раз как-то видела: час целый сидел смотрел, как улитка взбирается, взбирается по стеблю, уж очень нравилось ему, как она в раковину вся вбирается, когда коснется рожками листа.

Глава шестьдесят третья
Снова

Когда управился, мистер Шекспир заговорил о деньгах.

Кровать эта так дорого не стоит, он сказал.

От тысячи фунтов осталась бездна денег.

Он купит доли в новом театре, который мистер Бербедж строит на Банксайде[1].

Там будут показывать его пьесы, мне рассказал супруг.

И тогда он станет получать за свои пьесы плату, а вдобавок у него будет процент от выручки.

Деньги к деньгам, сказал мистер Шекспир.

Скоро он сможет приобресть и собственность.

Настанет день, пообещал мой умный муж, когда он будет жить в лучшем доме Стратфорда.

(Оно, положим, не получилось.

Пришлось нам согласиться на второй по качеству.)

Устала я от этих разговоров.

И я до него дотронулась.

– Ты снова хочешь? – удивился мистер Шекспир. – Снова хочешь, прямо сразу?

Я хотела.

Я хотела снова, прямо сразу.

И мистер Шекспир с большой охотой выполнил мое желание.

В конце концов я уснула.

Уснула, утомясь тем, что он со мною делал.

Великий покой на меня нашел.

Отродясь, по-моему, мне еще не было так хорошо, отрадно и так вольно.

Дождик стал накрапывать, когда я заснула, это я помню.

Я слышала, как апрельский дождик тихонечко шуршал на крыше.

1. Банксайд – часть Лондона на южном берегу Темзы, между мостами Блэкфрайерз и Лондонским. Бербедж построил там театр "Глобус" в 1599 г. Сначала это была всего лишь обнесенная деревянной стеной площадка. В 1613 г. старинный "Глобус" сгорел, был заново отстроен из камня и просуществовал до 1644 г.

Мистер Шекспир все говорил про деньги, когда я заснула.
Но вовсе не деньги никакие я видела во сне.

Глава шестьдесят четвертая
Мой сон

Снилось мне, что я на холме Стичкомба и кругом сплошь наперстянка.

Люблю я наперстянку.

Красота у наперстянки скромная, неяркая, не слепит глаза так, как когда в июне волнится по полям ромашка.

Есть в наперстянке тонкость, нежность.

Все в ней — отдохновение для души. У наперстянки в чашечке, на самой глубине, бальзам таится.

И снилось мне, как будто я срываю наперстянку и в нее заглядываю. И будто я потом в нее вхожу, вовнутрь, и наслаждаюсь ее расцветкой, и нитями тычинок, и цветочным шелком, розовым, лиловым, алым, белым, и радуюсь на то, как стебель стоек, как поник цветок.

По-моему, мне снилось, будто бы сама я наперстянка.

Глава шестьдесят пятая
Ослиная голова

Наутро просыпаюсь я от рева.

Озираюсь в реденьком, чудно́м каком-то мраке.

И вижу — стоит в ногах постели дьявол.

— И-а! — дьявол ревет. — И-а!

Дьявол совершенно голый, ну ни единой ниточки на нем, а только голова ослиная надета[1].

— И-а, — он снова проревел. Потом: — Ха-ха!

И вдруг я услыхала, как там, внизу, на улице, поют.

Такие миленькие были слова у этой песни.

Потом уж я их в песеннике отыскала.

Песня была такая:

Вотще хочу забыть
Затверженные звуки,
Коль счастья рвется нить
И надо дни влачить
Томясь в пустой разлуке.
Но — ах! — едва я вновь,
Волшебница-любовь,
Твое блаженство чую,
Как выбора мне нет,
И жизни мой привет
Опять пою, ликуя.

1. Совершенно как Титания, проснувшись, видит Основу с ослиной головой. (См. "Сон в летнюю ночь").

Любовь, тебя хулят,
Как будто горьки сласти,
И от лекарства яд,
И счастья от напасти
Нет средства отличить.
Вольно ж тебя хулить
Тем, кто не знают сами,
Сколь твой пьянит фиал,
Я ж вновь совсем пропал,
Едва к нему припал
Блаженными устами.

Там же лавка рыбная была.

Небось торговец сам и пел.

Такая миленькая песня.

Как вспомню ее, так у меня аж слезы на глазах и дрожь по хребту проходит.

Я песенки заслушалась, а уд дьяволов тем временем в меня нацелился.

Я узнала дьявола по его снасти.

Что твое копье.

И сотрясается.

Я не могла с собою совладать. Протянула руку к этому копью.

Протянула руку и копье это я погладила.

А потом перевернулась ничком и встала в постели на коленки.

А потом уж постаралась, чтоб дьяволу сподручней было в меня попасть.

— И-а! — ревел дьявол. — Ха! Блядь! — кричал дьявол. — Теперь все мало ей, да?

Мистер Шекспир драл меня, не снявши ослиной головы.

Мой супруг.

Мистер Шекспир, львиное сердце.

Осел разнеженный.

Глава шестьдесят шестая

45

А теперь, моя книжица, я в тебя впишу кое-что совсем иное.

Любезный мой читатель, придется и тебе пошевелиться.

Возьми-ка в руки Библию.

Открой Псалтырь.

Найди псалом сорок пятый[1].

Ну вот.

А теперь прочти стих 4:

Пусть шумят, вздымаются воды их, <u>трясутся</u> горы от волнения их[2].

1. В оригинале — соответственно — речь идет о 46-м псалме.
2. В английском на месте подчеркнутого слова — "shake".

Прочти подчеркнутое слово вслух.
Теперь прочти конец стиха 10.
...сокрушил лук и переломил копье.
Прочел?
А теперь вслух проговори.
Сложи-ка эти два подчеркнутые слова.
Понял?
То-то.

Мой супруг мистер Шекспир сам за этим присмотрел. Или он все это придумал и мне очки втирал.

Тоже ведь: соврет — недорого возьмет.

Так или иначе, случилось все, по словам моего ловкого супруга, вот каким манером.

Когда совсем уж близилась к концу работа над Библией под присмотром короля Якова[1], назначенный королем особенный комитет выбрал кое-какие места из Ветхого Завета и представил видным мужам литературы на поверку.

Мистеру Шекспиру досталась часть Псалтыри.

Случилось это, выходит, раннею весной 1610 года, за год до того, как муж мой отошел от дел и перебрался сюда, в Стратфорд.

А был он тогда, осмелюсь доложить, на самой на вершине славы.

Вот и вышло, он мне потом рассказывал, что будучи сорока пяти лет от роду пришлось ему подчищать (так он выразился) 45-й Псалом, *Начальнику хора. Сынов Кореевых. На музыкальном орудии Аламоф. Песнь.*

Что мой супруг со всем тщанием и выполнил, и не преминул сунуть в псалом этот собственное свое имя, исподволь, двумя частями, комар носу не подточит, — и как бы подпись свою секретную он в Писании проставил.

Истинная ли это история?

И в самом деле мистер Шекспир так поступил?

Или заметил он в бездельную минуту, что слова псалмопевца так легли в Библии короля Якова (знал ведь, что я ее люблю), да моей утехи ради и сочинил такую небыль?

Тут я ничего определенно сказать вам не могу.

Но все-таки должна сказать, что, на мой взгляд, едва ли стал бы мистер Шекспир такую сказку городить при случайном совпаденье слов, зачем ему, и, стало быть, скорее те и были обстоятельства, как он мне описывал, и за те слова псалма он сам в ответе.

Любил играть словами, я, помнится, и раньше говорила. (Взять хоть бы главу тридцать пятую, — уж что он там наворотил в своем сонете 145.)

1. Перевод Библии под покровительством короля Якова был опубликован в 1611 году. История перевода Библии на английский язык трудная и долгая. Первый из опубликованных переводов (с еврейского и греческого) предпринял Уильям Тиндал (1492–1536), поплатившийся за это жизнью, будучи обвинен в намеренных ошибках и сожжен на костре. За этим переводом последовали другие (Томаса Метью, 1537, Женевская Библия, 1560, и др.). Переводчики, исполнявшие заказ Якова, использовали достижения предшественников, и перевод Библии, известный как "Версия короля Якова", по сей день остается каноническим, несмотря на новые переводы.

И деньрожденье свое тоже шиворот-навыворот справлять любил. (Как вспомнит, что все мы тленны, так хитрый бес какой-то его и подмывает.)

И баловство его с 45-м псалмом, когда он провождал свой сорок пятый год, уж очень схоже с тем, как он баловал со мной, своей женой, когда справлял свое тридцатое деньрождение в тот день, какой, сколько живу на свете, я не забуду, вот вам крест, и это — святая истинная правда.

Мой супруг.

Псалмопевец мистер Шекспир.

Все задом наперед, все шиворот-навыворот.

Глава *шестьдесят седьмая*
Как мне это понравилось[1]

Ну вот, друзья мои хорошие, а теперь пора мне вернуться к той постели.

Пора вернуться на те расшитые лебяжьи пуховики под тающими черными свечами.

Ведь мне осталось еще кое-что вам рассказать.

Я описала вам, с чего все началось, а надо ж еще описать, что было дальше.

Что делал он.

Что я делала.

Что он говорил.

Что говорила я.

И чем все заключилось.

Ведь что последовало за первым тем ненатуральным делом, было вовсе даже и не заключенье, не добавка.

В том, что последовало, был как раз самый главный смысл.

Никак не меньше.

Верно я говорю?

То-то.

Уж мне ль не знать, а?

А для меня смысл — главное, такой я человек.

И я уж постараюсь, мои хорошие, вам передать самую суть про этот смысл.

Хоть, врать не буду, смысл этот отчасти непостижен моему уму.

Это как пророк Даниил и то его видение овна и с козлом[2].

И было, когда я, Даниил, увидел это видение и искал значения его, вот стал предо мною как облик мужа (Даниил. 8:15).

Да только ко мне-то небось ангел Гавриил с объяснениями не заявится, где уж, я на такое и не зарюсь[3].

1. Явное обыгрывание названия комедии "Как вам это понравится".
2. Книга пророка Даниила. 8:3—27.
3. Там же, 8:16—26 — Гавриил по просьбе Даниила растолковывает ему его пророческое видение.

Ну вот, и если даже кровать эта теперь служит хоть бы и в бардаке, она небось бы покраснела, случись ей заговорить и рассказать про все про то, чему мы на ней предавались.

Мой супруг мистер Шекспир ее назвал театром.

Аминь, я так скажу.

Вот именно что.

Кровать была наш с ним тайный, особенный театр, где вместе мы разыгрывали прихоти, фантазии и сны мистера Шекспира.

Ведь мистер Шекспир, вы помните, и без вина мог пьян напиться, такой уж человек. Мечтами, снами жил. И сам как сон.

Ох, а я-то, я-то, я с дорогой душой все исполняла, что он на той постели мне только ни велел, охочая актерка.

Но всё мы вытворяли так, как мне это нравилось.

Даже и не вздумайте чего иного.

Мистер Шекспир — ну, ни к чему меня не принуждал.

Всё мы с ним делали, как я хотела.

Ведь вдруг я поняла: мне нравилось, что нравилось ему.

Сообразила: хотела я того, что он хотел.

Хотела? Нравилось?

Чего уж там, я наслаждалась.

Читатель, я обожала это все.

И у всех у наших тайных пьес был один бесподобный плотский конец.

Глава шестьдесят восьмая
Наши пьесы

Бывало, я оденусь мальчиком, а мистер Шекспир натянет мою одежу.

Как мне нравилось ходить в камзоле и штанах ради ублажения моего супруга.

Как было весело копаться в складках своей собственной юбки, покуда его мужества не отыщу.

Как было весело смотреться в зеркало, пока мы этак наряжались и дурили.

Я ему помогала натягивать мои чулки.

А он за мной гонялся, меня шлепал, заставлял надевать его башмаки.

У мистера Шекспира были еще наряды, в окованном медью сундуке, — под кроватью у него стоял.

Плащи, короны, парики, кинжалы, маски, всякое такое.

Бывало, мы их тоже брали.

Но редко.

Обыкновенно нам хватало одних слов, чтоб душу кидало в жар.

Слова-то какие были!

Его слова!

Пчелка глубже жалит, коль меду в жало наберет.

Мистер Шекспир начинал бормотать, уже когда черные свечи он зажигал.

А потом задернет он полог постели, и мира больше нет вокруг, и он все бормочет, он говорит, говорит, он все говорит, и мы разыгрываем его сны.

Раз уговорил меня, как будто кровать наша — очарованный, плывущий в море остров.

Я была дочь волшебника, который правил на этом острове.

Звали того волшебника Просперо[1].

Он звал меня Мирандой.

Сам мистер Шекспир был кто-то или что-то по прозванью Калибан.

И этот Калибан, он похотливый был, как зверь.

Потом пришлось мне изображать одну строптивицу, Кейт Слай ее звали, а сам он был веронский господин, Петруччо, и к собственному удовольствию он ту строптивицу обротал[2].

Как — сами догадайтесь...

Потом я была герцогская дочь, и я сбежала из дворца и жила в лесу, под названием Арденский (матери мистера Шекспира ведь девичья фамилия Арден)[3]. И пришлось мне переодеться в мужское платье, чтоб было безопаснее в лесу, а мой супруг стал деревенской девушкой, и он в меня влюбился.

Тут все уж до того запуталось, что прямо жуть, и даже я не знаю, чем бы дело кончилось, если б не уд мистера Шекспира.

Потом я была Тит... не помню дальше как, королева фей, а мистер Шекспир был ткач, дурак и грубый, неотесанный ужасно, и вот он на меня набрел на залитом луною склоне[4].

Это была, он сказал, летняя ночь.

Он мне велел лечь ничком в подушки.

Я их нюхала.

Кусала.

Запах был как от хлеба, когда его только испекут.

А вкус был смертно сладкий, как лаванда.

— Ну ты разлютовался! — я кричала. — Нельзя ль полегче!

А он кричал:

— О! Без меры, без меры![5]

Помню — такие странные слова. Орал как резаный, как будто больно ему ужасно.

Да только не было ему больно, это уж как пить дать.

Он наслаждался.

А в другой раз я была царица Тамора, царица готов, а он был римлянин, Тит по прозванью, и он убил моих двоих сыновей и начинил останками пирог[6].

Вот пакость.

1. "Буря".
2. "Укрощение строптивой".
3. "Как вам это понравится".
4. "Сон в летнюю ночь". Супруги разыгрывали акт III, сцену 1: Тит... — это Титания, королева фей, околдованная царем эльфов Обероном, она, проснувшись, влюбляется в ткача Основу, обращенного эльфом Паком в осла.
5. Часто употребляемое Шекспиром выражение. См., например, Отелло. Акт V, сцена 2: "Этот человек любил без меры и благоразумья". Перевод Б. Пастернака, или сонет 129: "Ее без меры взыскуют и без меры же клянут" (о похоти). Перевод А. Шаракшане.
6. "Тит Андроник".

Эта пьеса мне не очень нравилась.

Главное, он же настоящий пирог тогда принес, пирог с угрем.

На Турнегейн-лейн купил и заставлял меня с ним вместе кушать, сидя на постели.

Меня прямо блевать тянуло.

Не от угря меня блевать тянуло, а от мысли, что не угорь это.

Но я кушала.

Понимаете, я хотела мистера Шекспира.

И когда он перестал болтать, ох, как мне нужно было, чтобы он сделал то, что, знала я, он сделает, когда мы покончим с пирогом.

И он сделал.

Два раза подряд.

Потом еще была одна интересная такая пьеса, где я была итальянская девушка, совсем молоденькая, Джульетта он меня звал, и пришлось мне притворяться, как будто бы лежу я мертвая в склепе (на той постели!), потому что монах-католик мне дал настоя выпить.

А мистер Шекспир был мой любовник, Ромео его звали, и Ромео, как увидал, что его Джульетта мертвая лежит, он взял и выпил крысиного яду[1].

А Джульетта была не мертвая.

Монах-то дал ей всего-навсего сонного питья.

И вот я просыпаюсь, вижу рядом бездыханное тело моего Ромео, и тут приходится мне якобы схватить его кинжал и с горя заколоться.

Приходится в грудь себе вонзить кинжал с печали по Ромео.

А потом мистер Шекспир поцеловал свою мертвую Джульетту и сделал с ней еще кое-что другое.

Потом он меня сделал нехорошей одной королевой, я имя только позабыла[2], она ходит во сне и все хочет смыть пятна крови со своих рук, а ей привиделись те пятна.

Мой муж-король был тряпка.

Но я подстрекнула его совершить убийство ради короны.

И, как дошло до дела, он оказался подлинным мужчиной.

И мистер Шекспир тоже.

Потом, уж на другую ночь, я была возлюбленной принца датского.

Этот принц датский спятил, или он притворился, будто спятил, то ли от этого притворства он и спятил, я совсем запуталась, и мистер Шекспир, по-моему, тоже, но так ли, иначе ли, мне пришлось бродить по комнате и разбрасывать якобы цветы, а потом изображать, как будто я добрела до берега реки и утопилась[3].

Тут супруг мой заорал, что я на самом деле Катерина Гамлет, бедняжка, которая утонула в Эйвоне недалеко от Стратфорда, когда он был мальчишкой.

1. Из разговора Ромео с аптекарем (Ромео и Джульетта. Акт V, сцена 1) вовсе однако не следует, что яд, который купил Ромео (а потом выпил), был крысиный яд.
2. Леди Макбет.
3. "Гамлет". Офелия разбрасывает цветы в акте IV, сцена 5. В акте IV, сцена 7 Королева рассказывает Лаэрту, брату, о ее гибели.

Кровать была рекой.

Мистер Шекспир прыгнул в эту реку за мною следом.

Должна сказать, он меня утопил вниз лицом.

Известно, в полном несоответствии с природой.

А потом он был черный мавр, воин на службе у Венецианского государства.

И он удушил меня подушкой на той постели, потому что я была его жена, а ему наврали, будто я ему изменила с лейтенантом.

Мистер Шекспир сочинил для этой сцены бесподобную песенку[1], пока мы делали то, что, я так и знала, что мы будем делать после удушенья.

Там что-то насчет ивы, в той песенке.

От этого, да мало ль от чего еще, мне даже слезы выступали на глаза, я помню.

А потом я была Клеопатра, Египтянка, и якобы со змеей.

(Тут я не вижу особой связи с нашей кошкой.)

И пришлось мне ту змею называть моим младенцем.

Пришлось ее уговаривать, чтоб сосала меня до тех пор, пока помру[2].

А еще в другой раз мистер Шекспир был Антиох, или еще как-то, король, одним словом, Антиохии, а я была его дочь[3]; а еще я была сразу три дочки, а он был старый британский король, по имени Лир...

Но уж про них-то чего рассказывать.

Хватит.

И даже чересчур!

Глава шестьдесят девятая
Корзиночка под крышкой

Если что́, если вам это показалось чересчур, вот вам лекарство.

Сладенькое, для ублаготворенья ума и сердца.

Вот вам мой рецепт бесподобного пудинга.

Корзиночка под крышкой

(*старинное йоркширское блюдо*)

Слегка подогрейте на огне две пинты пахты.

Вылейте в посуду и поднесите к корове.

Надоите туда примерно с пинту молока, только сычужка сперва добавить не забудьте.

1. Отелло. Акт IV, сцена 3. Песня Дездемоны "Ох, ива, зеленая ива".
2. Антоний и Клеопатра. Акт V, сцена 2: "Тише, не буди / Младенца на моей груди, который / Сосаньем мамку насмерть усыпит". Перевод Б. Пастернака.
3. "Перикл, князь Тирский".

Дайте отстояться, потом снимите творог, поместите в сито, жмите и давите, пока творог не станет совсем твердый.

Добавьте сахару и мускатного ореху, взбейте сливок, к ним добавьте тоже толченого мускатного ореху с сахаром и все смешайте с творогом.

Блюдо, известно, можно прекрасно приготовить, коровы не доивши, однако, по моему опыту, когда подоишь, крышка куда как лучше получается.

Это, чего уж говорить, был любимый пудинг мистера Шекспира.

Глава *семидесятая*
К *случаю*

Несметные богатства в малом месте...[1]

Так мой супруг мистер Шекспир описал то, чего мы сподобились.

– Несметные богатства в малом месте, – он сказал, и даже равнодушно как-то, а сам стоял спиной к окну, смотрел, как я лежу в постели, и белую трубочку свою посасывал.

Я и сама бы лучше тут не выразилась, ей-богу.

А ведь не то чтоб это собственное его выраженье было.

Я-то думала – его.

Ан оказалось – нет.

Раз привела я эти слова, так, к разговору, а речь-то шла, известно, про все невинное, и тут моя ученая дочь Сусанна меня и просветила, что это взято из творчества другого драмодела, соперника его.

Одного молодого человека, Кристофера Марло, сына кентерберийского сапожника.

Ужасный был афей, Сусанна говорит. И тоже, люди говорят, мальчиков любил и табачок.

Этого Марло убили в пьяной драке, в Дептфорде, в кабаке. Фразер звали того человека, который шпагой в глаз его проткнул, Сусанна говорит.

Знал небось мой муж этого Марло.

С какой он только шантрапой в Лондоне не возжался, и очень даже свободно быть могло, как ни печально[2].

Скорей всего мистер Шекспир произведенья Марло тоже знал.

И до того прекрасно знал, что даже спер строку насчет несметных богатств в малом месте и привел мне кстати, чтоб описать, чего мы сподобились на неделе, какую провели в его квартире над рыбной

1. Кристофер Марло. Мальтийский еврей.

2. Однако к сведениям, сообщенным Сусанной, надо добавить, что Марло (1564–1593) был великий поэт. И впрямь сын сапожника, он окончил Кембридж, получил степень магистра, принадлежал к числу так наз. "университетских умов", водил знакомство с избранной молодежью и в числе прочего создал "Трагическую историю доктора Фауста". Из-за своего атеизма ("был афей") Марло находился под наблюдением полиции. В 1593 г. был издан рескрипт об его аресте, однако позднейшее дознание доказало, что Марло был правительственным агентом, драка в кабаке была подстроена, смерть Марло имела политическую подоплеку.

лавкой, на углу Турнегейн-лэйн, у церкви Святой Елены, что на Бишопсгейт.

Сам ли мистер Шекспир, афей ли Марло придумал это первый, — вопрос яйца выеденного не стоит.

Несметные богатства в малом месте.

Ведь случаю подходит, верно?

Мой супруг.

Ясноглазый мистер Шекспир.

Сорока-воровка, даром что мужчина.

Глава семьдесят первая
Другие события апреля месяца года 1594

Какие еще происшествия случились в ту пору весны года 1594, покуда мы были там, над рыбной лавкой?

Что творилось в мире?

Все это я узнала из груды новостей, какую кузен Грин мне на время предоставил.

Вот вам иные из самых главнейших событий, какие я там отыскала.

Апреля, 4-го дня. Заговор с намерением убить Королеву

Некто, именем Полуэл, явился в Лондон из Кале, дабы сообщить лорду казначею Берли[1], что некий капитан Жак, служивший в войске сэра Вильяма Стенли, посягновение имеет на жизнь Ея Величества Королевы. Сей Жак, сообщил Полуэл, не единожды подстрекал его отправиться в Англию и убить Королеву, и на отказ его свершить сие Жак объявил, что конец у солдата один, нищета, смерть от пули, и бросят, мол, его в канаву, и сему противустояние угодно Господу, ибо Королева зла, порочна и умышляет сгубить весь христианский мир. Жак научил его, как невредимо достигнуть Англии и какие речи, будучи схвачен, обращать к лорду казначею, говоря, что буде сам он мог бы явиться в Англию, убийство Королевы стало бы первым его и наиважнейшим делом. Полуэл еще признался, что соблазнил двоих, Джона Анниаса и Патрика Коллена, ирландского солдата, явиться в Англию и убить Королеву. Обоих схватили и порознь бросили в тюрьму.

Апреля 6-го дня. Заговор о сожжении Тауэра

Джон Дэниэл, тоже ирландец, донес судье Янгу о заговоре, целью имеющем поджечь лондонский Тауэр. Он объявил, что под сводом заложен порох, как равно и сера, там, где рядом часто открытою стоит спускная дверь. Было замышлено, что двое, под видом работников в Тауэре, туда проникнут и подожгут серу и порох, дабы в недолгом времени огонь пожрал все. Позже сей же Дэниэл сообщил, что умышлялось поджечь и корабли при Биллингсгейт, равно и окружные дома; а далее спалить все кабаки и все дровяные склады в Лондоне.

1. Уильям Сесил, барон Берли (1520—1598) — первый министр английской королевы Елизаветы I, лорд казначейства (1572—1598).

Апреля 16-го дня. Смерть графа Дерби

Молодой граф Дерби, Фердинандо Стенли[1], скончал свои дни в Лэтаме, апреля 16-го дня, пред тем одиннадцать дней мучимый неясною болезнью. Проявлялась болезнь сия в блевании неким ржавым, кислым составом, притом же с кровью, в разлитии желчи, исхудании, и сверх того во вздутии и затвердении селезенки, неукротимой икоте, а за четыре дня до кончины в прекращении мочеиспускания. Все сие, во мнении врачей, могло быть излишествами причиняемо, равно как переутомлением в забавах, каким он предавался четыре дня без удержу на Святой неделе. Во все время болезни своей, каковая апреля 5-го дня началась и до самой кончины графа продолжалась, он часто применял камень Безы[2] и рог Единорога; пульс его всегда был ровен, однако силы убывали, блевание же достигло даже до пятидесяти двух раз, а стул двадцати девяти. Смерть графа столь непостижна уму, что иные подозревать наклонны, что на него была наслана порча. В начале болезни странные сны его томили. Апреля 10-го дня мистер Халсалл, при нем на службе состоявший, в опочивальне господина своего, около полуночи, обнаружил восковой образ, по стану волосами препоясанный, цветом своим подобными волосам самого графа. Образ сей был в пятнах, и в скором времени подобные же пятна проступили на теле графа, на животе и на боках. Мистер Халсалл поспешил бросить истукана в огонь, покуда никто его не видел, в надежде, что сожжение сие снимет с графа порчу и покончит с ведьмой, оную наславшей, однако произошло иное, и едва растаял истукан, граф испустил дух.

Женщина лет пятидесяти, невидная собой, была обнаружена в углу опочивальни, и она что-то бормотала. Она, как потом узнали, часто облегчала графа от икоты и блеванья, но замечено было, что едва граф облегчаем был, те же страдания ее самое охватывали, и состав, какой она выблевывала, был в точности такой, какой был извергаем графом. Однако один из лекарей графовых ее застигнул, когда она ворожила над соком неких трав, и, опрокинувши горшок, сей же час прогнал ее из опочивальни. Сам граф кричал, что старанья лекарей сугубо тщетны, ибо на него наслана порча. Во все продолжение последней сей болезни при графе неотлучно были епископ Честреский и викарий его мистер Ли[3].

Апреля 21-го дня. Признания Хью Кахилла

Хью Кахилл, тоже ирландец, чистосердечно признался Ричарду Топхиллу на допросе, что в бытность свою в Брюсселе слышал он, как некто отец Холт и еще другие говорили, что будто бы убить Королеву есть богоугодное дело, и тот, кто сие исполнит, обретет Царствие небесное, и сделается святым, коли его убьют. Имя того, кто сие свершит, останется в веках, так тот священник говорил Кахиллу.

Кахиллу тогда же препоручено было отправиться ко двору, пробраться в опочивальню Ея Величества, выманить оттуда королеву и убить кинжалом и мечом в каком-нибудь узком переходе либо выследив ее на галерее. За то обещано ему было 100 крон заране и еще 2000 по свершении убийства, а пенсион его обещано увеличить с 15 крон помесячно до 30 фунтов.

1. Граф Дерби, о котором сообщено дальше, не из тех, кто много позже прославил знаменитый род (в частности, 14-й граф Дерби был в 1852 г. премьер-министром, а 17-й граф Дерби – государственным секретарем в 1916–1918 гг.).
2. Возможно, имеется в виду Теодор Беза (1519–1605), швейцарский теолог.
3. Вильям Ли (ум. 1610) – английский священник и изобретатель.

Апреля 23-го дня. Бруно взят под стражу

За пределами аглицкими, в Риме, некий философ именем Джордано Бруно взят под стражу инквизицией, преступление же его в том, что он объявил, что якобы земля вращается вокруг солнца.

(Потом-то, через шесть лет за эту ересь его сожгли[1].)

Новости погоды

Во все продолжение апреля то и дело бушевал сильный ветер, валил дерева и звонницы, рушил дома и амбары. В лесу Болье, что в Вустершире, с корнями были выдернуты многие дубы, в четверг же на Страстной неделе пятьсот дерев и более повалены в Хортонском лесу. В городе Стаффорде повалена звонница, церковной же крыше нанесен ущерб столь великий, что починка обойдется в тысячу фунтов. В Канкерском лесу более трех тысяч дерев свалило бурей, и еще звонницы числом до пятидесяти повалено в разных частях сей местности.

Коротко о прочих новостях

Англичане подвергли разграблению португальскую колонию Пернамбуко, Король Генрих Четвертый французский вошел в Париж, Король Филипп Второй испанский запретил судам голландским вход в порт Лисабон, турки вновь отвоевали крепость Рааб, сэр Джон Берг убит на дуэле у Чаринг Кросса мистером Джоном Гилбертом. Казнь предателей Лопеца, Феррейры и Тиноку[2] отсрочена до месяца июня по приказу Королевы.

Ладно, хватит с нас истории.

Хватит с нас большого мира.

А тем временем, мои милые, в малом месте, над рыбной лавкой...

Глава семьдесят вторая
Философия этого деяния

Contra Natura...

Вот что я прочитала где-то, в какой-то книжке, как мнение о том, что мы творили.

Это деяние особое, с целью самоублаготворения, оно Contra Natura, противу природы то есть, так тот сочинитель говорит, ибо оно отрицает всю цель, весь смысл любви.

Ничто сильней не губит душу.

Его послушать, так это грех противу природы и грех противу милости Господней.

Ну, что вы скажете?

Сама я, известно, не насмелилась никого расспрашивать насчет такого дела.

Разум мой говорит, что да, свободно может быть.

1. Джордано Бруно (1548–1600) – итальянский философ и поэт, обвинен в ереси и сожжен римской инквизицией.
2. Доктор Лопец, португальский еврей, изгнанный из родных краев инквизицией, крестившийся и сделавшийся лейб-медиком Елизаветы, и двое названных португальцев были тоже (опять-таки ложно) обвинены в покушении на жизнь королевы и казнены с предельной жестокостью (незавершенное повешение, оскопление, четвертование) в июне 1594 г.

А сердце мое и тело криком кричат — Нет!
Мистер Шекспир и сам про то же толковал, в перерывах, когда тем занят не был.

Дайте-ка вспомню, что он такое говорил.

Дайте попробую пересказать философию моего супруга мистера Шекспира насчет этого деянья.

Весь смысл тут, он говорил, в том, нет никакого смысла.

И в особенности, он говорил, нет никакого смысла, когда мужчина делает это с женщиной.

Когда мужчина это делает с мужчиной, ну что уж тут такого, он говорил.

А вот когда мужчина делает это с женщиной, тут — всё, он говорил.

По правде вам сказать, мне скучно было его слушать. Но я спросила моего супруга, что́ он хочет сказать, что́ это значит — всё.

И мистер Шекспир мне объяснил, что, говоря "всё", он хочет сказать, что, когда это делают мужчина и женщина, тут чистейшая радость, редкостное наслаждение, тут всё без меры.

И, мало этого, он мне сказал, именно ничего не знача, это деяние нам дарит высвобождение от смысла.

Высвобождение от самих себя, из самих себя, он так сказал.

Ну, ничего я у него не поняла.

А я скажу — тут смысл был: радость.

Радость — вот в чем тут был для меня весь смысл.

А мистеру Шекспиру, ему, по-моему, какую ни дай радость, все было мало.

Вот почему, я так думаю, вечно он сочинял, придумывал разные резоны, как бы еще побольше увлечься, насладиться тем, чем он наслаждался.

И вот что мне еще сдается: эта любовь особенная нравилась ему из-за своей нечестности.

(Вспомните насчет Бидфорда и Уилмкота!
Смотрите гл. 23)

Что до меня, так мне тут что́ еще приятно было?

Я не боялась забрюхатеть.

Небось получше средство крокодильева навоза, чтоб предохраняться.

Может, и мистеру Шекспиру тоже вдобавок приятно было, что обрюхатить меня не страшно.

Про это, правда, он ни слова не сказал.

Говорил только, какая тут особенная свобода, какая воля в сравненье с обыкновенными сношениями мужчины с женщиной и как, мол, ему хорошо.

Без меры — любимое его словцо.

Еще, он говорил, особенная сладость для него в этом деянье та, что оно запретно.

В запретных деяньях с темным смыслом великая была прелесть для моего супруга мистера Шекспира.

Даже сама не знаю — и почему такое.

Помню, ночью как-то рассказывал он мне о древних чародеях, катарах, не то болгарах, каких другие люди звали Совершенными, так вот они, он мне сказал, особенно любили делать то самое, что делали мы с ним[1].

Не нравились мне такие речи.

Честно скажу, я почти и не слушала, что он болтал.

И даже мне сдавалось, что мистеру Шекспиру хотелось эту свою погоню за бессмыслием чуть не до дьявольщины довести.

А я такое ненавидела и ненавижу.

Теперь скажу — я такое отрицаю.

То, что мы делали, я так скажу, чародейством и не пахло.

Что делали, то делали: мне так нравилось, и все.

Только я хотела, чтоб он со мной это делал, а не хотела, чтоб он со мной про это говорил.

Когда мистер Шекспир уж слишком много начинал болтать, я его соблазняла своей задницей.

Он и затыкался.

А в предпоследнюю нашу ночь он танец паука плясал.

Сама название придумала.

Хочу и называю — танец паука.

Вот мы было покончили с любовью.

— А сейчас мне хочется плясать, жена, — он говорит.

— Прекрасно, муженек. Пляши себе на здоровье, — я ему сказала.

(С ним вместе танцевать у меня не было охоты, запомнила небось, как пробовала его научить лаволте.)

И мистер Шекспир стал плясать, один, по всей комнате, голый.

Уд был, как длинный, лиловый палец мертвеца.

Мистер Шекспир махал руками, ноги задирал, смешно скакал, выкидывал коленца, корчил рожи — вот и весь вам танец.

Тень на стропилах была что второй паук, и тот будто норовил его зацапать.

— Ты как Давид, — сказала я, — когда он прыгал и плясал перед ковчегом Господа.

Давид скакал из всей силы пред Господом; одет же был Давид в льняной ефод. Так Давид и весь дом Израилев несли ковчег Господень с восклицаниями и трубными звуками.

Когда входил ковчег Господень в город Давидов, Мелхола, дочь Саула, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и пляшущего перед Господом, уничижила его в сердце своем.

(Вторая Книга Царств. 6:14—16)[2]

1. Катары (от греческого Katharos, чистые) — еретическая секта XI—XIV веков. По понятиям катар, Совершенные — то есть те, кто получил дар Святого Духа путем рукоположения — обязаны жить по-апостольски, в строжайшей аскезе. Во многом учение катар противоречит христианству, например, они отрицали догмат о смерти и Воскресении; Христос, дева Мария, ученики Христа — все они, по их понятиям, не люди, а бесплотные ангелы; Иоанн Креститель — орудие Князя тьмы и проч.

2. Мелхола, жена Давида, далее встретила его укором в неприличном (для царя) поведении, но Давид ей ответил: "Пред Господом играть и плясать буду" (там же, 6, 21).

Ефод — одеяние первосвященников, из драгоценной ткани. Но льняной ефод, в каком был Давид, могли надевать другие лица, прислуживавшие при Скинии.

Только я-то, должна сказать, никогда я не уничижала и не презирала мистера Шекспира.

Даже тогда, в Шоттери, когда он бухнулся в мельничный ручей и весь мокрый вылез, зеленый, хлипенький, как пух на персике.

Даже когда он ввалился в дом, пьяный, глаза пустые, после той, роковой последней ночи с дружками своими поэтами в Лондоне.

— Эй, — я ему сказала. — Здрасте вам пожалуйста.

А у самой все аж оборвалось внутри.

Я поняла — он умирает.

Но я его не пилила, я не ворчала. И никогда я его не уничижала, не презирала в сердце своем.

— Эй, — я тогда сказала. — Здрасте вам пожалуйста.

И вдруг слышу: сова кычет, и почти сразу же ночной ворон как каркнет во всю глотку на окне у мистера Шекспира.

— Господи Иисусе, помилуй меня, — сказал мистер Шекспир.

А потом мой супруг улегся на постель, и никогда уж больше он с нее не поднимался.

Глава семьдесят третья
Лилии

Все хорошее всегда кончается.

Верно я говорю?

То-то.

Неделя быстро пролетела.

И вот в последнюю ночь на той постели спрашиваю я у мистера Шекспира, преспокойно так его спрашиваю, как ни в чем не бывало:

— А каков он? Расскажи.

— Кто? — он мне в ответ.

— Сам знаешь кто, — говорю. — Дружок твой. Этот Ризли.

Мой супруг улыбнулся.

— Ах блядь ты маленькая, — он сказал.

Мистеру Шекспиру, кажется, понравилась эта мысль, что жена у него блядь.

И он меня погладил.

Мы лежали голые, в простынях.

Уд у него стоял, как шест, шатром вздувал покрывало.

Он улыбался, сэр Ухмыл, ласково улыбался, бессовестный, и он гладил меня между ног, когда сказал мне, что я блядь.

В ответ я ему нежно улыбнулась.

— Ну, могу же я узнать, раз мне хочется? — я от него не отставала.

Ох и хитрый же он был, мистер Шекспир.

Мне ж было любопытно, правда?

А он, будь его воля, он бы ничего мне больше не сказал.

Вот как живу, как я дышу, так знаю — он и рад бы все свои секреты оставить при себе.

Ну, да не на таковскую напал.

Нет, я сдаваться не хотела.

Ни за какие коврижки, любезный мой читатель.

Вдобавок он на меня глядел так, будто сейчас без соли скушает, ну, я и знала: ничего, заговоришь ты у меня.

— Да ладно тебе, — говорю, а сама потягиваюсь, — что ж ты мне радость портишь, и не стыдно? Неужели же ты думаешь, что я отправлюсь восвояси, так ничего и не узнавши про моего соперника, кроме что он богатый и что зовут его Генри Ризли.

— Он тебе не соперник, — сказал мистер Шекспир.

— Но ты ведь то же самое с ним делаешь, правда? — я его спрашиваю.

Мистер Шекспир вздохнул.

Потом пожал плечами.

Потом отдернул руку с моего лобка и скрюченным пальцем свои усики стал теребить.

И давай меня снова улещивать, — мол, делал то же, да не то, и смысл, когда со мной, совсем другой в любимом деле.

— Но какой он из себя, твой Ризли? — я все свое гну, не отстаю.

Тут мой супруг стал грызть и так уже обгрызенные ногти.

Что-то он пробурчал себе в ладонь.

— Ну? Не слышу, — я гну свое.

— Сонеты, — бормотнул мистер Шекспир. — Лучше я, пожалуй, дам тебе прочесть сонеты, которые я написал о нем.

Ах, благодарю покорно, спасибочки, думаю.

Вот лиса хитрющая!

— Так нечестно, милый муженек, — я ему сказала. — Сам знаешь, я поэзию не переношу.

— Я одно знаю, что просто ты не хочешь ее понять, — сказал мистер Шекспир.

— Не переношу, ну, не хочу понять, — говорю. — Можешь ты мне просто, ясно, без рифмы объяснить? Не надо мне сонетов. Сонеты свои прибереги для таких же, как ты сам, сластен. Каков он из себя, этот твой благородный друг, мой соперник?

Мистер Шекспир грызть ногти перестал.

Теперь уж он себе расчесывал брюшко, как будто бы там чирей назревает.

Потом нахмурился и говорит:

— Как ни странно...

И смолк.

— Давай-давай, — я его понукаю.

Опять мистер Шекспир протянул ко мне свою руку.

И стал меня гладить по голове, а мы среди перин лежим, и горят свечи.

Вот уж чего не ожидала.

Так это приятно было.

— Впрочем, возможно, вовсе это и не странно, — пробормотал мой муж.

— Странно, не странно, говори!

— Ну, он во всем твоя противоположность[1], — мистер Шекспир сказал.

Слова как будто отрицали то, что делала рука.

1. Эта мысль составляет содержание 144-го сонета.

Тут бы мне разозлиться.

А я нет, я только сказала:

— Ах, да, ты уж прости. Все-то я забываю. И как я могла забыть? И как ты-то мне забыть позволил? Он летний день, я зимний день, так ведь?

Тут мой супруг приложил палец к моим губам.

— Совсем не то, — он ласково сказал. — Вовсе я не то имел в виду.

— Ох, мочи нет! — я говорю. — Ну скажи ты простыми словами. Опиши его, и все! Отпусти ты мою душу на покаяние, слышишь! Просто расскажи, каков он из себя, твой Ризли!

И он мне рассказал, мистер Шекспир.

Просто рассказал, каков он из себя, этот его Ризли.

Прелестный мальчик, мистер Шекспир сказал, со светлой, нежной кожей.

Двадцати двух лет от роду, мистер Шекспир сказал, с румянцем, как у Адониса.

Дыхание у него нежней фиалок, мистер Шекспир сказал.

Волосы как янтарь бутонов майорана, мой супруг прибавил.

Ангел, он сказал.

Дух бесплотный, он сказал.

Святой, он сказал.

Так он сказал, мистер Шекспир.

Мой муж.

Смешной мистер Шекспир.

Влюбленный идиот.

Ну, что вы скажете?

Женщины не ангелы, хоть ангелы лицом.

Мужчины — те и подавно.

Тут я зевнула.

Не удержалась.

И рот ладонью прикрыла.

— Ты так его расписываешь, что подобных и людей-то не бывает, — я сказала мистеру Шекспиру. — Прошу прощенья, но что́ он у тебя такое, лилия он, что ли?

У моего мужа был оскорбленный вид.

— Ничего, еще настанет день, сам убедишься, — я его остерегла. — Гнилая лилия, что твой сорняк, воняет[1].

Он на меня вылупился, огорошенный.

И слезы на глазах.

Моргнул, и слезы покатились по лицу.

Смотрю — они текут, текут.

И тут я его поцеловала.

В ту минуту, по-моему, я больше всего его любила.

Никогда такого не было, чтобы я не любила мистера Шекспира, уж поверьте, с самого нашего начала и до его конца, никогда такого не было, чтоб не любила я его.

1. См. 94-й сонет.

Но в ту минуту, когда он плакал из-за того, что настанет день, когда, волей-неволей, другой его разочарует, — в ту минуту, да, я больше всего любила моего супруга.

Потом:

— Добро пожаловать в Нидерланды[1]! — я шепнула.

И без особенного труда я заставила мистера Шекспира чувствовать и думать, как будто бы на эти его лилии мне ну совершенно наплевать.

Глава семьдесят четвертая
(Без заглавия)

Ах, книжица моя, вот уж скоро ты и кончишься.

Всего-то семь страниц осталось.

Милая ты моя книжица, и скучно же мне будет без тебя.

Милашка ты моя, голубушка, ну что я делать буду, когда с тобой расстанусь?

Моя печальная, моя самая печальная повесть уж вся досказана, почти...

Ах, моя книжица, небось кто-то, когда-нибудь, тебя читая, скажет:

"А, теперь понятно, почему муж на столько лет от нее сбежал!"

Имея в виду, что мистер Шекспир сбежал, чтоб даже голоса своей жены не слышать больше.

Подальше от моих рассказов.

От моих присловий.

Моих прибауток.

Моих побасенок.

Моих ворчливых назиданий.

Моей болтливой правоты.

Моего вечного голоса — ни умолкнуть не заставишь, ни вставишь слова поперек.

На все на это я тебе, Читатель, как и всем любезным моим читателям, скажу одно:

Да, но я была нужна мистеру Шекспиру.

Сперва была нужна, чтоб от меня сбежать. Потом была нужна, чтобы ко мне вернуться.

Мой муж ко мне вернулся в Стратфорд, не забудьте.

Как пристроился в Лондоне, уж после каждый год домой он приезжал, на свое деньрожденье, если, известно, мог.

Ну, а потом, в год 1611, в тот год, когда напечатали Библию Короля Якова, в апреле, мистер Шекспир вернулся ко мне домой век вековать и последние пять лет в своей жизни провел со мной, там, откуда начал.

Я была его Альфа и Омега, начало и конец[2], я была его мать, его жена, и я его в гроб уложила.

Со мной он рядышком родился.

Под боком у меня он ожил.

Читатель, у меня он на руках и помер.

1. Букв.: в "Нижние страны".
2. Ср. Откровение Святого Иоанна Богослова. 1:8, а также 21:6 и 22:13: "Я есмь Альфа и Омега, начало и конец".

Глава семьдесят пятая
Последняя

– Твои глаза, – он мне объявил, – совсем не солнце, нет[1].

– Вот спасибо! – говорю.

Это было утро того дня, когда я ушла из квартиры моего супруга в Лондоне, в том апреле 1594 года, давным-давно, а вспомнить, так будто бы вчера.

Я глядела на свое лицо в зеркале.

Что я там видела?

Как пергамен белые щеки я видела и, как кость слоновая, такой же белый лоб.

Волосы как черная проволока[2].

Глаза – два шара смоляные[3], два глаза, черные, как траур, как вороново крыло.

Глядела я в это зеркало и что же видела?

Видела женщину с тяжелым, мрачным взглядом[4].

Мой супруг мистер Шекспир подошел сзади и встал у меня за плечом.

– Совсем не солнце, нет, – опять он повторяет, да так задумчиво, а сам грызет конфетку.

– Ты должна понять, – он дальше говорил, – я хочу польстить тебе правдой. Поэты, как ты сама мне часто поминаешь, все врут. Любят сравнения, за уши притянутые. А я на сей раз честен[5]. Ты сто́ишь правды, Анна.

Я сама себе улыбнулась.

Я улыбнулась врунишке в зеркале.

Сэр Ухмыл, он улыбнулся мне в ответ.

Как угостил меня этой своей особенной улыбкой: верхняя губа натянута, и ямка маленькая сглажена – следок божественного пальца, каким, мамаша говорила, нас ангел-хранитель метит, когда мы появляемся на свет.

Красивая улыбка.

Да только мне ли улыбался мистер Шекспир, себе ли самому, кто ж его знает.

Когда котеночком была, моя Египтянка ну обожала играть со своим отраженьем в зеркале.

Я про это думала, когда сидела перед зеркалом и на себя глядела.

Кошки любят свое подобие, у них черта такая.

Но я-то, я была уж не котенок.

Я подкрасила свои бледные губы.

1. Первая строка сонета 130.
2. Образ из того же сонета.
3. Образ из "Бесплодных усилий любви". Акт III, сцена 1.
4. Последняя строка первого катрена 144 сонета в переводе А. Финкеля. Есть переводы и ближе к оригиналу: "Мой светлый ангел, юноша прекрасный / И женщина, окрашенная злом" (В. Николаев), или: "Дух добрый – муж, краса и совершенство / А злобный демон в образе жены" (Д. Щедровицкий). Но как вложить такое в уста миссис Шекспир?
5. Здесь, собственно, излагается содержание 130-го сонета.

Потом нарумянила смертно бледные щеки.

Я сказала:

— По правде говоря, вид у меня изнеможденный, и что же удивительного.

Вид у меня такой и был.

И что же удивительного.

После такой недельки сладкой!

Потом я стала было чесать себе волосы, но мой супруг отобрал у меня щетку.

Мистер Шекспир сам стал чесать мне волосы.

С каждой длинной, темной прядкой он играл, и он крепко волосы натягивал, а сам в зеркало смотрел, на два на наши отраженья.

То быстро щеткой проведет, то медленно, то сильно, а то нежно, покуда волосы мои не засияли черным деревом при свете утра, которое уже вошло в чердачное окно.

— В старину, — мистер Шекспир сказал, — черное не считалось красивым.

— Что ж я поделаю, коли чернявой уродилась, — говорю.

— Черна, как ад, — говорит мистер Шекспир, а сам все чешет волосы мне, чешет. — Темна, как ночь[1].

— Ну вот, — говорю, — снова-здорово! Притянутые сравнения! Вранье поэтическое! Я женщина, не дьявол, сам небось прекрасно знаешь.

Я встала.

Ну, что скажете?

А вы бы что тут делали?

Пора было идти.

Пора восвояси, к своему житью, уж какое есть.

Долгие проводы — лишние слезы.

Какой в них толк.

Спустя лето по малину ходить.

И потому меня даже тоска взяла, когда мистер Шекспир в дверях закусил нижнюю губу и я поняла: сейчас будет обниматься.

— Не надо, не целуй, — я ему сказала, — краску смажешь.

Тут он расхохотался, мистер Шекспир, мой муж.

Запрокинул голову и расхохотался, а черных два эти обломка спереди у него торчат. И кажется, ему уж было наплевать, что я их вижу.

Дает мне свой гороховый плащ, поскольку дождь был.

— Оставь себе, — говорит. — По-моему, тебе он более к лицу.

Вот уж ничего подобного.

Но я беру, благодарю за доброту.

Шляпу надела и перчатки.

Он за овчинным кафтаном потянулся.

— Ничего, муженек, — я говорю. — Я и сама доберусь. А у тебя свои дела.

И он остался.

А я ушла.

1. Последняя строка 147-го сонета: "А ты черна, как ад, темна, как ночь". Перевод Игн. Ивановского.

И очень жалко.

Потому что на кровати этой, как я теперь подумаю, нам бы места и троим хватило.

Читатель, я рассказала тебе про своего супруга, мистера Вильяма Шекспира.

Всю правду рассказала, потому что любила я этого человека.

Вот и пришел конец моей повести, почти, только одно словцо осталось досказать.

Уж когда самому ему пришел конец, уж напоследок горячка его трепала, вот-вот умереть ему у меня на руках, и тут мой муж одну фразу вставил между строками своей последней воли в завещании:

Жене моей отдаю мою вторую по качеству кровать.

Сусанна говорит, это оскорбление.

Ну, я-то другое знаю.

А что же с той кроватью сталось, другой, лучшей, известно, и какое же сравнение?

Знала бы, не сомневайтесь, и вам бы рассказала, да только я не знаю.

Так и не насмелилась спросить у мистера Шекспира. А он так и не сказал.

Порой (до завещания до этого) проснусь, бывало, ночью и думаю, уж не приснилась ли мне эта кровать и что мы на ней творили.

Но теперь-то я знаю, что если мне это и приснилось, так мистеру Шекспиру, ясное дело, снился тот же сон.

* * *

Лежит теперь мой супруг в церкви Святой Троицы, на семнадцатифутовой глубине, под своей же надписью:

Прошу, о друг, чтоб ради Бога
Останков бренных сих не трогал:
Блажен не тронувший мой прах,
Кто тронет, проклят будь в веках[1].

Из-за стихов из-за этих, ясное дело, не придется мне с ним рядом лечь, когда пробьет мой час.

И будет наш смертный прах лежать поврозь, в разных могилах.

Но все, что я вам рассказала, была любовная повесть, и ей на том конец.

И только покамест, на земле, придется мне поспать на второй по качеству кровати.

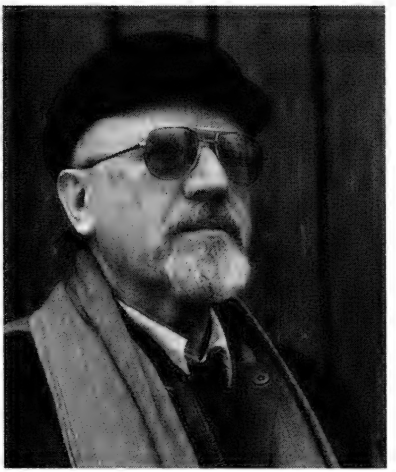
1. Тело Шекспира похоронено под алтарем, могилу прикрывает простая каменная плита, на которой и выбита воспроизводимая эпитафия, причем о том, что стихи эти принадлежат Шекспиру, нет никаких свидетельств.

Послесловие автора

История эта вымышленная, но источником ей послужили и произведения самого Шекспира и свидетельства тех, кто раньше всех его заметил — так, например, ворона-выскочка почерпнута из Роберта Грина ("На грош ума, купленного за мильон раскаяний", 1592); о любви к сластям сообщено в "Сокровищнице остроумия" Фрэнсиса Мира (1598); Николас Роу в "Некоторых сведениях о жизни мистера Шекспира" (1709) упоминает о даре в 1000 фунтов (ссылаясь на рассказ У. Давенанта); Сэмюэл Джонсон в предисловии 1765 года к изданию пьес Шекспира приводит другой рассказ того же Давенанта, о присмотре за лошадьми перед театром; преподобный Джон Уорд (викарий в Стратфорде-на-Эйвоне с 1662 по 1681), а также анонимный корреспондент, собиратель уорикширских сплетен для "Бритиш мэгэзин" (том 3 за 1762 г.) свидетельствуют о пьянстве; запись, сделанная его преподобием Ричардом Дейви (свящ. в Саппертоне, Глостершир, с 1695 по 1708), подтверждает, что перед смертью Шекспир перешел в католичество; и т. д. и т. п. Лучшая из современных нам биографий Шекспира: С. Шенбаум, "Шекспир, документальная биография" (1975), где каждый факт подкреплен письменным свидетельством. Что касается материй скорей гипотетических (как, например, склонность Шекспира краснеть), я себе позволил косвенные умозаключения из образной системы его поэм и пьес, в частности, по только что названному поводу отсылаю читателя вдобавок к работе Каролины Сперджон "Образная система Шекспира и о чем она нам говорит" (1935). Ни один из моих источников однако не может нести ответственности за главное допущение этой книги: что Анна Хетэуэй могла быть Смуглой Леди Сонетов.

Книга "Миссис Шекспир. Собрание сочинений" началась с рассказа "Вторая по качеству кровать", который был сперва опубликован в антологии под названием "Рассказы о Шекспире", изданной Джайлзом Гордоном (Хэмиш Хамилтон, 1982), а затем вошел без изменений в мой сборник "Факты из жизни и прочие вымыслы" (Хэмиш Хамилтон, 1983). Я благодарен Джайлзу Гордону и Кристоферу Синклеру-Стивенсону за их интерес к моей работе, непрестанное внимание, участие и помощь.

Антонио Порпетта



Стихи

Перевод с испанского и вступление Натальи Ванханен

В башне под самым небом

Антонио Порпетта живет в башне. Не из слоновой кости, а просто в башне, в пригороде Мадрида. Работать он забирается повыше: его кабинет на самом верху, под небом. В окнах снуют бесчисленные ласточки, вопят, ликуют. Звуки этой небесной возни — обычный фон его жизни. Когда осенью небо смолкает, поэт ощущает неуют и сиротство — не хватает шумных соседей.

Пространство его стиха нет-нет да и пересечет крылатая тень: птица или память о ней.

Семья со вниманием и пониманием относится к его работе, ведь здесь все так или иначе связаны с литературой.

На столе у Антонио маленький колокольчик. Его звон, разносясь по дому, оповещает, что написано новое стихотворение. Не спускаться же в самом деле с небес, а поделиться радостью хочется, хотя бы вот так, треньканьем колокольного язычка — по-птичьи!

Антонио Порпетта родился в 1936 году в испанской провинции Валенсия неподалеку от курортного ныне Аликанте, в городке Эльда. В праздник родился — в День святого Валентина, 14 февраля. Отец его, уроженец Гранады, как многие южане, обожал музыку, да и к литературе относился с большим интересом. Так что Антонио повезло: в доме, где он рос, было богатейшее собрание пластинок и прекрасная библиотека. Сочинять он начал довольно рано. От отца молодой человек унаследовал прекрасный слух и любовь к музыке. У него обнаружился

© Antonio Porpetta, 1980, 1984, 1988
© Наталья Ванханен. Перевод, вступление, 2009
Редакция благодарит Антонио Порпетту за любезно предоставленную возможность безвозмездной публикации его стихов на страницах журнала.

приятный голос. Когда в юности он некоторое время жил в Барселоне, то сделал несколько вполне удачных записей и не раз с успехом выступал в различных залах. Что до образования, то в шестнадцать лет Антонио уезжает из родного городка в Мадрид поступать в университет, а в двадцать один — он дипломированный юрист. Спустя годы Антонио получит еще и филологическое образование, защитит докторскую.

Первую книгу Порпетта издал сравнительно поздно — ему было уже за сорок. Называлась она "По горячей тропе". Зато потом поэтические сборники следовали один за другим, чуть ли не ежегодно. Это "След пепла" (1980), "Клавикорд перед зеркалом" (1984), "Территория огня" (1988) и другие. Его стихи мечтательны и философичны. Поэт стремится не затемнить глубину, а его сирены и ангелы радуют нас своей очевидной реальностью. Он много говорит о любви. Хотя разве не все, о чем говорят поэты, на самом деле про любовь?

Пишет он и прозу — эссе и статьи; участвует в многочисленных антологиях.

Есть у Антонио Порпетты еще одно довольно экзотическое увлечение. Он признанный знаток в области испанской генеалогии и геральдики.

С середины восьмидесятых поэт без устали путешествует по странам и континентам, выступая с лекциями, читая стихи, организуя поэтические семинары. Он активно пропагандирует испанскую поэзию во всем мире, и этот род его деятельности отмечен рядом международных премий; одна из них — премия Пабло Неруды Союза иберо-американских писателей США.

В 2005 году в Нью-Йорке его торжественно посвятили в рыцари "Ордена Дон Кихота", объединяющего тех, кто внес ощутимый вклад в дело распространения испаноязычной культуры.

Антонио Порпетта лауреат доброго десятка национальных премий, присуждаемых за заслуги в области поэзии. Среди них премия Испанской Королевской академии, премия Хосе Йерро, Валенсийская поэтическая премия и другие.

Его стихи переведены на английский, французский, немецкий, итальянский, португальский, румынский, русский, сербский, арабский языки.

На русском вышла его книга "Клавикорд перед зеркалом" в переводе Павла Грушко.

Антонио Порпетта — член-корреспондент Академий испанского языка США и Гватемалы.

"Мне приятно тешить себя надеждой, — говорит поэт, — что однажды — завтра или лет эдак через сто, не суть важно — некто (ох уж этот невидимый Некто, для которого мы стараемся, не ведая, есть ли он вообще на свете!) прочтет мое стихотворение и переживет то же, что пережил я сам, сочиняя его".

Какая знакомая мечта! Не то же ли читаем у Пушкина:

И чье-нибудь он сердце тронет;
И, сохраненная судьбой,
Быть может, в Лете не потонет
Строфа, слагаемая мной...

Или, скажем, у Набокова — "Будущему читателю":

Я здесь с тобой. Укрыться ты не волен.
К тебе на грудь я прянул через мрак.
Вот холодок ты чувствуешь: сквозняк
из прошлого... Прощай же. Я доволен.

Совет

Надо постараться вернуть
трепет касанья и забытый цвет тех ночей,
патину бронзы и запах слез,
орлиный клекот, вкус тишины,
робость ветра.
Надо постараться вернуть
смиренное мерцание звезд и урчанье голода,
затерянный путь и надменность речных тростников,
своих умерших, поступь крадущейся пумы,
цветной туман витражей.
Надо вернуть
зеленые зори и речную прохладу,
сладость колокольного звона и дальние руки,
животворное семя дождевой капли, затихающие шаги
и танец корабликов.
Надо сделать невозможное и открыть заново
это дурацкое чудо, это несусветное диво,
эту нищую красоту, что зовется жизнью,
войти в ее русло, принять ее раскаленный,
жгучий озноб.

Сирены

Они завидели корабль издалека
и тотчас же, как повелось,
завели свою протяжную песню,
где шум дождя смешался с шелестом рощи,
а пенные вихри подхватили их голоса
и понесли туда, к смуглолицым людям,
по волнам, где кипит отчаянье
и смутные громады ворочаются в тумане,
приглушенно отливая ртутью...

Они видели, как корабль прошел мимо:
там никто и не шевельнулся,
не бросился, обезумев, за борт
судорожно искать в волнах
их ослепительные груди,
ловить взгляды цвета зеленой яшмы,
гладить огневую, коралловую чешую.
(Моряк, прикованный к мачте,
прекрасный, как и подобает герою,
стеная и плача,
возглавлял это величавое безмолвное плаванье...)

Они видели, как корабль удалялся —
бесстрастно, невозмутимо, —
в глубоком молчании

он уходил к счастливым островам, где шумят богатые
торговые города,
неумолимый, как судьба, вольный, как само забвение,
широко расправив паруса, полные соли и ветра...

Испуганные и растерянные,
они умолкли в тоске,
навсегда перестали петь,
состарились и, всеми покинутые,
превратились с годами
в смутное воспоминание.
И вот, в одно злосчастное утро,
с юркой стайкой глупых рыбешек
они бросились в морскую пучину
и навеки схоронили на дне
свою сияющую белизну...

Пусть моряки простят их:
они никому не желали зла,
они всего лишь хотели петь, только петь...
Откуда им было знать,
что их песни приносят смерть.

Ангелы моря

Чуть смеркнется, ангелы моря
спешат отнести тела утопленников
к родным берегам.
Они аккуратно счищают с них
налипшие водоросли и медуз,
старательно расчесывают им волосы,
дабы эти несчастные не гляделись такими
безнадежными мертвецами
и матери увидали их почти теми же, что при жизни.
Случается, ангелы опускают на их бледные веки
по серебряной монетке,
извлеченной из какого-нибудь затонувшего сундука.
К чему этот ужас в глазах погибших?
С монетками все иначе —
кажется, будто человек с любопытством взирает вокруг.
Порой ангелы вкладывают им в руки ракушку
или горсть лепестков —
пусть покоятся, точно дети,
сморенные дремой в разгар игры.
Наконец, легким мановением крыл
ангелы нежно овевают бескровные лица,
осторожно сметая с губ последние ненужные слова,
все, кроме женских имен — эти пусть остаются...

Как правило, ангелы моря
ходатайствуют перед высоким чином херувимов
о перенесении новопреставленных в высшие сферы —
работа, требующая особой сноровки:
души утопленников хрупки,
они изъедены солью, исхлестаны ветром,
вымочены в воде,
им выпала горькая участь до последнего мига
наблюдать, как отлетает жизнь,
погружаясь в безмолвную дрожь пучины,
а с ней гибнет память
обо всем, что они любили
или могли полюбить.
Сделав дело, ангелы моря с легким сердцем
отбывают на белые острова снов,
а утопленники остаются на золотистом песчаном ложе,
одинокие и прекрасные,
бесстрастные, как боги,
не сломленные гибелью,
твердо веря, что будет утро
и свет
и никогда-никогда не коснется их
холод забвения.

Я готов

Я готов:
привел в порядок дела, разобрал бумаги,
порвал кое-какие стихи — те, что не удались.
Попросил прощения у друзей —
признаюсь, следовало бы любить их чуточку больше.
С нежностью погладил корешки любимых книг.
Простился с морем, зарей,
белыми стенами — с ними неплохо мечталось.
Послал привет людям прошлого,
чья кровь течет в моих жилах,
и людям грядущего —
унаследовавшим мою.
Не спеша обвел взглядом
многочисленные мелочи —
спасибо им, верным спутникам.
Потом поцеловал губы,
наполнявшие меня радостью жизни,
немного помолился на всякий случай,
и на душе стало хорошо и спокойно.
Ну вот, все как надо, все на своих местах.
Теперь я готов:
можете стрелять!

Птицы

Куда подевались птицы?
Где живое серебро голосов,
чертежи их полетов
над смуглой черепицей –
приютом моим, пристанищем, прибежищем?
Они ежедневно навещали меня,
во всю глотку вопя от гордости,
что вновь побороли ночь,
и несли мое завтра на крыльях,
улыбку – в костяных клювиках,
надежду – в круглых глазенках,
беспечные, легковесные...
Куда подевались птицы?
К какому такому северу их потянуло?
Какие леса и страны,
какие судьбы они предпочли?
Кого-то они теперь увенчивают
триумфальными венками своих воздушных спиралей?
Печаль пустого неба – что это?
Дурное предзнаменование?
Краткая передышка?
Или они и вправду меня покинули?
Только бы они вернулись
снова возвещать рассвет,
победно вопить,
дарить свою просветленную ускользающую легкость.
Без них дом стал другим:
безмолвным, обреченным.
Прогноз погоды неутешителен:
ветер, одиночество, холод, всегда только холод.
Я знаю, что говорю:
без них мне не жить –
так нужна мне их доверчивая близость,
безоглядность,
высокая рассветная голубизна.

Не жить мне без них – это уж точно.

Разумеется

Разумеется, нет!
А может, все-таки...
Нет. Разумеется, нет.

(За окном, в синеве сумерек –
птица.)

...Разумеется, да!

Руки любимой

Говорят, поют и дышат,
озаряют.

Узнают, робеют, слышат,
одаряют.

Дорожат, дрожат, пытают,
дознаются.

Обретают, улетают,
остаются.

Атакуют, отступают,
берегутся.

Ускользают, убегают,
не даются.

Медлят, властвуют, твердеют,
обещают.

Правят, царствуют, владеют,
укрощают.

Расточают, обжигают,
пламенеют.

Настигают,
и решаются,
и смеют,
повергают,
низвергают,
убивают,
    отрекаются,
смиряются,
    смиряют,
предаются темной ночи,
    выжидают
и сопутствуют,
    ведут
        и сострадают.

Недим Гюрсель

Рассказы. Эссе

Перевод с турецкого и вступление М. Букуловой

Творчество Недима Гюрселя — писателя, живущего во Франции и пишущего на турецком, — пока неизвестно российскому читателю. Он родился в 1951 году в городе Газиантепе, в Турции. Молодость его пришлась на время, когда Турция была охвачена бурными демонстрациями и антиправительственными выступлениями. В начале 1971 года напряжение в стране достигло предела.

12 марта 1971 года генералы армии, обвинив правительство в неспособности контролировать положение в стране, совершили государственный переворот и опубликовали Меморандум, в котором предложили свои меры по стабилизации ситуации. Но "надпартийное" правительство под предлогом борьбы с левыми организациями решило расправиться и со студентами и с интеллигенцией, критиковавшими режим. Массовые аресты возобновились.

Гюрсель тогда был студентом первого курса отделения французской филологии. После публикации его статьи "Ленин и Горький" началось судебное разбирательство. Гюрселю грозило семь с половиной лет тюремного заключения, и он вынужден был уехать во Францию. В 1979 году, закончив в Сорбонне обучение на отделении французской литературы и получив ученую степень, Гюрсель вернулся в Стамбул. Но ненадолго. В 1980 году в Турции вновь произошел переворот, и судебное преследование, возбужденное за сборник рассказов "Долго длящееся лето" и "Книгу о женщинах", заставило его вернуться в Париж, где он с тех пор и живет.

Сейчас Гюрсель работает во Французском центре научных исследований. Ведет курс турецкой литературы в Сорбонне. Член Союза писателей, ПЕН-клуба, Дома писателей Парижа и Средиземноморской академии.

Он рано получил признание. Его первая книга — сборник рассказов "Долго длящееся лето" о событиях 1971 года — была отмечена премией Турецкого лин-

© by Nedim Gürsel
© Doğan Kitapçılık AŞ
© М. Букулова. Перевод, вступление, 2009

гвистического общества в 1976 году. Потом выходили романы, рассказы, путевые заметки, публицистические эссе.

Зимой 2009 года турецкий суд привлек Гюрселя к уголовной ответственности за оскорбительные по отношению к исламской религии высказывания, которые содержатся в его вышедшей в марте 2008 года книге "Дочери Аллаха". Нелегкая судьба Гюрселя в значительной степени отражена в его творчестве.

Рассказы

Садуллах Паша и Неджибе Ханым

Я не знаю, был ли Садуллах Рами, сын визиря Эсада Мухлиса Паши, родом из Аяша, уже пашой, когда женился на дочери Веджихи Паши, губернатора Анкары Неджибе Ханым. Но думаю, что был. И значит, мы можем уверенно сказать, что Садуллах Паша женился на девушке много моложе себя и до свадьбы не был знаком со своей будущей женой. Скорее всего, их сосватали. И, конечно, Неджибе была не первой женщиной Паши, но самой неопытной. Об этом и говорить не стоит. До помолвки рука ее не касалась руки мужчины. И знал ли Паша, что каждую ночь на широкой кровати в розовой комнате, когда он, словно дельфин, нырял и выскальзывал из юного белого тела Неджибе, каждым движением своего тела, каждым стоном, исторгаемым ею, и, говоря более откровенно, каждым разом, когда он входил и выходил из податливого женского естества Неджибе, он все крепче привязывал к себе жену, делал ее своей верной рабой? Предположим, что знал. Но не будем строить догадки. Станем на одну ночь свидетелями их любви, увидим, как они любили друг друга в розовой комнате.

Холодный зимний месяц. Стамбул занесен снегом. Северо-западный ветер воет в покрытых плесенью стенах лодочной станции, в подсобке, дверь которой осталась приоткрытой, под лестницей, ведущей в эту каморку, срывает черепицу с крыши и раскручивает снежинки. В саду стоят голые деревья — листья их давно опали. В море не видно ни одного судна — ни пароходов с боковым колесным ходом, ни парусников, ни ботов, нагруженных дровами. После ужина Неджибе велит прислуге затопить большую печь, выложенную голубыми изразцами, и ждет Пашу, лежа на диване на подушках из птичьего пуха. На ней розовая ночная рубашка, она вынула украшение из прически, распустила по плечам черные волосы. Она прекрасна, как нимфа. Но Паша в этот час ублажает тело и душу в Пера[1] с греческой красавицей, которая хоть и не так красива, как Неджибе Ханым, но зато более опытна.

Он возвращается в свою виллу на берегу моря после того, как опустошил кувшин ракы, любил Елену, сыграл с ней во все телесные игры и щедро одарил Мадам. Он едет в паланкине на пароме, винты которого, втиснутые в огромную клетку, вспенивают воду, едет среди дрожащих от холода лошадей и жующих жвачку волов, курит сигарету. Он думает о своей молодой прелестной жене. Думает о Неджибе, что ждет его каж-

1. Район Стамбула, где жили преимущественно европейцы. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

дую ночь, прислушиваясь к треску корней падуба и дубовых поленьев, горящих в печи. О маленьких, твердых сосках Неджибе, о ее маленьком строптивом теле, которым так трудно овладеть.

Войдя в прихожую, Паша снимает феску и кладет ее на полочку для головных уборов, затем снимает саблю, сапоги, униформу, увешанную медалями. Ноги Паша сует в домашние тапочки, голову покрывает тюбетейкой. Теперь он совсем другой. Домашний муж, мужчина в своем доме. Целуя Неджибе в лоб, он шепчет ей на ухо, что ей очень идет розовая ночная рубашка. Вместе они уходят в розовую комнату. В свете свечей рисунок на стенах неотчетлив, но Паша в полумраке различает поднятые в воздух весла галер. И вспоминает Елену. Стоит подумать о ней, как его мужское естество начинает шевелиться под длинными трусами. Оно крепнет и восстает. И теперь до утра он будет, не ослабевая, исторгать из Неджибе стоны и крики и с каждым погружением в нее заставлять переживать неизведанное прежде наслаждение. Вот так, а теперь сделаем передышку.

Откуда я все это знаю? Конечно, не из книги "Садуллах Паша, или Зов из могилы" М. Галиба, напечатанной в 1327 году по мусульманскому летоисчислению и не переизданной на латинице. Эту книгу я не смог достать. И поэтому сведений о двух возлюбленных у меня недостаточно. Детали, не попавшие в документы, пришлось восполнять воображением. Но если я с грехом пополам осилил бы эту книгу или попросил прочитать ее кого-то другого, кто сумел бы разобраться в старинном письме лучше меня, я все равно не смог бы описать в подробностях жизнь Садуллаха и Неджибе. О ней ничего не известно. Не знаю, на каком году их брака это произошло, но знаю, что когда Мурад V взошел на трон — заметим, что правил он всего три месяца, — он прислал за Садуллахом Пашой лодку. Пашу привезли во дворец, где его и назначили главным секретарем с правом входа во внутренние покои султанского дворца. Этот факт отмечен во всех документах, которые попали ко мне в руки. Как и тот, что затем Паша стал министром торговли, а после того, как на трон взошел Абдулхамид, подвергся опале и был отправлен послом в Берлин.

В 1878 году, когда история империи переживала один из самых тяжелых политических и военных кризисов, среди тех, кто подписывал Берлинское соглашение, оказался и Садуллах Паша. Это запечатлено и на рисунке углем, который сделал А. фон Вернер[1]. На нем изображены и лорд Одо Рассел[2], и лорд Солсбери[3] и фон Бюлов[4], Каратеодори[5] и ближайшее окружение Мехмета Али Паши[6]. На рисунке фон Бюлов будто нисколько не интересуется происходящим: сидя в кресле спиной к столу, смотрит в сторону. Садуллах Паша, в феске, на груди медаль, жестикулирует, стара-

1. Антон фон Вернер (1843–1915) — немецкий художник.
2. Одо Рассел (1829–1884) — британский посол в Берлине.
3. Роберт Артур Талбот Солсбери (1830–1903) — министр иностранных дел Великобритании. 1 апреля 1878 обратился с циркуляром к пяти "великим державам" (Германии, России, Австрии, Франции, Турции), в котором настаивал на том, что разногласия, возникшие между Россией и Турцией, должны быть разрешены международным конгрессом. Этот конгресс состоялся в Берлине (Берлинский конгресс) под председательством Бисмарка.
4. Бернхард Эрнст фон Бюлов (1815–1879) — член германской делегации на Берлинском конгрессе.
5. Александр Каратеодори (1833–1906) — турецкий политический деятель. На Берлинском конгрессе был одним из делегатов Порты, подписавших заключительные акты договора 13 июня 1878 года.
6. Мехмет Али Паша (1827–1878) — турецкий полководец.

ясь, видимо, в чем-то убедить англичан. Напротив него — Каратеодори Паша, левая рука его лежит на столе, в правой — перьевая ручка, и он вот-вот подпишет соглашение. И тогда значительная часть Балкан будет потеряна. Румыния, Сербия и Черногория станут независимыми, а Болгария — автономной. Австрийская армия оккупирует Боснию и Герцеговину, ограбит мусульман. Кипр отдадут англичанам, Ардаган и Карс — русским. Турция потеряет и Эрзерум, где родился Садуллах Паша. Да, даже Эрзерум, за который бесстрашно сражалась с московитами Нене Хатун с серпом в одной руке и Кораном в другой. И Дунай-река отказалась войти в свои берега, полноводно разлилась, и этот сумасшедший, несущийся грязный поток видел и Садуллах Паша, который тогда был послом в Вене. А славный Осман Нури Паша, который говорил, что не отступит из Плевны, выбросил белый флаг, когда враг перебрался через Дунай и проверил, на что способна армия Паши. И тогда миллионы турок побрели по дорогам, посадив свои семьи на повозки, запряженные тощими волами, но большинство из них не добралось до Стамбула, став пищей для птиц и червей.

После церемонии подписания в королевском дворце давали бал, на который пригласили и посла Османской империи Садуллаха Пашу. Он должен был туда приехать, хотя судьба была к нему немилосердна и мысль об унизительном поражении в войне с русскими разрывала ему сердце. Он стоял в одиночестве в углу залы, где под звуки "Голубого Дуная" с шумом открывали шампанское и нарядно одетые жены иностранных послов и военных высокого ранга кружились под огнями хрустальных люстр. Он подстриг волосы и бороду, не надел медалей. Его подавленное состояние не ускользнуло от глаз принцессы Софии, дочери королевы Виктории, супруги наследного принца Фридриха Вильгельма. Она велела подозвать Пашу, оказав ему тем самым внимание. И когда пригласила его на вальс — может быть, потому, что на нее произвела впечатление его мужественная внешность, а может быть, потому, что захотела поддержать его, — все вдруг стало еще хуже. Садуллах Паша не умел танцевать. Этот османский богатырь и не хотел танцевать, словно кёчек[1]. Танцы были занятием девиц, работавших в пансионе греческой Мадам, где его нередко заставал рассвет в те далекие времена, когда он еще не оказался в этих чужих краях. Он вспомнил о Елене. Затем о Неджибе. Она уже несколько лет ждала его там, на вилле, лежа на подушках из птичьего пуха. Ему захотелось обнять ее, унести в розовую комнату и там, под атласным одеялом, насладиться своей молодой женой. И приглашение принцессы он воспринял как оскорбление не только себе, но и тем, кого представлял здесь, и потому сразу, ни с кем не попрощавшись, ушел с бала.

Кажется, в Берлине или в Вене, где он прожил много лет, он перевел на турецкий "Озеро" Ламартина. В стихотворении он, конечно же, прочитывал и свою драму, медлительность течения времени, которое в ссылке, казалось, совсем остановилось, но все же длилось, одиночество, охватывавшее его при виде затянутого облаками неба, и свою тоску по родине. Он отправился в поход, из которого не возвращаются, от которого не остается ни пути, ни следа. Судьбой ему было предназначено умереть, не увидев еще раз Стамбула, не обняв в последний раз Неджибе.

1. Танцовщик, переодетый женщиной.

Итак, всему конец! К таинственному брегу
Во мрак небытия несет меня волной,
И воспротивиться на миг единый бегу
Не в силах якорь мой[1].

Садуллах Паша не смог возвратиться в Стамбул из-за болезненной мнительности Абдулхамида. Заснеженным зимним днем в Вене, так и не увидев еще раз свою виллу в Ченгелькёе, так и не обняв Неджибе, он плотно закрыл двери и окна и повернул газовую конфорку. Потом в докладе, направленном во Дворец Йылдыз, говорилось, что причиной самоубийства стала не столько тоска по родине, сколько страх перед тем, что станут известны его отношения с горничной-немкой. Я лишь передаю содержание того отчета, который хранится в архиве Дворца. Думаю, что причиной самоубийства Садуллаха Паши стала разлука с женой. Как сказал поэт, счастливой любви не бывает, но бывает любовь — одна на всю жизнь. И вот доказательства.

Неджибе Ханым, услышав, что ее муж в Вене покончил жизнь самоубийством, лишилась чувств. До самой смерти она ждала Садуллаха Пашу, расхаживая по вилле в розовой ночной рубашке. Она ждала долго, очень долго. Неджибе было около восьмидесяти лет, когда Всевышний призвал ее. В тот год, после суровой зимы, весна на Босфоре наступила раньше обычного, и внезапно голубым, лиловым цветом распустился багряник. В отблесках закатного солнца цветы его казались оранжевыми.

2002

Балкон на средиземноморском побережье

ГЛАЗА закрыты. Так он лучше чувствует солнце на коже, оно сильнее жжет, жестокое, будто наваливается на него, тяжелое, как горы. Он один, растянулся в шезлонге на балконе. Жара липнет к телу, южная жара, обжигающая ноги, фаллос, сморщившийся под плавками, грудь, покрытую начавшими белеть волосами, и лицо — особенно глазные впадины. Солнце свило гнездо в его глазницах, свернулось там, приютилось, но он этого не замечает. Он знает, что в этом краю в это время солнце изнуряет. Изнуряющие часы... изнуряющие дни... изнуряющее время, которое он хотел бы стереть из памяти. Все уже позади. Оставшихся в живых раскидало по всему свету, а погибшие давно лежат в земле. От тех дней осталась горсть пепла, горсть разочарования. И воспоминания, врывающиеся в полночные сны. Плачет изнасилованная молодая женщина, друг под пытками дает показания, боец падает под осколками разорвавшегося в горах снаряда. Что это было — гражданская война или просто юношеское безрассудство? Сейчас, спустя годы, разве это важно? Вот и он вернулся в свою страну, которую оставил тогда военным, и поселился с молодой женщиной в туристском городке в отеле класса "люкс", где каждый номер с видом на море, а со всех балконов видны горы.

1. Перевод А. Фета.

Солнце сжигает человека, вода утягивает его в свои глубины, но память остается. И его память сейчас ясная, прозрачная, как лучи солнца, падающие на горы. В ней шумят подземные воды, как и там, недалеко, где впадают в море и пенятся в расселинах ручьи. Он уже успел поплавать — хотелось поскорее смыть с тела дорожную усталость, пыль и грязь, горечь, оставшуюся от тех лет. И он был не один. Они уплыли в море из маленькой бухты у подножья пористых, как губка, скал, отведенной для клиентов отеля, уплыли подальше, туда, где меньше людей. Там они впервые занялись любовью в окружении гор. Вернувшись, поужинали и поднялись в свой номер. И пока не рассвело, еще раз слились на широкой кровати, с яростной страстью, яростным желанием, яростной злостью. Женщина хотела его, а он хотел забыть прошлое.

Сейчас он, растянувшись в шезлонге, копит энергию. Готовит свое тело к вечеру. Когда по телу пропускают электричество, оно дрожит, глаза вылезают из орбит. Они направляют в лицо свет и спрашивают, где скрываются твои друзья, но ты молчишь. Потому что от вспышек света мозг разлетелся на мелкие кусочки, память пропала. Тогда они усиливают ток, электричество течет от тестикул в мозг, и ты начинаешь говорить. И уже никто не может заставить тебя замолчать. Нет, ночью ему уже не снятся пытки, но и днем он не выходит на прогулку. Сейчас, спустя годы, над его телом властвует язык — молчаливый, мягкий, скользкий, влажный язык, дарящий только удовольствие.

Глаза его закрыты, может быть, поэтому в мозгу появляются странные, яркие образы, загораются и гаснут, как звезды. Бешеная пляска нитей света, голубых, синих, серых, переходящих в оранжевый, фиолетовый. Затем все исчезает, остается лишь слепящее белое пятно. Семь цветов солнца исчезают в страшном взрыве. Вообще-то, не жара, а кошмары прошлого рождают в нем чувство апатии, смешанное с болью, распявшее его на шезлонге, как на кресте. Да, он предал их дело, он выстоял на допросе, но, когда стали пытать — заговорил. Предал своих друзей. И когда его выпустили, сразу приехал в этот южный город. Много лет назад, в незапамятные времена. Когда-то в одной стране случился военный переворот, и был выпущен меморандум. Люди, обязанность которых — защищать эту страну, пытали и уничтожали тех, кто ее любил. Пускали электрический ток через тело, засовывали в задницы полицейские дубинки. Казнили совсем юных. Давным-давно, когда верблюд был глашатаем, а вошь — парикмахером, случилось все это, и столько жизней было загублено.

Глаза его закрыты, но уши настороже. Слух его начеку, как у старого жеребца, ждущего кобылу. Как у жеребца, который идет рысью, потому что уже не может мчаться во весь опор. Он улыбается. Лицо у него морщится в улыбке мужчины, уверенного в себе, познавшего трудности и теперь отдающегося наслаждениям. Хорошо бы стеклянная дверь балкона приоткрылась, хорошо бы голос приглушил доносящийся и сюда шум города, позвал его на своем языке: кто знает, что она скажет, может быть, упрекнет его, а может — зашепчет слова любви на ухо. Вот бы услышать привычный стук каблуков по рассерженному бетону. Она не снимает свои босоножки на высоком каблуке даже в номере. Каблуки утопают в паласе. И когда идет по коридору — тоже. Но когда выходит на балкон... Где она сейчас, интересно, что делает? В маленькой бухте,

которую они обнаружили внизу, едва поселились в отеле, или в море? Может быть, в лифте, ведущем к морю, там зеркало в полный рост, и она в бикини, загоревшая, со светлыми волосами — чудо как хороша! В длинных волосах красная заколка, на ногах босоножки. Может быть, она у бассейна или в толпе туристов. Может, беседует с кем-то, приехавшим из ее страны. И поленилась войти в лифт и спуститься к морю. А может быть, она еще ближе, в номере, на кровати, голая. Грудь поднимается в ритме дыхания, внизу живота дрожит светлая трава. Если работает кондиционер, на ней майка, та майка, в которой ее грудь кажется еще выше. Может быть, потому, что она приехала из страны светлых людей, может быть, потому, что сама очень светлая и высокая, — черный цвет шел ей. Вообще-то, что бы она ни надела, все оказывалось к лицу. Особенно та узкая юбка, заколки, переливающиеся каждый день разными цветами, босоножки, украшения. Семи цветов солнца. После того как воспоминания стали таять, он опять стал различать цвета.

Глаза его приоткрываются. Вид гор, остроконечных, с крутыми склонами, таких невозможно близких, мгновенно ослепляет его. Горы острые, как зубья пилы, синие, фиолетовые, грязно-белые. Их великолепие заставляет его забыть обо всем, поглощает его, растянувшегося на шезлонге. Горы, уходящие в море серые, одинокие горы. Только горы остались прежними и солнце. Утром они сошли с автобуса, сели в такси. Он не узнавал город. Ряды бетонных зданий, новые широкие улицы без пальм, покрытые плавящимся под солнцем асфальтом, с уродливыми домами. Перед тем как пойти в отель, он предложил позавтракать в порту. Они шли, взявшись за руки, мимо часовой башни, по узким улочкам, ведущим к морю. Старые дома с черепичными крышами и эркерами превратились в отели или рестораны, почти во всех лавках продают ковры для туристов. Они сели в тени инжирового дерева, вырывающегося из стен крепости. В лимане яхты и парусники, слева за стенами, поднимающимися до ворот, сохранившихся со времен Древнего Рима, — пустые кафе. Тень от узорных минаретов падала на крыши, но пока не достала до садов. В этот ранний утренний час в крепости было тихо, будто она еще не очнулась от ночного оцепенения.

Рука его перебирала волосы молодой женщины, потянувшись, он поцеловал ее в губы. "Да, так, — прошептал он ей в ухо, — когда я сунул руку туда, вниз, в холодную воду, бьющую из-под мечети, все пальцы были искалечены. И не только пальцы, все тело..." Женщина, не понимая, улыбнулась. Она только недавно приехала с севера, и до того, как попасть сюда, на берег Средиземного моря, встретилась с ним, с мужчиной, которого любила, в Стамбуле. Она была счастлива. И привыкла к тому, что он шептал ей на своем языке мягкие, ласковые слова. Какое-то время они побродили под крепостными стенами, затем спустились вниз, к мечети. Старое здание с невысоким минаретом выглядело чужим рядом с богатыми яхтами. Его отреставрировали и выкрасили в белый цвет, но внизу источник уже не бил. И гальки тоже не было. Ни гальки, ни воды, которая унимала боль в руках, давала успокоительную прохладу измученному пытками телу. Родник высох, подземные ключи, должно быть, впадали в море в другом месте. Все изменилось, стало чужим. Даже вода. Они выпили вкусный крепкий чай в беседке, обвитой вьющимися растениями, рядом с мечетью, как он ей и обещал. Он не сказал ей, что вепр-

вые приехал в этот город, когда вышел из тюрьмы, что скрывался здесь в доме своего родственника, что его выпустили, потому что он заговорил под пыткой, и что он до самого отъезда из страны не позвонил никому из старых друзей и все еще не может смотреть им в глаза.

Когда они поселились в отеле, женщина сразу предложила искупаться в море. Она хотела смыть дорожную усталость. Ночь они провели в автобусе. И долго разговаривали на языке, который знали оба, до тех пор, пока она не положила голову на его плечо и не заснула. Он рассказывал ей о своей стране, о просторах, плывущих за стеклом автобуса, о бесплодных холмах, о детстве, прошедшем в одном из поселков за холмами. Когда пришел черед говорить о студенческих годах в Стамбуле, он и слова не сказал о том, что случилось после переворота. Он хотел стереть из памяти это время. К тому же зачем воспоминать о кошмаре, ворошить старые раны на отдыхе, когда рядом молодая женщина. Он познакомился с ней в туманном северном европейском городе и сразу понял, что когда-нибудь они приедут вместе на его родину. Поедут на юг. Одного этого слова — юг — было достаточно, чтобы у него портилось настроение. Разве на севере было плохо? Летом и там можно купаться в море, загорать на песке, пить пиво с густой пеной и заедать его рыбой. Может быть, настоящей причиной, заставлявшей его двигаться все дальше и дальше на север после того, как в его стране объявили чрезвычайное положение, настоящей причиной, заставлявшей его бродить по городам, освещаемым полночным солнцем, и не позволяющей думать о средиземноморском побережье, было не безденежье, а все то, что он пережил в этом южном городке. Днем, чтобы спастись от палящих лучей солнца, надо было прятаться в самом потаенном уголке дома, плотно зашторивать окна и ложиться на кровать. Но солнце не оставляло, оно продолжало жить в тебе, как старая рана, взрываться в мозгу. Когда пускали ток, в твоем мозгу взрывалась уйма солнц. Чтобы он очнулся, на него выливали ведро воды. Вода ведь проводник. И тело, привыкшее к высокому напряжению, начинает дрожать. Боль от тестикул движется в мозг, лицо сжимается. Сморщивается, как скомканный лист бумаги, язык развязывается. Когда тебя бросили в камеру, ты даже раскаяния не испытывал. Что там раскаяние, ты вообще ничего не чувствовал. Тело стало как пустой куль из-под муки, а разум — высохшим колодцем. Окружающий мир превратился в большое белое пятно, даже среди ночи палило солнце. Они лили воду из ведер на бетон. Да, на бетон! Не на голое тело! А в деревне во времена его детства кирпичные стены сарая, раскаленного солнцем, тоже обдавали водой. Во дворе становилось прохладно, вода гасила жар кирпичей, а ты ждал наступления ночи в маленькой задней комнате в доме с эркером.

Сейчас бы подняться с шезлонга, одеться да спуститься вниз. Пройти в этой жаре под пальмами в крепость. Вот и церковь с низкой башенкой, узкие улочки, магазинчик на углу, старый лиман и дом родственников, в котором он скрывался не от полиции, а от солнца. Войти во двор, крикнуть новому хозяину дома: "Уберите эти ковры!", и под удивленными взглядами туристов раскидать прекрасные безворсовые ковры юрюков[1], ковры, на которых бредут по зеленеющим лугам верблюды и распускают-

1. Кочевники в Турции.

ся на горных пастбищах цветы. Двор вмиг опустел бы, и он набрал бы воды из колодца, если он еще есть... И пусть хоть на мгновение, пусть и напоминая о камере пыток, но как же успокаивал этот шум воды. Ведро воды снимало жару во дворе. Над бетоном поднимался едва заметный пар, а затем солнце над красными черепичными крышами вновь брало город в полон. Ни фаэтон не проезжал по улице, ни шума рыбацких моторных лодок, вплывающих в лиман, не было слышно. Все, что было — только звук воды. Горы вдалеке и ведро воды, которое выплескивали во двор.

Там, на берегу, после любовной игры он вошел в море, нырнул. Женщина со светлыми волосами осталась на берегу, растянулась голая на песке. Из-под слоя воды казалось, что водоросли плывут с ней рядом. Он захотел уплыть от нее. Уйти от всех, потеряться в глубине, раствориться среди крабов и разноцветных ярких рыб, морских ежей и воздушных пузырей. Исчезнуть в голубой бездне, жить там, где никого нет, ни единой живой души, даже обитателей морского дна... Вышел на берег, дыхание прерывалось. Вытянулся рядом с ней. Когда они начали целоваться, он почувствовал во рту приятный привкус соли. Затем соль внезапно стала жечь. Мучительно захотелось пить. Язык его иссыхал во рту женщины. Кто заставил его лизать столько соли?! Заставил лизать и страдать. Заставил пересечь Торос и вытащил на этот берег, в эту синеву, на этот песчаный пляж, на который солнце обрушилось, словно какая-то эпидемия.

Перед тем как снова закрыть глаза, он взглядом втягивает в себя горы, будто делает глубокий вдох, вбирает в себя вид суровых горных вершин. Они синие-пресиние под светом солнца. Море и небо тоже синие. Но цвета почему-то не смешиваются. Много лет назад было так же, в те дни после 12 марта, когда он пытался скрыться в задней комнате дома в крепости. Потом, когда ему стало немного лучше, раны затянулись и память вернулась к нему, он начал думать о будущем этой страны, зашедшей в тупик, о товарищах, оставшихся в тюрьме, о замученных на пытках и повешенных, о вопросах, которые уже утратили для него важность, — уходящая эпоха, спасение народа, обесцененные деньги, и однажды увидел, что горы затягивает пелена дождя. Когда закончилось лето и полили дожди, страна все еще была на краю пропасти, и горы плотно накрылись облаками. Ветер гнал их, иногда они опускались на море. Или наползали на долину с отвесных склонов. И не пенное ли море подточило скалы, сделало их пористыми, как губка? Оно простиралось до подножия гор, бесконечное, будто независимое от песчаных берегов с праздными отдыхающими и от солнца. А когда на горы лег первый снег, он стал интересоваться теми, кто живет в горах, и, узнав, что они с первыми признаками весны поднимаются на летние пастбища со своими семьями, со скотом, решил дождаться сезона кочевки. Он полагал, что так заворожен горами, так остро ощущает их близость из-за того, что детство его прошло на равнине. Из окон домов в их поселке он годами смотрел на равнину. Видел тополя, красную землю, звезды, срывающиеся в ночную пустоту. Горы странно будоражили его, они словно бросали вызов с детства привычной равнине. Были свидетелями и друзьями тех плохих дней, которые он провел здесь, пока не сбежал за границу. Как это называется? Выздоровление? И внезапно на ум пришли строки очень сентиментального, очень толстого поэта, превыше всего дорожащего своим спокойствием, этого последнего османца,

никогда в жизни не рисковавшего: "Разве есть чувство более сладкое в этом мире, чем слабость после болезни?" Если бы поэт, написавший эти строки, сейчас попался ему в руки, он утопил бы его в стакане воды.

Он лежит на шезлонге на балконе в номере с видом на горы, ждет свою возлюбленную и не может понять, что его вдруг так рассердило. Солнце между тем начало клониться к горам. Жара будто немного спала, но до вечера еще далеко. Должно быть, от обильного обеда глаза его закрываются. Он даже не видит, как молодая женщина со светлыми волосами выходит на балкон и опускается перед ним на колени. Он чувствует, как мягкая рука касается его ног, скользит выше и задерживается в низу живота. Он отдается ее ласкам. Рука останавливается на его естестве, дремлющем под плавками, но ненадолго. Затем она стягивает с него плавки. Он понимает, что сейчас переживет что-то другое, нежели тогда, в номере, на широкой кровати перед зеркалом. В этот момент тело его напрягается, как на пытке. Она трогает рукой его член, затем касается языком. От прикосновения влажного, скользкого языка его плоть твердеет. Внезапно он начинает стонать. Стон переходит в короткие вскрики, затем в крик. Сперма прямиком течет из тестикул в мозг. Много лет назад его отдали палачу, а теперь его забирает женщина. Он думает о том, что любовь — это покорение, захват. А может быть, и капитуляция, сдача. И последнее, что мелькнуло в сознании: а что, если любовь — это не покорять, а покоряться? Горы вновь синие, солнце палящее. Но он не видит гор, не чувствует обнаженной кожей жгучих лучей солнца. Мир замкнулся там, где один покорял, а другой — покорялся. Мир стал потоком, криком, нескончаемым иссяканием.

2001

Эссе

Писать

Неподалеку от нашего дома началось строительство. По воскресеньям мы с соседскими мальчишками носились по стройке среди ведер с раствором, стальных проволок, труб, кирпичей. За короткое время возвели первый этаж, потом второй. И мы играли уже не на фундаменте, а наверху, на втором этаже. Внизу лежала куча песка. Если я правильно помню, нас было трое. Мы стояли на краю бетонного выступа, на котором должен держаться балкон, и спорили, сможем ли спрыгнуть вниз на песок. Спор принял серьезный оборот. Если б я прыгнул, то стал бы предводителем команчей. Получил бы право всю жизнь быть главой этого племени, право раскуривать трубку мира стало бы моим "на вечные времена". "На вечные времена" — ссылка на Ататюрка, он употребил это выражение, говоря о Республике. Если я осмелюсь прыгнуть, стану командиром, вождем "на вечные времена". Но бетонный выступ был довольно высоко, на втором этаже, а куча песка — далеко внизу.

К тому же песок затвердел на морозе, стал как камень, в него не особенно-то можно было провалиться. Я долго колебался. Надежда стать "на вечные времена" предводителем команчей манила меня снизу, по-

махивала рукой. Было очень холодно. Я дрожал на сухом балыкесирском морозе. Приятели подзуживали сзади: "Трус! Давай прыгай!" Эхо их голосов разносилось по стройке, звенело у меня в ушах. Если не прыгну, ярлык труса прилепится ко мне навсегда. Я никогда не смогу избавиться от этого клейма, оно останется со мной "на вечные времена". Я застыл, будто окаменел. Не в силах был сдвинуться с места, сделать шаг ни вперед, ни назад. И вдруг, закрыв глаза, бросился в пустоту.

Когда открыл глаза, я был в больнице. Мать сидела у моего изголовья и плакала. Я никогда, даже когда умер отец, не видел, чтобы она плакала так красиво. Слезинки капали по одной, как в сказках, которые она мне рассказывала, они не струились по щекам, а падали на мою подушку и увлажняли ее. Как в тех прекрасных стихах Даглардж: "...я был болен, но как красиво, будто уплывая, погибала часть моего тела". Я вывихнул ногу, мог "на вечные времена" остаться калекой, но ведь я победил в себе страх!

В другой раз – тогда мы уже переехали в Эсеневлер – мы играли на железнодорожных путях, и мне захотелось лечь на шпалы. От кого-то я слышал, что под проезжающими вагонами остается пустое пространство. Или видел в каком-то фильме про ковбоев. И если поезд пронесется надо мной, то со мной ничего не случится. И хотя я был самым отчаянным мальчишкой нашего квартала, а после случая на стройке военный совет назначил меня предводителем команчей "на вечные времена", я не решился сыграть в эту опасную игру.

Я знаю, что пишу для того, чтобы противостоять смерти, чтобы победить Азраила, этого ангела смерти, с которым впервые столкнулся в детстве, когда отец внезапно ушел из моей жизни. Могу сказать, что пишу для того, чтобы продолжить оборвавшуюся на половине жизнь отца, закончить его дело. Я знаю, что бросать вызов смерти опасно, это стремление, как в рассказах о Дели Думруле[1], обречено на неудачу. В битве с Азраилом поверженным всегда оказывается человек, как в кориде заколотым всегда остается бык. Но надо играть по правилам, ты должен почувствовать, как острый рог быка проходит совсем рядом с тобой, ощутить его в глубине своего сердца.

Писать – это создавать иллюзорный мир; но если мир, сотканный из слов, становится неотделимой частью твоей жизни, то писательство можно понимать и как прыжок в пропасть, как вызов смерти. Да, мы не можем победить смерть ни в чреве матери, ни в том мире из слов, которые выводим черными чернилами на белой бумаге, а теперь все чаще набираем на компьютере. Самое большее, что можно сделать, – родить ребенка (у меня есть дочь, она носит имя моей матери – Лейла) и создать для него мир мечты. А потом? Потом ребенок вырастет, станет "большим человеком", даже если это девочка, как у меня, и, когда придет время, красиво умрет. Что же касается писательства, слова тоже однажды исчезнут, порыв ветра унесет их с расползающихся страниц.

2004

1. Герой эпоса "Книга моего деда Коркута", который сражался с Азраилом.

Адам Торп

Правила перспективы

Роман

Перевод с английского Н. Гайдаш, С. Соколова

32

Нелегкая была бы задача изобразить то, что нас сейчас окружает, подумал он; вышло бы нечто абстрактное, где сквозь разные оттенки серого проступает красный. А что, если смешать краски с золой и пеплом и написать картину, которая наделает много шума, а самому сохранять при этом мрачную невозмутимость, словно позируешь для глянцевого журнала. Этой золы хватит не на одно полотно.

— Что бы ты сказала, если бы твое лицо появилось в "Пикчер пост"? — шепотом поинтересовался он у немки.

Сколько картин выйдет из пепла мужчины или женщины? Из ребенка меньше. Может, даже на совсем маленькую не хватит. Может, краски сделаются жидкими, и изображение расплывется.

Хоть бы задница так не свербела и в одеяле было бы поменьше блох! Он скосил глаза вниз и покрепче обнял ее, подбородком уткнувшись ей в волосы. Тело ее было такое тяжелое и теплое. Вот о чем он забыл, объятый одиночеством и ужасом, о том, как восхитительна тяжесть женского тела. Вот, оказывается, что испытывает пожарный, когда на руках выносит людей из огня.

Сколько раз в Кларксберге, по вторникам вечером в аудитории Старой школы, зажав в пальцах угольный карандаш, пытался он передать на бумаге этот вес обнаженной натуры, это неотъемлемое свойство человека, и заканчивалось все ничем. Грязное пятно, беспомощная мазня.

Ограничь пространство, говорил преподаватель.

Парень с ума сходил от Кандинского, от сведения всего изобилия мира к динамике и силовым линиям, когда вместо обнаженной натуры выходит стремянка с корзиной. А как же вес, мистер? Как же дымный запах ее волос? Кому, на хрен, нужен Кандинский?

Это хорошо, что он не знает немецкого. Порой разговор, словно бульварное чтиво, против воли уносит тебя бог весть куда, на какое-то унылое мелководье.

Berlin ist eine Reise wert.

Здесь и сейчас он счастлив, обнимая совершенно чужого ему человека, с которым нельзя даже поговорить. Их близость ничто не нарушает. Что-то во всем этом есть доисторическое. Могучее, необузданное и доисторическое. Будто он убаюкивает ее в пещере, а по снегу у входа рыскают саблезубые тигры.

Окончание. Начало в "ИЛ", 2009, № 5.

И он съел ее волос. Пожевал и проглотил. Теперь она принадлежит ему, а не Генриху.

Вовсе не бедняге Генриху, что отправился на тот свет.

Если ты решил жить, всегда найдется ради чего. Но это не значит, что выбор есть всегда. Зачем мы живем? Чтобы помнить. И это все? А если умрем? Куда девается наша память? Я спросила об этом тощего, когда он пришел, но [за?] его очками не нашлось ответа.

33

Даже эта жуткая голая баба с отполированными сосками сделалась ему так близка, что он испытывал к ней симпатию.

Он дорожил музейным постоянством; в старые добрые времена, когда рабочий день заканчивался и все расходились по домам, герр Хоффер любил бродить по пустым залам. По-разному освещенные, они казались огромной страной с запутанной географией, дикими лесами и бесконечными дорогами. То и дело он замирал перед какой-нибудь картиной, словно видел ее впервые.

Теперь здесь не осталось ничего!

Кроме партийного мусора наподобие "Зари" с ее глупой порочной ухмылкой — все низвелось к этому убожеству. Ему захотелось сбросить ее с лестницы, превратиться в обросшего мускулами сверхчеловека и швырнуть ее вниз, чтобы она там разбилась.

Вместо этого он провел рукой по мраморному плечу, думая о том, как сидел рядом с Хильде Винкель, как его рука покоилась на ее худенькой спине. Какой холодной и безжизненной была "Заря" при сравнении с Хильде! А вдруг через тысячу лет этот хлам будет единственным, что уцелеет от современного искусства?

Где все картины Древней Греции? Обветшали, погибли. Бронзовые скульптуры? Переплавлены, чтобы расплатиться с солдатней!

Донесшийся снаружи глухой удар не произвел на лежащую статую никакого эффекта, хотя с потолка и посыпались куски штукатурки. Один застрял у нее в пупке, второй лег на приоткрытый рот, словно палец. Он посмотрел вверх: замысловатая лепнина из раковин и винограда пошла огромными трещинами. Разрывы падавших неподалеку снарядов не проходили для здания бесследно. Герр Хоффер разволновался еще сильнее, но с места не сдвинулся. Несмотря на опасность, уходить не тянуло. Что это было, отчаяние? Сияющие мраморные груди возбуждали его. Фюрер считал, что в грудях разбирался один Боттичелли, Ротман же, очевидно, ошибся в расчетах. Герру Хофферу хотелось одного — нежных женских объятий, лечь между крепких, теплых ног и раствориться. Вскоре после того как начались налеты, Сабина потеряла к сексу всякий интерес. Когда-то он был ей так нужен — теперь же она слишком много нервничала и очень уставала. Нервные срывы вытравили из нее все. Как она боялась за детей! И он тоже! Но все равно не мог подняться со скамьи. Может, у него тоже срыв? Или надвигается мигрень? Господи, прошу тебя, только не сейчас.

Вдруг он расхохотался, словно начиная сходить с ума.

Уж в этом точно нет вины Бенделя! Бендель, поди, давно уже мертв!

В последний раз он видел его зимой 42-го, больше двух лет назад! Его перевели, сказал он. Куда? Секрет.

Про этот последний раз герр Хоффер вспоминать не любил. Как-то у него случилась легкая мигрень и он пришел с работы рано, и пожалуйста — герр Бендель собственной персоной, попивает с Сабиной чай, как английский аристократ.

Волосы Сабины были не собраны. Черный галстук Бенделя был завязан наспех. Одна шпора отстегнулась, ремешок свободно болтался. Чай холодный — они налили и герру Хофферу, — совершенно холодный.

— Неужели? Значит, мы совсем заболтались, мой милый Генрих. Бедняжка Клаус... герр Бендель покидает нас. И не говорит, куда уезжает. Вернулся на один день, забрать вещи из своего письменного стола.

Для человека, измученного мигренью, все это выглядело невыносимо подозрительно. Бендель поднялся, но тут куда-то запропастилась его фуражка. Она нашлась за диваном, и пока они обменивались дежурными любезностями, череп не переставая на него скалился, а потом герр Хоффер сразу лег в постель, с черными носками на глазах и миской в руках. А что еще он мог сделать? Вызвать Бенделя на дуэль?

Кит-убийца в аквариуме. Китов-убийц он видел всего пару раз на плохоньких иллюстрациях в каких-то книгах, но точно знал, что они черно-белые, лоснящиеся и их пасти полны огромных острых зубов.

А мир полон безобидных дельфинов.

Но все же Бендель был интересным молодым человеком. Киты-убийцы очень умные. И красивые. Дайте Бенделю комнату, увешанную картинами, и о лучшем собеседнике нельзя и мечтать.

А Сабина — мое сокровище, думал герр Хоффер. Мое солнце, моя луна. Он не мог обвинить ее ни в чем, кроме сентиментального увлечения. Сорокалетней женщине захотелось тряхнуть стариной. Наверное, ничего и не было. Зато она развлеклась. Надо уметь прощать. Надо соблюдать заповеди, даже если ты и не уверен, что веришь в Бога.

Он сам, со всеми его проблемами и страхами, конечно был для нее невыносимой компанией. Надо было нацепить шпоры на сапоги. Но у него и сапог-то не было.

Бендель не вернулся. Может статься, погиб. Винсент отправился в пропахший клозетом Luftschutzbunker, а потом, когда Бендель окончательно сгинул, спустился в подвал. Ван Гог "Кайзера Вильгельма" наконец-то в безопасности! Тсс. Это секрет. Он спрятан глубоко. Очень глубоко.

Слава богу, Бенделя не было здесь в 44-м, во время эвакуации! Будь он в Лоэнфельде, немедленно заподозрил бы, что дело нечисто, когда в соляной рудник отправились и партийная мазня, которую наконец сняли со стен, и содержимое Luftschutzbunker.

Опись, составленная на розоватой бумаге из школьной тетради, сделала свое дело — о да! — и это признали все, даже жалкий старикашка Вернер Оберст. Пожилой гауптштелленляйтер (в помятой русской каске), отвечавший за эвакуацию, конечно сделал герру Хофферу выговор за "беспечность и неорганизованность", и только; картины и небольшие скульптуры выносили усталые сотрудники Службы гражданской

обороны, которым было на них глубоко наплевать. Большая часть этих людей провели ночь, вытаскивая трупы из-под развалин фабрики. Удачное время для маневра – у них было полно других забот! Даже пропажи *Mademoiselle de Guillerroy au Bain* не заметили, что уж говорить о Ван Гоге. В то же время с картинами из-за этого не обращались с подобающим уважением. Герр Хоффер суетился, шумел, пытаясь хоть как-то призвать их к осторожному обращению с произведениями искусства. Пейзаж Адама Тёпфера поцарапали о крыло грузовика, прелестные глаза "Mädchen" Каульбаха забрызгали грязью, рисунок ангела с лютней кисти Гауденцио Феррари в раме XVI века ненадолго положили на капот, где из-за пара, поднимавшегося от мотора, на нем начали конденсироваться капельки воды.

Герр Хоффер ожидал сурового письма из Министерства пропаганды касательно Ван Гога, но не дождался.

Штурмфюрер СС Бендель теперь уже вряд ли за ним вернется.

Бомбили, видимо, где-то вдалеке, но это могло измениться в одно мгновение. Улыбка "Зари" превратилась в ухмылку смерти.

Очнувшись от многочасового блаженного забытья, которое на самом деле продолжалось несколько минут, герр Хоффер заставил себя подняться со скамьи и, пошатываясь, вошел в белизну Длинного зала, вытряхивая из волос кусочки штукатурки.

Остановился в центре. В дальнем конце огромного зала его кто-то ждал. Герр Хоффер никого не видел, просто чувствовал. Это была смерть. Смерть пришла к нему скользящей походкой, как к несчастной Шубертовой девушке. Он поднял голову – сердце готовилось выскочить из груди – и с удивлением увидел, что длинное покатое стекло прозрачной крыши целехонько. Его переплеты расштриховывали клубы дыма как чертежная сетка. В стекло то и дело врезались птицы. В это самое стекло.

В любую секунду оно может обрушиться прямо ему на голову. Герр Хоффер испугался. Сам себя умудрился напугать. Ну хватит.

Все же Бендель был славным малым. Разве что слегка неуравновешенным. Он несколько вторников приходил на его экскурсии, в частности на "Немецкий романтический пейзаж: стремление к беспредельности". Герра Хоффера подмывало провести курс, посвященный модернистским работам (от постимпрессионизма к экспрессионизму и от абстракционизма к дадаизму), в зале с пустыми стенами, но герр Штрейхер заявил, что это самоубийство.

– Черный Карлик только что запретил любое проявление независимой критической мысли, – сказал он. – Это значит, что нам вообще придется отменить ваши экскурсии, герр Хоффер.

– Зачем же, герр и. о. директора? Я придумал обходной путь. Надо переименовать "Современное искусство от Ван Гога до Курта Швиттерса" в "Историю немецкого искусства".

– А как же содержание?

– Единственное, что требуется, это мягкость формулировок.

Герр Штрейхер ухмыльнулся, не вынимая трубку изо рта.

– Мне нравится ваш мягкий подход к этой проблеме, мой дорогой друг.

Полнота герра Хоффера была для них обычной темой для шуток: герр Штрейхер, в противоположность ему, был тощ и высок.

— К примеру, — весело продолжал герр Хоффер, — я подготовил обширный материал о влиянии ранненемецких чертежников на стандарты использования кривых в качестве штриховки.

— Это из работы бедняги Густава.

— И я нашел для нее прекрасное применение, — ответил герр Хоффер, покраснев до корней волос.

После каждой экскурсии Бендель подходил его поздравить. Очень умный малый. У него всегда находились интересные вопросы.

Да, очень хорошо, что Бенделя не было, когда Музей эвакуировали на рудник. Он бы точно заметил, что Винсента нет в описи. Не говоря уж о многих других.

Ах, все-таки он отлично справился. Особенно учитывая обстоятельства. И смерти здесь нет. И он не несчастная девушка.

Выйдя из Длинного зала, он миновал на лестничном пролете скульптуру Вампера и спустился по черной лестнице в зал ископаемых. Стеклянные витрины пустовали. Когда-то они ломились от трилобитов, брахиоподов и изящных окаменелых папоротников из залежей глины у Крайбургского холма. Герру Хофферу снова послышалось, что неподалеку кто-то крадется. Действительно крадется. В зале ископаемых, конечно, были мыши — голод гнал их из стенных щелей на пугающие пространства пола и стен. Возможно, это души немцев, тех, что лишились их, впав в партийный транс. Миллионы душ. Разве не в это когда-то верили северные народы? Что душа покидает тело в виде мыши?

Слава Богу, хоть он не мышь.

Он помедлил перед дверью вахтера, отметив про себя, что бомбежка стихла. Может, эти идиоты наконец сдались. Какими окажутся американские солдаты? Ему представлялись торчащие из танков черные негроидные лица, жующие жвачку. Многие наверняка окажутся белыми, как те, что до войны бывали в Берлине, но их герру Хофферу представить на танках не удавалось. Он ни на секунду не верил жутким картинам, которые живописали газеты, но ему тем не менее было страшно. Во-первых, среди них наверняка будут евреи, которые станут интересоваться, куда подевались их соплеменники. Может, немецких мужчин отправят в концлагеря, а женщины достанутся солдатам. Сабину в этой роли он представлял с пугающей легкостью — она любила удовольствия, которых он доставлял ей не так много. Равно как и любой немец. Война стала для нее личным оскорблением, она лишила ее возможности получать удовольствие. Когда в прошлом году ее подруга организовала вечер народных танцев в "Клубе покупательниц", герр Хоффер с трудом уговорил ее не брать туда джазовые пластинки, которые он много лет назад привез из Берлина, лишь напомнив ей об опасности, которой после этого могут подвергнуться девочки. Вот почему с ней случались истерики, вот почему иногда она начинала бить кулаками ему в грудь. И тогда у нее тоже случился припадок, она принялась бить пластинки об его голову. Герру Хофферу пришлось отнести ее в постель, что удалось с трудом — слава богу, что она так похудела!

Собираясь с духом перед дверью герра Вольмера, на сквозняке, которым тянуло от разбитого витража Клюге, он вдруг понял, что забыл, как это не быть в постоянном напряжении; каждый день он проводил будто в приемной врача, ожидая диагноза какой-нибудь опасной болез-

ни. Каждый день все та же одышка, та же слабость мочевого пузыря, та же нервная раздражительность — он мог часами ходить туда-сюда, словно под дверью в пресловутый кабинет, за которой, возможно, притаилась сама смерть, где вся твоя жизнь зависит от одного-единственного слова. Однако привыкнуть к этому напряжению он так и не сумел, оно было совершенно не в его характере. Когда случалось, что ему все-таки удавалось заснуть, то снились фонарные столбы, а не старуха с косой. Но чаще он просто лежал, а утром вставал с кругами вокруг глаз, как иногда гримируют актеров в кино — будто он и на минуту глаз не сомкнул.

Скоро все закончится — осознание этого вызывало шок!

Герр Хоффер стоял перед дверью герра Вольмера, на которой висел график дежурств, написанный поблекшими чернилами; ему было неудобно снова беспокоить вахтера, ведь совсем недавно он уже поднимался за свечами. И часа не прошло! Смешно, чего ему стесняться. В конце концов, они под обстрелом, и скоро их завоюют, совсем как у Геродота или Тита Ливия. Совершенно естественно, что ему хочется все перепроверить.

Положив ладонь на дверную ручку, он почувствовал, что все в жизни повторяется, что жизнь движется по бесконечному кругу, — во что-то подобное верили народы Дальнего Востока, это он знал точно, те самые, что имели обыкновение возвращаться к рисунку раз в несколько месяцев, а то и лет, чтобы нанести всего один мазок, пока картина не будет завершена.

Ах, как хорошо было наедине с собственными мыслями. Минуты уединения — только они дают почувствовать себя цельным и настоящим.

Только бы вы вернулись. Я жду и жду. Вчера мне исполнилось восемнадцать, но об этом никто не знал. Уже три дня рождения я провела одна. Никто не вспомнил, потому что никто не знает.

34

История человечества представлялась Перри в виде музыкального автомата с двумя пластинками: "Война" и "Мир". "Мир" был чистенький и свеженький, а "Война" — поцарапанная и заезженная из-за своей крайней популярности. Перри хотелось пива.

— Вы проиграли войну, проиграли войну, — сказал он женщине, и та вздрогнула в ответ. Не то икнула, не то вздрогнула. Значит, все еще горюет. Наверное, Германию оплакивает. Если бы Америку вот так разнесли, он бы тоже горевал. Как горюют британцы, попивая свой чай, по Лондону, Ковентри, Портсмуту... По собору в Экзетере, где погибло витражей на миллионы долларов, цветные стеклышки раскидало по тротуарам и газонам. Ну, может, на сотни тысяч долларов. Как бы то ни было, люди плакали, ведь этому чертову стеклу около тысячи лет. В пять раз старше Соединенных Штатов. Индейская Америка, конечно, старше, но тогда она и Америкой-то не называлась. Может быть, эти чертовы индейцы, вроде отца его бабушки, тоже убивались, как эта немка. Говорят, методистские проповедники вырезали индейцам внутренности

и наматывали их вокруг седла своей лошади, и это даже не называлось войной, а только покорением. Он сам полукровка. А некоторые даже утверждали, что влагалища тоже растягивали, только с медицинской точки зрения это не слишком-то правдоподобно. Хотя все может быть. Как растягивается рот. Кричащий рот избиваемого человека.

Но это, скорее всего, предание. Как может оказаться мифом и массовое уничтожение евреев в Европе. Им приказали внимательно все осматривать, искать улики. Проверять подозрительные заводские постройки, не любоваться живописными овражками, помнить, что живописный овражек может скрывать массовое захоронение. А увлекающиеся политикой солдаты-негры говорили: "Никто не искал наших могил, когда нас линчевали".

Он все еще думал, что, стоит поднять крышку люка, и на свет божий, щурясь от солнца, выйдут миллионы живых евреев. В Кларксберге евреи держали около дюжины отличных магазинчиков. Он стал бы героем. Они знали смешные анекдоты и отпускали в кредит.

Для него не было загадкой, почему женщина — фрау Хоффер, как она себя называла — так льнет к нему. Баюкая бедняжку, он ясно это понимал. Яснее не бывает. И все же ее поведение начинало его тревожить, отзываться глухой болью. Ведь никто из них, как бы голодны и обездолены они ни были, не прижимался так к солдату-американцу. Наверное, это из-за того, что он взял ее чертовы волосы в рот!

И все-таки исходящее от нее тепло было очень приятно.

Старый и тощий приходил сегодня, он утешал меня. Принес мне яблоко. Когда он ушел, я почувствовала, что во мне нет никакого смысла [*Sinn*].

35

Герр Вольмер читал газету!

Он сидел за столом в начищенном остроконечном шлеме и шинели и как ни в чем не бывало читал газету — старую, наверное, полугодичной давности, ведь свежих в Лоэнфельде не печатали со времен январских воздушных налетов.

Когда открылась дверь, он даже головы не поднял. Таков был герр Вольмер — неповоротливый, угрюмый, неуживчивый, и совершенно незаменимый. Иначе говоря, пока мир менялся, герр Вольмер оставался таким, каким был. Над дверью висела вышивка — "Ein' feste Burg ist unser Gott"[1], — сделанная, судя по вензелю, его прабабкой в тысяча восемьсот тридцать первом году. Стену украшал плакат с надписью "Mein Feld ist die Welt"[2], как будто герр Вольмер был кругосветным путешественником, впрочем, некий смысл тут был: ведь для него мир действительно заключался в этой душной комнатенке. Письменный стол герра Вольмера едва умещался между умывальником, чуланом со щетками и скособочившейся буржуйкой с медной кастрюлькой; а запасной дере-

1. "Господь надежный наш оплот" (*нем.*) — первая строка гимна Мартина Лютера. Перевод Э. Соловьева.
2. "Мой дом — весь мир" (*нем.*).

вянный стул, с подушкой, неизменно покрытой шерстью Каспара Фридриха, означал, что любой вошедший должен был либо его обойти, либо на него присесть, — и все равно, герру Хофферу эта комнатенка нравилась чуть ли не больше, чем все прочие помещения Музея.

Здесь царил, как сто лет назад верно подметил еще герр Киршенбаум, "дух натуралистического натюрморта".

То есть все было крепким, основательным и неизменным. Даже резкий запах кофе, смешанный с запахом табака и средства для чистки раковин, был единственным в своем роде. Кофе давно кончился, и на смену ему пришла водянистая жижа, но запах впитался в стены. Герр Вольмер же, хоть и бывал излишне суров, никогда не бывал груб. Сквозь пожелтевшие кружевные занавески, на которых были вышиты сценки сельской жизни, можно было разглядеть площадку перед Музеем, скромный музейный садик с коваными скамейками и начало обсаженной деревьями Фриц-Тодт-штрассе. Картина вроде бы такая знакомая и в то же время неуловимо переменившаяся. Время от времени он захаживал к герру Вольмеру выпить с ним кофе из треснутой чашки и потолковать о кровельных желобах, горячей воде или электропроводке. Эта комнатенка ничуть не изменилась с момента основания Музея. Музей, как давным-давно говаривал в шутку герр Киршенбаум, построили вокруг вахтерки, так что здесь находится его сердцевина. Для полноты картины не хватало только курительной трубки.

Ein' feste Burg ist unser Gott.

— Вернулись, герр Хоффер?

— Мой дорогой герр Вольмер, — произнес тот, опускаясь на стул, — я восхищен вашей отвагой.

— Какой еще отвагой?

— Что значит какой? Вашей! Кстати, я делал обход. Зашел убедиться, что у вас все в порядке.

— На чердак ходили?

— Гм, нет. Думаете, стоило?

— Эти ублюдки кидают зажигательные и фосфорные бомбы. Одна взорвалась на улице, сам видел, как она подпрыгнула. Мало ли, может, и на чердак такая угодила.

— Да, это возможно.

Герр Вольмер аккуратно сложил газету и положил ее перед собой, как драгоценную историческую реликвию.

— Не беспокойтесь, герр Вольмер, я туда немного погодя загляну.

— Незачем вам туда лезть. Подниматься высоко, да и не можете вы быть в двух местах одновременно, — сказал вахтер и поправил остроконечный шлем, который был ему великоват и поэтому сползал.

— Но ваше место здесь, герр Вольмер.

— Не переживайте, герр Хоффер. На чердак схожу *я*.

У герра Хоффера прямо сердце сжалось. Надо самому проверить чердак — нельзя гнать туда хромого герра Вольмера, да и пост надолго оставлять не следует. В Музее когда-то были четыре огромных чердака — настоящее чердачное царство с высоченными потолочными балками в лучших традициях швабских амбаров (архитектор был родом из Швабии). Позже, когда перекрывали стеклянной крышей Длинный зал, один чердак ликвидировали; оставшиеся же были темны, грязны, полны крыс и пауков. Кар-

тин там никогда не хранили. От одной мысли о зажигательной бомбе среди сухих деревянных балок по спине герра Хоффера пробежали мурашки.

— Разве мы не услышим, если на чердак упадет бомба?

— Конечно нет. Как нож сквозь масло пройдет.

— Герр Вольмер, только не надо про масло. Я отдаю наш недельный паек девочкам.

— Тем лучше для вашего здоровья, герр Хоффер.

— Как вы думаете, герр Вольмер, может, они прекратят бомбить? Кажется, поутихло. Бомбят где-то вдалеке. Наверное, это была ложная тревога, и они не...

— Небось, бомбят там, где СС, — перебил вахтер, прислушиваясь. — Чего на гражданских бомбы тратить. Они же не знают, — мрачно усмехнулся он, — что здесь собрались члены вермахта, все как один готовые погибнуть за родину.

Герр Вольмер ткнул пальцем герра Хоффера, который уныло кивнул в ответ.

— Сомневаюсь, что это достаточный повод нас бомбить, герр Вольмер. Видите ли, я не хочу, чтобы в Музей попала бомба.

— Разумеется, герр Хоффер.

— Музей необходимо сохранить для будущих поколений. Конечно, в нем немного чего осталось, но тем не менее это все еще Музей, а значит — место особое.

— Само собой, герр Хоффер.

— Невероятно прекрасен. Поэтому, если дело дойдет до самого худшего, разумнее всего будет поднять белый флаг и сдаться — исключительно ради потомков, герр Вольмер.

Герр Вольмер взглянул на и. о. и. о. директора, выпятив губу. Усы у него были по-старомодному пышными, кайзеровскими, взгляд — отнюдь не дружелюбным. Он с трудом поднялся, вытащил из чулана ружье и положил его на стол рядом со сложенной газетой, едва не задев герра Хоффера дулом. Ружье было старое, это бросалось в глаза сразу. Тем не менее ружье — это ружье. Даже из старого можно убить. Даже старик со старым ружьем может убить. Американцы долго думать не будут. Правила игры знали все: где начинают обороняться, туда и падают бомбы. На церкви, школы, музеи. Иногда даже на больницы и сиротские приюты. Он не понимал, как объяснить то, что случилось с Дрезденом, но наверняка и здесь имелась какая-то простая военная причина. Дуло блестело от смазки, приклад был отполирован.

— Все это очень впечатляет, герр Вольмер. Но как человек, стоящий во главе Музея и отвечающий за его сохранность, я вынужден запретить вам оказывать вооруженное сопротивление врагу. Это бессмысленное проявление героизма может подвергнуть опасности все, что здесь хранится. Вспомните Страсбургский собор в тысяча восемьсот семидесятом. Мы обстреляли его только потому, что французы устроили на башне наблюдательный пункт артиллеристов...

— Вы в каком звании, герр Хоффер?

— В каком я звании?

Вахтер постучал пальцем по своей фольксштурмовской повязке. Она была яркая, желто-оранжевая; орел и буквы вышиты фрау Воль-

мер — профессиональной белошвейкой. Повязка герра Вольмера смотрелась намного лучше тряпки, что украшала рукав герра Хоффера.

— Рядовой, — вздохнув, признался и.о. и.о. директора. — И не могу с этим смириться. Я не вхожу в состав вермахта, я гражданское лицо в дурацкой повязке. Вот, в чем правда, герр Вольмер. И ничего тут не поделаешь.

Герр Хоффер стянул повязку, больно задев рану на ладони, и, скривившись, швырнул ее на стол.

— В ней больше нет смысла, — продолжал он. — В данный момент значение имеет только моя должность в этом Музее, и как должностное лицо я прошу вас, герр Вольмер, не совершать самоубийства.

Герр Вольмер, и без того крупный мужчина, казалось, стал еще больше и даже в плечах раздался, заполнив собой полкомнаты. К его лицу прилила краска.

— Хватит с меня повязок, — сказал герр Хоффер, — нашивок и знаков отличия на военной форме. Посмотрите, к чему это нас привело. Без этих дурацких тряпочек нацизм ничего бы не добился. Вот что привело к катастрофе, герр Вольмер, — идиотские вышитые тряпочки! Маскарадные костюмы!

Он даже по столу стукнул. Герр Хоффер и сам не понимал, почему вдруг заговорил в таком тоне. Наверное, все дело в помещении — в этой крошечной и такой уютной комнатенке. Мысль о том, что герр Вольмер все испортит по глупости, из гордости и никому не нужного патриотизма, не давала покоя. Ружье лежало ровно на середине стола и выглядело очень легким, но герр Хоффер знал, какое оно на самом деле тяжелое. От него пахло машинным маслом. Из него можно убить. Ситуацию надо держать под контролем и не надеяться, что все образуется само собой. Герр Хоффер осмелился поднять на вахтера глаза. Герр Вольмер плакал. По крайней мере та часть лица, которую было видно за усами, сморщилась, а глаза блестели от влаги. И. о. и. о. директора это потрясло. Он не знал, что сказать, но обрадовался, что его речь до такой степени проняла герра Вольмера.

Потом герр Вольмер сказал:

— Герр Хоффер, вы предатель. Вы предали свою страну. Вы не хотите защищать родину от чужаков. И плевать я хотел на тех зазнавшихся сосунков, которые вывезли отсюда все, что имело хоть какую-то ценность. Но я люблю свою страну. Никто и никогда не говорил мне того, что сейчас сказали вы, герр Хоффер. Даже в окопах, когда мы замерзали, сидя по уши в грязи, никто и никогда не говорил таких ужасных слов, герр Хоффер.

Герра Хоффера бросило сначала в жар, потом в холод. Лицо горело. Краска стыда неподвластна доводам рассудка. Хуже дело обернуться не могло. Он поднялся, чтобы уйти, не в силах придумать внятный ответ, но герр Вольмер схватил ружье.

— Герр Вольмер, — раздался слабый голос, в котором герр Хоффер с трудом узнал свой собственный, — что вы делаете?

— Я вас расстреляю.

— Пожалуйста, уберите ружье.

— Вы дезертир, — ответил герр Вольмер, кивнув на смятую повязку на столе. — Предатель. Это военное преступление. Я выполняю свой долг.

— Герр Вольмер, американцы гонят нас от самой Франции, и теперь они у Лоэнфельде. Я не вооружен. У меня нет формы. А у них есть танки, пулеметы, гранатометы и бомбы. Моего командира в последний раз видели спешно покидающим город на велосипеде. Я не готов свести счеты с жизнью. А сейчас я отправляюсь на чердак выполнять свой долг.

Ружье дрогнуло. Оно легко может выстрелить, подумал герр Хоффер. Дуло смотрело ему в живот. Воспользовавшись наступившей тишиной, его желудок пронзительно заурчал. Если ружье выстрелит, то по всей комнате разлетится красное, коричневое и, наверное, розовое. У герра Вольмера дрожали руки. Шишковатый палец опустился на спусковой крючок. Какая ужасная смерть. Потом раздался выстрел, и герр Хоффер, падая, ударился головой о стол.

Я читаю Рильке. Его принес мне тот, кто показывает язык. "Если бы я возопил, кто вопль мой услышит в ангельских хорах?"[1]

36

Надо будет найти в их части человечка, говорящего по-немецки, вроде Гарри Шолля, или разыскать немца-переводчика — правда, именно сейчас третий был бы лишний.

И хватит про это думать, решил он. Все порядочные солдаты, мать твою, охочи до трофейного пива, коньяка, яиц, да и неприятельское снаряжение не прочь захватить на память, это только русские с их преступными наклонностями метут все подчистую не хуже фашистов, в том числе и старинные картины. А кража произведения искусства — деяние наказуемое. Современный солдат так не поступает. Он живо представил себе военный трибунал, офицеров-судей высокого ранга. В наступающих частях есть эксперты по искусству, и они присягнут, что капрал Перри ни с какими находками к ним не обращался. Да грош цена всем этим экспертам-искусствоведам, их на войне и не видно, все они, поди, как говорят англичане, подхалимы и захребетники! Они не годятся на роль утешителей вдов, они не заслужили права лазать по подвалам и получить награду за семь месяцев боев. Они-то уж конечно сохранили свои помыслы в чистоте и разговаривают, как сюсюкающие школьницы. Это капрал Перри очерствел до того, что...

Она посмотрела на него. Взглянула — и снова спрятала лицо у него на груди.

Черт, надо как следует все обдумать. Во-первых, следует завернуть во что-нибудь мой замечательный трофей и спрятать его подальше от посторонних глаз. Если меня ранят или что похуже, дело может осложниться. Надо определиться и вести себя соответственно.

Она затихла у него в объятиях. В тяжести ее тела таился грех — Перри стало казаться, что он нагло обманывает ее очкастого мертвого мужа. Бедро женщины упиралось капралу в промежность — чем дольше, тем слаще. Если бы еще так не воняло нечистотами.

1. Райнер Мария Рильке. Дуинские элегии. Элегия первая. Перевод Г. Ратгауза.

Она растворялась в нем, плотно прижимаясь к его верхним ребрам грудями, даже в темноте он видел расстегнутые пуговки платья и белеющее в вырезе белье. Достаточно было протянуть руку, чтобы пощупать твердые, набухшие соски под тонким хлопком. Сколько времени он ухлопал впустую, пока не появилась Морин. Сколько раз, как только дело доходило до решительных действий, в воображении появлялась Софи Макконнелл с изуродованным лицом и горящими глазами, ее сухой волос щекотал глотку, и он терял весь свой запал и давал отбой. Сколько времени потрачено зря... "А много ли его осталось?" — подумал он и разжал губы.

Мой сюрприз касается ее тела — она, наверное, его чувствует, подумал он. Сюрприз — так этот орган назвала Морин, это ее словечко. Однажды вечером они взяли у ее приятеля покататься "студебекер" и по Уотер-стрит выехали из города, и остановились на опушке леса, и из-за холода не стали выходить из машины, заднее сиденье оказалось все в собачьей шерсти, и Морин, забыв стыд, упала на него и, когда эта штука очутилась у нее под юбками, прошептала: вот так сюрприз. Нет, это она потом сказала, когда подмазывала губы.

И вот теперь сюрприз упирается в бедро другой женщины — она глубоко дышит, и ее глаза (надо же!) открыты, в них мерцает пламя далекого костра. Кулачок она засунула себе в рот, словно крошечная девочка.

Перри стало неловко за свое сексуальное возбуждение.

Зверь боролся в нем с сострадающим чужому горю человеком. Не так давно капрал вычитал в какой-то книге, что одна часть нашего мозга несет в себе древнее, первобытное, обезьянье начало, а другая отвечает за проявления высшего порядка, и между ними спокон веку идет борьба. Наверное, в головах у Гитлера и нацистов победил пещерный человек. Может, все потому, что в Европе пещерные люди существовали задолго до Америки, в которой были только индейцы. Даже предки Перри из апачей куда моложе первых европейцев.

Он гладил ее волосы, и ему было стыдно за своих предков, за их примитивные, дикарские замашки, за пронзительные вопли, от которых стыла кровь в жилах, за полуголые тела. Досадно, что он унаследовал их черты лица, разрез глаз и цвет кожи. Люди принимают его за чистокровного индейца. Пару лет назад одна хорошенькая девчонка в белом теннисном костюме сказала, что он — вылитый Джим Торп, выигравший в 1919 году Бостонский марафон (очень мило с ее стороны). Надо было ее пригласить куда-нибудь. Хотя Перри всегда становилось не по себе, стоило только подумать о том, что́ соотечественники сотворили с народом его предков.

Он гладил ее волосы, ее бедро прижималось к сюрпризу. Она замерла, и он не стал отодвигаться, наслаждаясь теплом ее тела.

Например, отец его бабки погиб от рук белых, погнался за конокрадами и угодил под меткую пулю, вмиг выбившую его из седла. Бабушке было всего три годика. Его прадед участвовал в индейских войнах, сражался вместе с Джеронимо[1], а в 1863-м какой-то поганый малолетний конокрад застрелил его. Кстати, в том же году состоялась битва при Гет-

1. Джеронимо (1829—1909) — предводитель апачей, в течение 25 лет возглавлявший борьбу против вторжения американцев на земли племени.

тисберге[1]. Его прабабка умерла за год до этого от холеры, бабушку удочерила семья миссионера, только что прибывшего из Шотландии, так что девочка даже толком не понимала их английского. Бабушка была полуграмотная методистка и занималась домашним хозяйством. Во всей этой истории было что-то постыдное, и Перри так и не понял, что там правда, а что вымысел. Почему, например, девочка не понимала своих приемных родителей, если жила с ними с малолетства? Все было как-то неправдоподобно, как в бульварном романе.

Свою старенькую индейскую бабушку он помнил смутно, разве что ее костлявые руки и запах прокисшего молока. В школе они как-то писали сочинение о своих предках, и он написал, что прадед погиб в битве под Геттисбергом в 1863 году, и ему поставили неплохую оценку, лучше, чем обычно.

Женщина чуть пошевелилась, и Перри прижался щекой к ее виску и прикрыл глаза. Он только успокоит ее. Большего ему не надо. Немного погодя он встанет и займется картиной, за женщину он ответственности не несет. Очутиться бы на пуховой перине без этой паршивой, трущей задницу формы, рваного блохастого одеяла, и музейных развалин, врезающихся в спину. Хотелось лежать голым рядом с этой женщиной на мягкой кровати.

Даже штаны на нем чужие. Кромки карманов обтерханы, в одном он обнаружил кое-как смотанные засохшие бинты. Когда тебя ранят, врачи сдирают с тебя форму, точно упаковку с подарка.

Он не мог понять, с чего это людям приспичило снова и снова гонять на музыкальном автомате пластинку "Война"?

Перри стал целовать лицо женщины, их губы соединились, стало хорошо и тепло, а все остальное исчезло.

Счастье – это заснеженный горный хребет где-то вдали. Сейчас он позади. Чтобы вновь оказаться перед ним, всего-то и нужно, – свернуть в глубокое ущелье. Но я не могу свернуть. Что-то толкает меня вперед, я не могу свернуть.

37

Он очнулся на полу, зажатый между стулом и дверью, под подушкой Каспара Фридриха, которая упала на него сверху.

Сначала он не мог понять, где находится. Потом ощупал живот. Целый. Пожалуй, он вообще не ранен. Герр Хоффер не помнил, что произошло, может, упал в обморок, а может, сам бросился на пол. Лоб болел, но открытой раны не было. Он выглянул из-за стула. Герр Вольмер, с ружьем в руках, смотрел в окно.

– Идут, – произнес он.

Герра Хоффера охватила радость, а не страх. Не обращая внимания на тошноту, он подскочил к окну. Солдаты толкали большую телегу к постаменту разбитой статуи бюргера. Это были не американцы. Свои, в серой форме. Артиллерия.

На телеге была криво установлена пушка с очень длинным стволом. Герр Хоффер прищурил глаза, едва различая за грязными стеклами оч-

1. Самое кровопролитное сражение в ходе Гражданской войны в США.

ков черные нашивки на воротниках и рукавах — ну, конечно, войска СС. У одного рука на перевязи, второй хромает. Двое без касок. Еще один стоял в отдалении от прочих, ближе к Музею, направив винтовку в сторону улицы. Это он стрелял, а вовсе не герр Вольмер. Солдат выстрелил снова, потом вгляделся вдаль. Может, американцы уже так близко, что в них можно попасть. Или он стреляет в пустоту. Остальным никак не удавалось развернуть телегу, видимо, орудие было слишком тяжелым. Им не хватало лошади, хотя бы пони. Длинное дуло уставилось на Музей.

— Что они делают, герр Вольмер?

— Занимают боевую позицию. На противотанковую похоже. Артиллерия, наши, эсэсовцы. Видать, без колес остались. С ними вечно что-то не так. Похоже на двенадцать-восемь с "Королевского тигра", как вы думаете, герр Хоффер?

Герр Хоффер признался, что для него все противотанковые пушки одинаковы.

— Мощная штука эта двенадцать-восемь, — продолжал герр Вольмер. — Думаю, это она, да. Они защищают позицию, герр Хоффер. Со стратегической точки зрения, тут место хорошее. Широкий обзор на обе улицы. Пьедестал из цельного камня, кстати. Идеальное укрытие. Теперь-то уж мы без боя не сдадимся.

Их было всего десять-двенадцать человек. К неимоверному облегчению герра Хоффера после нескольких минут криков и ругани пушку развернули дулом от Музея. Удивительно, что они не додумались использовать Музей как укрытие. В башне, к примеру, получилась бы идеальная снайперская точка. Правда, если она обрушится, это — конец. Передняя часть телеги внезапно развалилась, дуло глухо лязгнуло о мостовую; удар оказался настолько сильный, что даже герр Хоффер почувствовал, как вздрогнула земля. Передние колеса телеги теперь валялись рядом. Одного из солдат, похоже, придавило, и он лежал неподвижно, остальные же продолжали кричать и ругаться, не обращая на него внимания.

Солдат так и не поднялся. Его товарищи общими усилиями стащили пушку с разбитой телеги и установили на краю постамента, в том самом месте, где белый мрамор сменялся каким-то другим, серым камнем, скорее всего гранитом. Постамент был идеальной высоты — в мирные времена люди усаживались на него передохнуть. Когда-то это было излюбленным местом пьяниц, они горланили здесь песни или тихо сидели, уставясь в небо.

Ситуация казалась отчаянной. Трупы людей, погибших от взрыва бомбы, угодившей в памятник и разбившей витраж Клюге, так и лежали на улице, задрав кверху локти, будто заслоняясь от чего-то; лица были опухшие и черные, а туда, где валялись ошметки того, что мясник назвал бы требухой, герр Хоффер вообще старался не смотреть. Пушку установили над воронкой, направив длинное дуло на улицу, уходившую в центр города.

Герр Вольмер был невероятно взволнован. Он взмок, нос, нависавший над огромными усами, блестел от пота. Смачно чихнув, вахтер задернул кружевную занавеску.

— Все еще хотите поднять белый флаг?

Герр Хоффер покачал головой.

Вахтер поправил островерхий шлем — поверхность его была исцарапана, но все равно блестела от ваксы.

— Можно мне сходить к ним и узнать последние новости, герр Хоффер?

— Будьте осторожны.

— Ну, в нас-то они из пушки палить не станут.

— Меня беспокоят эсэсовцы, а не пушка.

— Меня они не обидят, герр Хоффер. Я такой же солдат, как они.

Хоффер остался на страже у главного входа, заперев дверь за вахтером, когда тот вышел. В большое зарешеченное окно ему было прекрасно видно, как герр Вольмер в съезжающем на уши шлеме и хлопающей на ветру шинели, сжимая ружье, захромал к эсэсовцам, занявшим позиции вокруг противотанковой пушки. Герр Хоффер не удивился бы, если бы вахтера пристрелили без разговоров, но они только рассмеялись. Герр Вольмер щелкнул каблуками и поднял руку в гитлеровском приветствии, от этого стало только хуже — ответный салют они отдали, покатываясь от хохота. Может, они пьяны, как пьяницы, когда-то горланившие тут песни, задрав голову к солнцу.

Несколько минут спустя он вернулся.

— Ну что?

— Сопляки они, вот что. Никакого уважения.

— Они знают, что умрут.

— Мы тоже это знали тогда, в окопах. Но мы никогда не теряли уважения к старшим. Это плохой знак.

Они вернулись в комнатушку герра Вольмера. Вахтер снова встал у окна.

— Очень плохой знак, — повторил он. — Значит, фюрер потерял хватку. Ни приличий, ни уважения. Двенадцать лет нас уважали. Теперь все кончилось.

— Мой отец сказал бы вам, что традиционные ценности умерли уже в восемнадцатом году. Поэтому партии и пришлось наводить порядок. Я пойду проверю чердаки.

— В общем, у одного из них не до конца отшибло вежливость, и он рассказал, что пять-шесть частей из его дивизии укрепились в городе, а врага прижали на Крайбургском холме.

— Американцы наступают по шоссе?

— Задерживаются из-за засад. Засады наносят врагу большие потери. В основном рядовые СС и люфтваффе, зато хорошо вооруженные. Ждут в замаскированных окопах, пока часть пройдет, и бьют в спину. Вот где мы с вами должны быть — бить им в спину из последних сил.

Герр Хоффер кивнул, его охватило смятение вместе с внезапно всколыхнувшимся патриотическим чувством.

— Герр Хоффер!

— Что, герр Вольмер?

— Разве я похож на замученного геморроем молокососа?

Когда герр Хоффер оставил вахтера, тот разглядывал себя в крошечном зеркальце, вклеенном в горный вид на Кенигзее. Так ли уж надо обходить чердаки? Наверное, надо. Долг! Впрочем, герр Хоффер не представлял себе, что станет делать, если там и вправду что-то загорится или если он найдет неразорвавшуюся бомбу, застрявшую в балках. Воду давно перекрыли, а ведер с песком не было, потому что все ведра конфисковали и переплавили на танки. Вряд ли он смог бы дозвониться в противопожарный

отдел Sicherheits und Hilfsdienst[1], к тому же они наверняка вместе со всеми на Крайбургском холме – или бегут, тоже вместе со всеми. Герр Вольмер настаивал, что должен пойти наверх сам, но герр Хоффер и слышать об этом не хотел. У и. о. и. о. директора еще осталось немного гордости.

– С крысами справиться очень просто. Постучите лестницей об пол, как будто армия наступает. Они и попрячутся, – напутствовал его герр Вольмер.

Герр Хоффер поднимался по главной лестнице, хотя и сам не знал, зачем он это делает. Про крыс он старался не думать. В любом случае обратный путь пролегал мимо комнаты с коньяком.

Противотанковая пушка – это катастрофа. Американцы ее или с воздуха разбомбят, или из миномета расстреляют. А до Музея всего десять метров. Эсэсовцы, естественно, отступят внутрь здания. Этого он больше всего опасался. Музей превратится в поле боя – там герру Вольмеру с его ружьишком самое место! Конец войны... ему внезапно представилось огромное полотнище, которое пытаются протянуть через крошечное колечко из тонкой рисовой бумаги. Только волшебнику под силу сделать так, чтобы мир не разлетелся на куски.

На третий этаж он шел по черной лестнице, с каждой ступенью поднимаясь все медленнее, мрачнея с каждым шагом. Он не трусил, скорее был удручен. Надо бы радоваться, что американцев задержали, но он не мог. Это всего лишь продлевало агонию.

Жаль, что у него нет каски. Герр Хоффер чувствовал себя чуть ли не голым. Каска ему полагалась, но их не выдали. На прошлой неделе во время рейда он видел человека с дуршлагом на голове! Просто деревенская мистерия какая-то. Как то милитаризированное действо в агитпроп-кабаре в Берлине много-много лет назад, где вместо мечей и шлемов были кухонные принадлежности. Он посмотрел спектакль с большим удовольствием – вспомнились табличка с надписью "Katakombe", девушка с саксофоном и длинное стихотворение, которое читал сам Фриц фон Штернберг.

Коридоры верхних этажей были темные и заброшенные. На первый чердак вела приставная лестница со стальными перилами. Герр Хоффер вспомнил, что ею надо постучать об пол. Остановившись, чтобы отдышаться, он услышал, как наверху кто-то ходит.

Может, Густав Глатц? Не крыса же. Точно шаги, а не шуршание лапок.

Наверняка Густав, больше ведь некому, так? За последние двенадцать лет он не раз натыкался на беднягу Густава, бродившего по коридорам после закрытия Музея. И неудивительно. Бедный старина Густав, такой блестящий ученый, перед ним открывалась такая карьера. Его работа о нюансах штриховки запястий у Рафаэля была образцовой. Даже Бендель так думал.

Да что с того, что думал или не думал Бендель?

На герра Хоффера снова накатила тошнота. Лестница тянулась вверх, точно склон Эвереста. Если бы Густав не сорвал тот предвыборный плакат. Нет, если бы его не заметили те двое штурмовиков. Плакат

1. Аварийно-спасательная служба (*нем.*).

был ужасен, Гитлер взирал с него, как разъяренный демон. Густав разорвал его посередине — это было так просто, ведь его наклеили прямо поверх служебного входа! Огромный Гитлер, разорванный пополам, как будто выглядывал из-за угла. Курт Швиттерс мог бы сделать подобную инсталляцию и назвать ее, скажем, "Doppelgänger"[1]. Но нет, то было не произведение искусства, а предвыборный агитационный плакат. Выборы узаконят вступление сумасшедшего цирюльника на пост канцлера. Это ведь говорил Густав, верно? Вступление цирюльника на пост канцлера. А ведь он даже цирюльником не был, просто так выглядел. И вообще, начинал художником. Рисовал открытки. Подумать только. Весьма посредственный акварелист. Венский бродяга, ночевавший по притонам и продававший акварели, как торгаши — пластиковые воротнички, плохо сшитые сумочки и отсыревшие сигареты.

Раздались крики, и на беднягу Густава накинулись двое. Он и понять ничего не успел.

Ах, если бы его не избили так страшно! Герр Хоффер через открытое окно своего кабинета видел самый конец, он услышал звук, похожий на тот, с каким собака вгрызается в кость, и успел заметить, что на одном из штурмовиков не кожаные сапоги, а деревянные крестьянские башмаки. Носки у него были рваные, и в дырках виднелись грязные пятки. А потом бандиты скрылись. Нет, не убежали, а спокойно удалились, довольно посмеиваясь. Тридцать секунд — и готово. Точно не больше минуты.

Бедняга Густав. Его было не узнать. Казалось, он прокусил собственную губу.

Наверняка он, решил герр Хоффер, ступив на скрипучую лестницу. Покажет мне язык и промычит что-нибудь бессмысленное и нечленораздельное. Все-таки очень утомительно быть любезным с беднягой Густавом. Герр Хоффер чуть не забыл постучать лестницей, до того был уверен, что наверху не крыса.

Почти так же утомительно, как быть любезным с членами партии.

Жизнь, если уж на то пошло, подумал он, вообще штука утомительная.

Меня попросили днем не ходить. Вылезти из норы можно, а ходить туда-сюда — нет. Я совсем как буйвол, везущий повозку с собственным дерьмом. Всё указывает на то, что вы ждете меня где-то совсем близко.

38

Перри больше уже ни о чем не думал. Он сдался. Позволил желанию захлестнуть себя. Как бы логично и строго ни выстраивал он линию своего поведения, вожделение все спутало. Прямая линия задрожала, расплылась, стала неровной, колеблющейся, все сомнения отпали, и он задрал женщине юбки. Она засмеялась. Засмеялась! Какого черта она смеется? Рехнулась? Он ничего уже не опасался, хотя их и предупреждали сопляки медики. Совладать с собой он уже не мог. Пошли они со своими предупреждениями. Заводь, отсветы костра, он плывет на каноэ.

1. "Двойник" (*нем.*).

"Студебекер" покачивается, на сиденьях собачья шерсть. И никакой Софи Макконнелл.

Перри так торопился добраться до ее груди, что чуть не до самого подола разорвал ей платье. Он целовал ее грудь, которая слегка пахла жвачкой — запах его собственной слюны, — брал губами то один сосок, то другой, впивался в них точно младенец. Да он и был изголодавшийся младенец. А она все смеялась, прижимая к своей гладкой, упругой груди его голову.

Где-то на краю сознания, в самом его уголке возникла глумливая физиономия и, пуская пузыри, прошептала: *Видно, этот тип в очках не очень-то ее удовлетворял.*

Зато Перри так в этом преуспел, что они чуть богу душу не отдали.

С балки они соскользнули вниз, прямо на битый кирпич. Город твой, город твой, и девчонки твои. То, что осталось от города, мелкими камешками сквозь одеяло впивалось ему в задницу, в спину, но Перри этого словно не замечал; скакавшая на нем женщина неистовствовала, точно фурия. Они умирали от наслаждения и в то же время смеялись. И кричали.

И плевать им было на то, что их могут услышать.

Он знал, что больше между ними ничего не будет, это — первый и последний раз. Пока он не занялся с ней любовью, она казалась ему совсем некрасивой. Но ведь и Моррисона он не любил, пока тот не умер и его кровь не залила эти треклятые ступеньки и незамощенную часть дорожки. Когда-то они повторяли: немцы, мол, разобщены, у них нет связующей нити, — Перри где-то это вычитал, — но теперь они уже так не считали и о немцах говорили: они такие рационалисты и спайка между ними из железа и стали. А Перри убедился, что эта спайка вовсе не из железа и стали, что их не обязательно сразу закидывать фосфорными бомбами, будто наступил понедельник — день ковровых бомбардировок. Он и не думал брать в рот Моррисонов волос, но этот болван с ног до головы забрызгал его своей кровью, а эта женщина стонала от страсти, сжимая его в объятиях. Ее разметавшиеся волосы занавесом закрыли их лица.

Но ему почему-то вдруг стало худо. Заездила она его. Совсем вымотала. Такое бывает, пришло в голову Перри, когда решаешь покатать хорошенькую девушку на "студебекере" по Уотер-стрит. Они тогда, помнится, всю шерсть с сиденьев собрали. Он-то знал, что это была за собака. Такая огромная и толстая, что там, где она любила полежать, на ухоженном газоне в нескольких ярдах от тротуара, даже вмятина образовалась.

Моррисон тут ни при чем. Все из-за этой гребаной инфекции, от которой как огнем жжет каждый раз, когда писаешь. Они ведь даже белье поменять не могли — те еще условия! А еще этот понос. И обломки музея, врезающиеся в задницу, и вся эта гребаная война. Перри отодвинулся от женщины. Она свое уже получила.

Женщина снова прижалась к нему, лаская его рукой. В глазах у нее сверкали слезы. Черт, пришлось ее остановить. Очень уж болело. Он натянул штаны, а она чисто женским движением одернула платье. И то, что было неопределенным, расплывчатым, стало опять превращаться в прямую линию.

Она лежала рядом на одеяле, положив руку ему на грудь, смотрела вверх и время от времени слегка вздрагивала, будто только что плакала,

а не смеялась. Они не могли поговорить — ведь она была немка, а он американец, но все равно никаких секретов между ними не осталось. Перри узнал ее секрет, познав тайный жар, скрытый под ее прохладной кожей... Внезапно вспыхнуло оранжевое зарево, он повернулся и посмотрел на нее — где-то неподалеку разгорелось пламя, сдернуло покров мрака с разбомбленного дома, осветило ночное небо... совсем как огонь из труб нефтеперерабатывающего завода у Перри на родине.

Не такая уж она некрасивая — прямой нос, четкая линия тонкого рта. В блестящих глазах отражается подсвеченное оранжевыми всполохами небо. Вскоре огонь погас, небо опять застыло и потемнело, а ее задумчивое лицо почти растворилось во мраке. Похоже, мысли ее вертелись вокруг того, о чем он предпочел бы ничего не знать.

Разрушенный торец Музея, как белая скала, возвышался во тьме — на его фоне ее профиль казался вырезанным из черной бумаги. Да, начинать надо с профиля, потом написать небо и только после него фронтон. Если, конечно, это не акварель, там свет идет от бумаги, а не от красок. Если бы пришлось писать акварель, профилем следовало бы закончить. Ему захотелось вдохнуть аромат льняного масла, скипидара и сыра, кусочек которого он всегда пристраивал рядом с палитрой. Он подавал рапорт, чтобы его назначили фронтовым художником, но начальство отвергло притязания рекламного мазилы, умеющего рисовать только тарелки с макаронами и девушек, курящих "Кент" у водопада. На самом деле торец был не таким уж светлым — это только по контрасту на его фоне лицо женщины казалось совсем темным. Перри знал секрет: тени должны быть глубокими, иначе свет будет непохож на свет, и полутона не заиграют, и люди не скажут, — какая замечательная работа, как верно схвачено, даже видно, что ее губы чуть влажные, и в глазах отражается душа. Господи, сколько же губ, зовущих к поцелуям, и грудей, упругих и соблазнительных, не слишком больших, но и не слишком маленьких, а так, чтобы в самый раз, ему пришлось рисовать для разных журналов; и все же, халтурщиком он не был. Он так и сказал начальству, когда его вывели из себя. А сейчас у него возникла одна идея.

Он поднялся сам, поднял свою даму, и вдвоем они осторожно пробрались между больших мраморных плит и направились к белеющему торцу здания. Перри взял обуглившуюся деревяшку и нацарапал на стене черные фигурки. Светила луна, стояла ясная апрельская ночь, глаза освоились с темнотой — фонарик Моррисона не потребовался.

Несколькими штрихами Перри изобразил фигуру мужчины в больших круглых очках, рядом с ним — женщину в платье и с распущенными волосами, а чуть подальше — знак вопроса. Пальцы его почернели, но с работой справились легко.

Перри понимал: нужно было бы каждый день делать зарисовки военных будней, а он один-единственный блокнот никак до конца не заполнит. Товарищи заливают канистры, штатские тащат кофры, раздувшиеся трупы, сожженные остовы армейской техники — чем не темы для эскизов? И вот твоя физиономия уже глядит со страниц журналов.

Она закивала, схватила уголек и написала: "Heinrich, mein Mann" под мужчиной и "Sabine" под фигуркой женщины. Помедлила и добавила: "Herr und Frau Hoffer".

— Отлично, — одобрил Перри. Он готов был побиться об заклад, что при помощи этой злосчастной обуглившейся деревяшки они могли бы замечательно поговорить о погоде, о модах, об истории философии. Но она его идеи не поняла.

Она двумя чертами перечеркнула *Herr und* и разрыдалась, и Перри пришлось обнять ее. Она была вдова. Подтверждение вот, перед ним. И не требуется никакого штампа в документах.

Они были совершенно одни на развалинах Музея, никто не мог их видеть. Она никогда никому не желала зла, и он никогда никому не желал зла. Он тихонько баюкал ее, закутав в свое шерстяное одеяло.

Немного погодя он нарисовал на стене фигурки поменьше и поставил пару вопросительных знаков. Она дрожащей рукой начертила двух девочек. Затем уперлась лбом в стену, прижала руку ко рту и закрыла глаза. Похоже, молилась.

Она застыла в этой позе, а Перри не знал, как ей помочь.

"Господи милосердный, — просил он, — сделай так, чтобы ее дети не погибли, она ведь и так уже овдовела. Для женщины, потерявшей своих детей, нет даже официального наименования. Такому горю нет названия. Ад кромешный, и даже хуже".

Он только подумал об этом, и ему уже стало дурно. Одного взгляда на окружавшие их руины было довольно, чтобы понять, что это вполне вероятно. Даже почти наверняка так оно и есть, и он не может от этого отмахнуться.

И тут в проломе стены он увидел ухмыляющегося безумного клоуна. Демона. Зрелище было таким нелепым, что потрясло его до глубины души.

Существо скалилось, высовывало язык и было абсолютно белым.

Здоровяк с кайзеровскими усами поднялся ко мне снова, принес зеркало, хлеб и воду, забрал ведро. Сегодня он в первый раз заговорил со мной. Когда-то в окопах еврей спас ему жизнь. Я буду его душевнобольной племянницей. Я не пишу имен, иначе все они умрут. У меня ведь тоже больше нет имени.

39

Последние ступеньки он преодолел с осторожностью, памятуя о том, как однажды ударился головой о балку. Про крыс он старался не думать. Мысли о бедняге Густаве даже несколько успокаивали.

Герр Хоффер тихонько позвал Густава по имени.

Тишина. Бормотание и вздохи войны. Удивительно, как ко всему привыкаешь.

Переведя дыхание, он дожидался, пока глаза привыкнут к чердачному полумраку. На стропила архитектор пустил цельные стволы, даже не очищенные от коры. Тут пахло мышами, но против мышей он ничего не имел. Крысы пахнут совсем по-другому. В редкие слуховые окошки пробивался свет, казавшийся почти осязаемым от пыли, которая поднималась с каждым его шагом. Не чердаки, а мрачные древние храмы.

Он шел по ним как смиренный монах. Сюда звук бомбардировки доносился как странный далекий ропот — как молитва, как стенанья нибелунгов из зеленой бездны взывающих к Гудрун.

"Жизнь, — подумалось ему, — безбрежная река". Как бы ему хотелось побывать в Исландии, и в Перу, и в Египте!

На первом чердаке все было спокойно. Кто-то прошмыгнул мимо, испугав его на мгновение, но он сообразил, что это мышь, и даже обрадовался. Мыши (как и крысы) бегут только с тонущего корабля — чердаки с их стропилами напоминали ему перевернутые корабельные трюмы, трюмы огромных галеонов. Мыши — они ведь такие же, как и их злейший враг Каспар Фридрих. Они бы почуяли землетрясение и хлынули бы из Музея рекой.

Без сомнения, американцы уже вступают в Лоэнфельде. Надолго их не задержишь.

Ему бы сидеть дома с семьей. И с тремя чемоданами на всякий случай.

Но американцы ведь люди разумные. Это большевики — дикари. Азиатская орда.

И вообще, что он здесь делает, под самыми небесами? Ах да, исполняет свой долг. От этой мысли ему стало чуточку легче.

Надо убрать со здания все партийные плакаты. Растяжка тоже может спровоцировать американцев. Он слышал от беженца, который сам это видел, что они стреляют по дверям, когда хотят освободить дом от его обитателей. А по радио говорили, что они грабят, насилуют, убивают, бомбят и сжигают целые города и деревни. Но, возможно, это обычное партийное вранье.

Как минимум надо снять растяжку со свастикой. Эсэсовцам ее не видно, она смотрит на пустынную улицу Графа Мольтке за Музеем. Растяжка появилась на самой незаметной стороне здания после полуграмотного письма местного ортсгруппенляйтера (банкира на пенсии и алкоголика). Флаг на башне так и не подняли. Ортсгруппенляйтера вскоре сняли за растрату.

Видите ли, капитан Кларк Гейбл, чтобы не подставляться, нам приходилось проявлять изобретательность. Вы не представляете, какие посредственности управляют партией. Но у них в руках кнут! Двенадцать лет они размахивают им — всего лишь миг в истории нашего народа и целая вечность, если ты сам живешь в этот период. Опасно было даже водить детей к врачу. Вы спросите, почему, капитан Гейбл? Потому что приходится с прискорбием признать, большая часть врачей была из партийных. А то, что говорят дети, контролировать невозможно. Да, я снял эту чудовищную растяжку с огромным риском для жизни. Не только моей, но и всей моей семьи. Как же они любили наказывать целые семьи! Спасибо. Я с удовольствием попробую вашу жевательную резинку. Вы очень добры.

Он покинул первое чердачное помещение и перешел в следующее. Несмотря на то что на чердаках было сухо и просторно, здесь не хранили ничего стоящего. Картинные рамы, сломанный шезлонг, чей-то заляпанный краской комбинезон, сто лет назад забытый на гвоздике, пара старых башмаков, проржавевший крест с кладбища, разрушенного во время бомбежки, большие пустые бочонки, уложенные в ряд, тресну-

тая супница. Курт Швиттерс сделал бы из этого скульптурную композицию. Новую версию *Мерца*![1]

Все это ненужный хлам. Годится только на растопку. Уже на третьем этаже большая часть помещений пустовала. "Кайзер Вильгельм" был рассчитан на город покрупнее Лоэнфельде, а может, основатели Музея надеялись, что со временем все его помещения заполнятся, сокровища будут постепенно накапливаться в этой жемчужине кайзеровской Германии, как зерно в амбарах. Время же, наоборот, опустошило Музей.

Эти пустоты под грубыми стропилами казались ему глыбами льда. А все, что было ценного в "Кайзере Вильгельме", что было спрятано на соляном руднике и в подвалах, представлялось ему теперь чем-то нереальным.

Он открыл маленькое смотровое окошко, врезанное в крышу, – с какой заботой архитектор спроектировал это здание в 1904 году! – и опасливо выглянул наружу: мешанина крыш, шпилей и фронтонов, из которой тут и там поднимались черные столбы дыма, постепенно превращаясь в коричневатую дымку. В прохладном воздухе пахло гарью – и только. Идеальная снайперская точка. Идеальный наблюдательный пункт для артиллерии.

Бомбы, видимо, падали где-то в другом квартале. Герр Хоффер не позволял себе думать о том, что могут бомбить именно его квартал, где в убежище Сабина, Эрика и Элизабет, сидят скорчившись, со своими чемоданами, но отделаться от этой мысли не удавалось. Он с силой захлопнул окошко, словно это могло что-то изменить. Чуть в отдалении покатый потолок чердака упирался в низкую каменную стену – там, где крышу прорезала башня.

Он споткнулся о яблочный огрызок.

Свежий. Как странно! Возможно, герр Вольмер утром сам тут все проверял. Хотя герр Хоффер был уверен, что хромой вахтер никогда так высоко не забирался.

Густав, подумал он.

И снова позвал его по имени. Тишина. Но Густав Глатц не опасен. Густав Глатц совсем как дитя.

А вдруг это не Густав?

Бесконечно долгую, ужасную секунду ему казалось, что кто-то здесь прячется – еврей, коммунист, не важно кто, и его охватил ужас. Даже теперь, в самом конце войны, это сулило серьезные неприятности. От одной мысли его бросало в дрожь. С этими беженцами столько проблем: спасая себя, они подвергают опасности всех окружающих. Какой эгоизм! Не то чтобы он их в чем-то винил, лично ему евреи никогда не мешали. Его лучшее пальто сшил старый Мордехай Грассгрюн с улицы, которая теперь называлась Фриц-Клингенберг-штрассе, и сшил тогда, когда партия уже пришла к власти. Это, а также то, что в прежние времена он поддерживал еврейских художников, он может записать себе в актив. Правда, об их национальности герр Хоффер особенно не задумывался, в первую очередь они были для него художниками.

1. В 1919 г. в один из ассамбляжей Швиттерса попал из названия "Коммерц-унд приватбанк" слог "мерц" и стал понятием, объединяющим все проявления творческой деятельности художника.

Он надеялся, что Мордехай вернется и сможет подтвердить его слова. Хотя, вероятно, память у старика уже не та. Разумеется, условия в лагерях не самые лучшие. Лагеря — это вам не Сан-Морис[1].

Его давно тревожила мысль: а что, если гестапо найдет где-нибудь в шкафу беглеца и во всем обвинит сотрудников Музея. Тогда прощайте, картины. Да и сотрудники тоже.

С другой стороны, хорошо спрятанный еврей — это страховка на случай, если рейх рухнет и придет враг. Это понимали многие. Ну что ж, напомнил он себе, враг уже у ворот. Хотя фанатичные стопятидесятипроцентные партийцы сейчас особенно опасны, потому что загнаны в угол.

По слухам, свой, личный еврей был припрятан на черный день у многих партийных шишек.

Но его бы это не спасло, слишком он мелкая сошка. Его бы сразу отправили в Дахау, если не куда похуже. И тогда с картинами он бы распрощался навсегда.

Герр Хоффер, содрогнувшись, бросил огрызок через плечо. Его тошнило от яблок, от ежедневного размазывания на хлебе яблочной компотной гущи вместо меда, малинового или апельсинового джема. Мед! Апельсин! Лимон!

Разорвался артиллерийский снаряд, будто кто-то ударил ложкой по вареному яйцу. Совсем близко. Как все это надоело. Пожалуйста, идите играть куда-нибудь еще. Не дай Бог окно разобьете.

Капитан Кларк Гейбл, в какой-то момент я так волновался, что вы представлялись мне непослушным мальчишкой с мячиком. Спасибо, я с удовольствием выпью стакан вашей знаменитой кока-колы. Да, мои дочки тоже выпьют ее с удовольствием. Эрика и Элизабет. Полагаю, в Америке эти имена тоже встречаются. Хм-м, как вкусно. Совершенно особенный вкус. Позвольте угостить вас отменным коньяком.

И все же эти чердаки прекрасны! И так будят фантазию! Он пробежал пальцами по балке. Ах, как он любил этот запах дерева! Какой он настоящий! И чем больше герр Хоффер сосредотачивался на чем-то конкретном, наблюдая, как свет, падая на ту или иную поверхность, прорисовывает структуру и неповторимость материала, тем сильнее чувствовал, что уничтожить это нельзя. Просто невозможно.

Поглаживая балку, он вдруг ощутил прилив радости, в его усталых глазах словно зажегся негасимый огонь. После войны он откроет эти чердаки молодым художникам, пылким идеалистам, без галстуков, без гроша в кармане, которые со временем станут зачинателями новых великих направлений в искусстве, как некогда группа "Мост" в Дрездене. Кирхнер, Блейль, Шмидт-Ротлуфф, Нольде... Цитируя Заратустру, перескакивая через ступеньки, они будут взбегать на свои чердаки, полные замыслов и надежд, а окопы им даже в страшном сне не приснятся. Эти имена были для герра Хоффера как четки — он повторял их мысленно одно за другим, будто слова молитвы. Без сомнения, когда-нибудь, в мире, очищенном от того, что национал-социалисты сотворили с Германией, они прославятся как великие художники.

Прилив вдохновения заставил его сердце биться чаще, душа взметнулась ввысь на крыльях чудесной песни Мендельсона-Бартольди на

1. Сан-Морис — знаменитый горнолыжный курорт в Швейцарии.

слова Гейне — какой взлет духа! Волнение и страх последних часов, неотвратимый приход американцев — все ошеломляло его; стоя на втором огромном чердаке рядом с башней, он воображал: это — то пространство, которое открыто всему миру, всем его здоровым модернистским течениям, а эти крепкие, покрытые корой стропила из прекрасных немецких лесов будут поддерживать новейшие, интереснейшие тенденции искусства. Ах, как он мечтал об этом! Он уже видел, где будут огромные световые люки. Не символично ли пробить окна на восток? Не станет ли это знаком надежды? Восходящее солнце, первыми лучами озаряющее лица юных художников за работой.

Он представил себя согбенным старцем, навещающим уже прославившиеся чердаки, а пылкие юноши, заляпанные краской, грунтовкой или лаком, стоя рядом со своими замечательными работами, встречают своего благодетеля аплодисментами. Герр Хоффер положил обе руки на огромный ствол центральной балки и, уронив голову на ствол, застонал от внезапно нахлынувшего счастья. Все его волнения улетучились или трансформировались в странные, внезапные, вдохновляющие видения.

Студии Лоэнфельде!

Он глубоко вздохнул и, похлопав балку, как старого друга, побрел дальше, что-то бормоча себе под нос, как с ним часто случалось, когда он был один и взволнован. Может, колечко рисовой бумаги и не порвется. Может, случится чудо и посетившее его видение станет явью. А как иначе, ведь он всегда умел находить выход из трудных ситуаций! Ведь большинство музейных шедевров до сих пор в сохранности именно благодаря его дальновидности и изобретательности!

Все еще может кончиться благополучно, подумал он. Вероятно, раскаянием и смирением им удастся смягчить возмездие. Возможно, им — обычным немцам — придется встать на колени и есть траву в знак покаяния, дабы спастись от библейской мстительности евреев. В Польше куда хуже, ведь туда поползут, как муравьи в разоренный муравейник, миллионы обездоленных. Да, он готов в знак раскаяния упасть на колени и есть траву, чтобы укрыть свою семью от гнева сынов Израиля! Он, наконец, наденет пальто, сшитое стариком Мордехаем.

А потом можно будет взяться за настоящее дело — и создать все заново.

Когда крыша содрогнулась от мощного удара и воздух наполнился пылью, поднятой взрывной волной, это было как оскорбление, нанесенное его чудесному видению.

Мы так и не попрощались как следует. Я не оглянулась, когда бежала к воротам мимо грушевого дерева.

40

Физиономия с высунутым языком ухмыльнулась и пропала, покачнувшись, словно луна в просвете между тучами (на самом-то деле луна не качается, так только кажется из-за бегущих туч). Но это было именно лицо, живое лицо, и верный признак того, что оно живое — оно

двигалось, гримасничало. Мертвое лицо неподвижно. Разница между ликом живым и ликом мертвым бесконечно мала, но в ней-то все дело. Спящий человек, если пристально смотреть ему в лицо, через минуткудругую непременно дернется, и станет ясно: парень, рухнувший на землю, даже не прикрывшись одеялом, просто смертельно устал.

Белая физиономия с высунутым языком исчезла, а он все сжимал в руках винтовку, не понимая, почему не закричал. Может, потому, что страх накатывает волнами, и он ждал, что физиономия опять ухмыльнется.

Вот когда ты думаешь, что американский паренек спит, а он, на поверку, оказывается мертвее, чем твоя прапрапрабабушка, с которой тебе никогда не доведется свидеться на этом свете, тогда на самом деле делается жутко. И ты думаешь: "А ведь его родные еще ничего не знают. Я узнал об этом раньше них. А ведь я его совсем не знал". Ты и не предполагаешь, что то же самое будешь думать о немце, когда наткнешься на мертвеца, который вовсе не пытался тебя убить, и в голову лезет: "А ведь его родные еще ничего не знают". Ты даже представляешь, как его чертова ничего не ведающая мамочка преспокойно моет посуду. А потом, когда сталкиваешься с вполне реальной матерью и маленькими детишками, которые не могут заснуть от страха, то делается так тошно и невыносимо, что ты замыкаешься, запрещаешь себе думать обо всем этом дерьме, перешагиваешь через него и идешь дальше.

Вот и сейчас Перри вдруг понял, что устал от свихнувшейся вдовы, рыдающей у стены. Чувство самосохранения должно сделать его равнодушным. Он просто не может себе позволить ничего другого. Безумная белая физиономия с высунутым языком потрясла его до глубины души.

Однажды под Люксембургом он провел ночь в доме без крыши, в холле лежали прикрытые брезентом пять мертвых солдат, не из их части. Комнаты наверху засыпало снегом, в разбитые окна холла тоже намело, но задние комнаты первого этажа уцелели. Они разожгли в камине огонь, отбрасывавший на стены причудливые тени, запалили самодельные коптилки из гильз от снарядов, и отварили проросшую картошку и ели ее с сухим концентратом рагу. Выпивки в доме не нашлось.

Зато было фортепиано, почти не расстроенное. Две немецкие дамочки за тридцать, хорошо одетые и пышногрудые, сначала спели по-французски и по-английски несколько шлягеров, а потом ушли с мужиками в другую комнату. Там тоже горел огонь. Это была столовая, в центре — дубовый стол на больших крепких ногах.

Перри туда не пошел. В комнате осталось еще шесть-семь ребят, то ли слишком застенчивых, то ли измотанных, то ли слишком правильных и верных воинскому долгу, а может, им просто не приглянулись эти бабенки; они сидели и смотрели в огонь, испытывая чувство превосходства и стыда одновременно.

Сквозь стену и дверь доносились недвусмысленные звуки: за плотными обоями не спрячешься. Все молча курили.

Курили, пока языки не защипало. Некоторые ухмылялись, другие не отрывали взгляда от пламени. Прыщавые, с беспокойно бегающими глазами мальчишки восемнадцати-девятнадцати лет, их время на подоб-

ные развлечения уже пришло, но они поначалу сидели тихо. Перри пошевелил кочергой дрова, куски деревянных деталей зашипели, горящее дерево пошло пузырями, коричневыми — лак или краска, черными — креозот, но треск дров не заглушил звуков животного наслаждения из соседней комнаты.

На пианино никто из оставшихся играть не умел. Даже церковных песнопений. Даже "Шоколадного солдата" или "Растяпу Джо".

У Перри в вещмешке валялся какой-то бульварный роман, но он за ним не полез: эти ребята ничего кроме комиксов не читали. Ну, может, еще журналы типа "Янки".

— Омлет и тот не сделаешь... — неожиданно изрек кто-то, неторопливо выговаривая слова.

На всех напал жуткий смех, аж слезу прошибло. Но разговор так и не завязался. Мешали стоны из-за стены, а может быть, и тепло огня, языки пламени манили куда сильнее любого фильма или решающего бейсбольного матча. Напряжение нарастало.

Один за другим мальчишки стали выскальзывать из комнаты. Поднимались и, ни слова не говоря, исчезали в столовой. Когда дверь распахивалась, стоны и сопение становились громче, разжигая похоть у тех, кто остался сидеть у камина. А может, им просто стало любопытно. Скоро Перри остался в одиночестве. Последний маленький индеец.

Огонь разгорелся, распространяя блаженное тепло и мягкий свет. Перри сидел в удобном мягком кресле с оборками на подлокотниках и смотрел, как пламя старательно пожирает то, что пустили на дрова. Слышалось глухое шлепанье и сдавленные стоны, но ему сейчас было не до этого. Да, какая-то часть его существа — по его прикидкам, треть — тоже рвалась в столовую — посмотреть, что происходит в комнате с большим дубовым столом. Там они небось и устроились, прямо на большом дубовом столе. Он представлял себе, как старательно и сосредоточенно делают они свое дело. Другая его часть — две трети — нипочем не желала покидать насиженное место, испытывая неизъяснимое наслаждение от мягкого кресла, от тепла, источаемого огнем, да просто от самого вида пламени, что так уютно горело в мраморном камине.

Так он и заснул в кресле.

Когда проснулся, уже рассвело. Было холодно. В комнате никого. Дверь в столовую закрыта. Открывать ее, чтобы все проснулись, зашевелились и уставились на него, ему не хотелось.

И Перри вышел в холл. Пятеро мертвецов все еще лежали там, из-под брезента торчали башмаки. Он выглянул на улицу — прямую и широкую. Пахло гарью и взрывчаткой, но все было спокойно. Свежий снег смягчил контуры развалин, у уцелевших зданий вид был самый что ни на есть мирный.

Один из их грузовиков проехал мимо пустой, другой, навстречу ему, ехал медленно, кузов битком набит солдатами. Он весело помахал им, хотя никого из них не знал, и вовсе не потому, что это были британцы. Они помахали в ответ, прокричав что-то, чего он не понял, но явно веселое и дружелюбное, с отчетливым британским акцентом:

— Гляди в оба, раззява!

– Друг, по какой дороге они пошли?

– Не повезло тебе! Такое пропустил!

– Уймитесь, парни! Это же янки!

Оттого, что он не стал путаться с немками, у Перри было легко на душе, в прозрачном утреннем воздухе он сам себе казался чистым.

Он смотрел на кативший по улице грузовик и чувствовал себя отлично – как-никак всю ночь проспал в кресле. Вдруг грузовик подскочил, раздался хлопок – словно над самым ухом хлопнул на ветру громадный парус. Машину охватило пламя – огненный шар распустился тюльпаном, потом потемнел, съежился и клубами дыма поплыл вниз по улице прямо к Перри.

Он кинулся было к грузовику, но пламя и дым заставили его остановиться. Из дома высыпали любители утех, окопавшиеся в столовой, с встревоженным видом застегивая на ходу штаны и мундиры.

Перри сказал им, что грузовик подорвался на мине – суки немцы перед отходом заминировали улицу. В небо неторопливо поднимался дым, грузовик горел, клочья брезента огненными бабочками летали вокруг. Никто из солдат не выпрыгнул, никого не выбросило из машины, они просто сгорели, как куклы.

Вдруг он увидел, как из объятой пламенем машины выскочил человек, сделал несколько шагов и рухнул на колени – его плечи и шея горели. Перри затошнило, не было сил на все это смотреть.

В дверях показались две немки, вид усталый, воротники подняты, прикрывают шеи. Все как один, и Перри в том числе, накинулись на них, схватили за волосы и швырнули в снег, женщины затрепыхались, словно издыхающие рыбы. Вчера вечером они уверяли, что никаких мин вокруг нет, мол, единственные мины, чистый динамит, – это они сами.

Может, они и не знали – откуда им было знать? – но по улице стелился черный дым, и парней охватила такая злоба, что они сначала жестоко избили женщин, а потом еще принялись стрелять поверх голов вслед им – убегающим по снегу, рыдающим.

Сам Перри никакой злобы тогда не чувствовал – и понимал почему.

Но то, что он сейчас испытывал к вдове, чем-то напоминало чувство тех парней к двум немецким шлюхам. Она застыла у исчирканной углем стены, прижимая ко рту ладонь, и вид у нее был безумный. Он мог бы перечеркнуть две маленькие фигурки и посмотреть, как она себя поведет, но решил, что рисковать не стоит. Она ведь горевала по детям, а не по мужу.

Физиономия с высунутым языком больше не появлялась.

В любом случае, он не позволит ни во что себя втягивать. Он лучше посидит у камина в соседней комнате. Слушать ее причитания он не собирался.

Сердце бьется, значит, я еще жива. Оно никак не остановится. И бьется, и бьется, ни о чем не думая. Что заставляет его биться? Не останавливается, даже если ему приказать. Как странно. Хорошая новость: думаю, все мы очень скоро увидимся! Я в полной безопасности. Дело в том, что моя жизнь – это своего рода смерть. Оставаться в живых легче, когда ты не держишься за жизнь. Тогда тебя никто не замечает. Сейчас мне стало все равно. Пусть замечают.

Меня видят, и все же никогда еще я не была такой маленькой и незаметной. Я жду вас. Тогда мы [...?]

41

Поперхнувшись пылью, герр Хоффер решил, что дальше не пойдет. На третьем по счету чердаке было совсем темно и явно ничего не горело и даже не дымило. А если б и горело, что бы он мог сделать? Да ничего.

У него даже каски не было.

Герр Хоффер ретировался к лестнице — здесь, наверху, он чувствовал себя таким уязвимым. Ноги и спина болели; он зевнул и почувствовал, как его обволакивает усталость, словно он нанюхался дурмана. Такая усталость иногда накатывала на него: мысли путались, и он начинал клевать носом, даже если он в этот момент стоял или был очень занят. Тут, наверху, гораздо теплее — апрельское солнце прогрело черепицу, и дерево так приятно пахло, что хотелось прилечь и уснуть и увидеть во сне летний день, амбар, набитый сеном, пыль, стоящую в воздухе, которую, словно острые кинжалы, пронизали солнечные лучи, найденное в самом укромном, самом неожиданном уголке только что снесенное, еще теплое яйцо; увидеть во сне другие летние дни, полные тихих деревенских радостей, и летние ночи с сияющими яркими звездами. Герр Хоферр сидел на корточках у люка над лестницей, когда он ощутил глухой удар, будто волна ударила о берег или разбилось стекло, а потом — тишина и чернота. Именно в этот момент он пришел в себя после долгих столетий, тысячелетий, которые провисел на перилах. Он помнил, как в детстве падал в летнюю траву, слишком высокую, чтобы из-за нее что-нибудь видеть. Мать звала его. Она тоже не могла его видеть. Он кричал в ответ, но крик выходил таким слабым, будто застревал в горле. Он кричал еще и еще. И сейчас, во сне он кричал, звал мать — и так громко, что сам себя разбудил. Герр Хоффер перестал кричать, его мутило, голова кружилась. Что-то было не так. Он не понимал, где находится. Сквозь клубы то ли дыма, то ли пыли пробивался яркий дневной свет. По-видимому, от этого грохота он куда-то провалился и затем уснул, а потом каким-то непостижимым образом вознесся обратно, туда, где был прежде. Вокруг толстые бревна, похожие на огромные поваленные друг на друга деревья, словно он в каком-то первобытном лесу. Лицо залито чем-то теплым. Он потрогал — темная кровь. Как странно. Волосы слиплись от крови. Его ранило в бою. На его череп опустилась сабля. Французская сабля. А теперь огромная, наголо выбритая голова штурмовика ударила его чуть выше лба. Избавиться от штурмовика никак не удавалось, потому что он не мог разглядеть его лица, только бритый череп. На глаза что-то нестерпимо давило. Он осторожно пошевелил ногами, стараясь не задеть грибов Мохой-Надя. Не Мохой ли Надь стал в итоге читать лекции по Баухаусу? Скорее всего. Это ведь он подпилил ножки своего стула, чтобы пустить их на дрова, значит, Баухаус все-таки не искусство. А кто же из его знакомых уверял его, что искусство? Швиттерс или Шлеммер? Вуппераль или Норвегия? Или ни то, ни другое. В Норвегии хотя бы холодно. Он снова потерял сознание.

Семнадцатифунтовый бризантный снаряд из семидесятишестимиллиметрового американского полевого орудия, установленного на окраине города в яблоневом саду за наскоро возведенным клинообразным заграждением из гофрированного железа, по касательной задел башню Музея и взорвался, обрушив крупные куски кирпичной кладки вниз на крышу, которая под тяжестью обломков местами прогнулась, но не загорелась. Удар сотряс своды подвала, а в комнатенке герра Вольмера зеркальце, которое было встроено в пейзаж со знаменитым альпийским озером Кенигзее, выскочило из креплений и разбилось, засыпав ноги вахтера серебристым крошевом.

За двадцать минут до этого в другой части города снаряд угодил в облицовочный камень на фасаде дома, где была квартира герра Хоффера, отскочил и шлепнулся на улицу, разбив асфальт.

Взрыватель сработал не сразу, и снаряд с дикой скоростью крутился, пока не уперся в низкий, не выше колен, парапет, из которого торчала железная решетка — ограждение, отделяющее палисадник многоквартирного дома от улицы. Буквально через несколько секунд другой снаряд — осколочно-фугасная граната из полевого орудия Ваффен СС на Шульштрассе — пробил крышу соседнего здания, взорвался внутри и зажег дом. Земля вздрогнула, валявшийся на улице снаряд подпрыгнул и тоже взорвался, ударная волна разнесла парапет, искорежила прутья решетки и направилась в сторону дома, обдав людей, прятавшихся в подвале, жаром и грохотом. Изуродованным фасадом и выбитыми окнами дело не ограничилось, взрывная волна обрушила перегородки и перекрытия в той части здания, которая выходила на улицу. Масса мелкого строительного мусора, которую порождает даже одна-единственная перегородка, стоит ей потрескаться, зашататься и сложиться бесформенной кучей, в облаке пыли покатилась вниз по лестнице и завалила дверь в подвал.

Люди в убежище, среди которых были Эрика и Элизабет Хоффер, оказались в западне.

Мало того, взрыв повредил электропроводку и разорвал трубы, подававшие горячую воду. Кипяток с шипением хлынул в комнаты, поднявшийся пар смешался с пылью. В непроглядном мраке подвала кричали люди. Кто-то включил фонарик — но это никого не успокоило. Две маленькие дочки фрау Хоффер тоже кричали. Они звали маму, но мамы не было — малышка Эрика упросила ее сходить за игрушечным зайцем. Любимый заяц остался на кровати, его висячие уши раскинулись на подушке, кожаный носик уткнулся в краешек покрывала. Эрика без него никак не могла. Она просто должна была втянуть в себя его запах, прижаться щекой и губами к мягкой шерстке, зажать его ухо между средним и указательным пальцем, а большой сунуть в рот. Девочка задыхалась во тьме подвала без своего мохнатого зайца, и фрау Хоффер побежала за ним наверх.

В ту самую минуту, когда герр Вольмер направил винтовку на герра Хоффера, Сабина упала, сбитая взрывной волной, в спальне, а их дочери закричали от ужаса.

Подвал с пугающей быстротой — видимо, через вентиляционные каналы — заполнялся паром, смешанным с дымом и пылью. Те, кто был

посильнее, бросились на металлическую дверь (в 1942 году по приказу целленляйтера ее укрепили стальным листом), она не была заперта, но образовавшаяся гора обломков не давала ей открыться. Тусклый свет фонарика, выхватывающий из тьмы искаженные ужасом лица, только усугублял ситуацию. Люди кашляли, прижимали к губам платки. Кто-то еще пытался совладать с дверью, кто-то, схватив то, что подвернулось под руку, принялся скрести стены, в ход пошла даже пилка для ногтей, оставлявшая на удивление глубокие следы в цементных швах тронутой сыростью кладки. Соседка Хофферов, бездетная вдова, крепко обняла девочек, так же как прижали к себе детей находившиеся в подвале матери и бабушки, и сказала: "Не плачьте, все будет хорошо". Эрика и Элизабет уткнулись лицами в ее платье и продолжали плакать, кашлять и звать маму. Сверху по мостовой прогрохотал немецкий танк (в это время девочки обычно шли по ней в школу), вспыхнул, проехал еще немного, окутался дымом и взорвался. В Лоэнфельде входили союзники.

43

Он давно не имел известий ни от брата, ни от девяностопятилетней бабушки, оставшейся в Эбербахе, занятом американцами. И от упрямой сестры, не пожелавшей эвакуироваться из Берлина. Оба двоюродных брата погибли в боях, погибла под бомбежкой в Дортмунде и старая незамужняя тетка. Свояченица Лотта (на пять лет моложе Сабины) уехала из Баварии в Штутгарт. Родственники Хоффера, в отличие от немногочисленного семейства его жены, составляли многочисленный клан, они были выходцами из затерянной деревушки в Зауэрланде, но затем расселились по всей стране. Возможно, судьба их оказалось бы иной, если бы они по-прежнему пахали землю в этом краю холмов и лесов. Но вышло так, как вышло.

Его дед, светлая голова, служивший в войну 1870 года офицером связи при князе Крафте фон Гогенлоэ-Ингельфингене, сделался деревенским учителем и женился на дородной почтмейстерше. Отец — в свою очередь — был учителем средних классов в католической школе в Эбербахе, где и жил, пока не ушел в отставку. Мать, державшая маленькую шляпную мастерскую, так и не оправилась после рождения младшего сына и, бывало, подолгу не вставала с постели, перелистывая журналы и цветные каталоги больших магазинов, а Генрих играл возле нее. Шляпная мастерская прогорела, денег не хватало. Отец был суров, консервативен и глубоко религиозен, но детей любил. Ему пришлось справляться со многими проблемами, а также воспитывать троих детей, появившихся на свет в течение восьми лет. Генрих был младшим. Ребенок он был болезненный, страдал желудочными коликами; все считали, что это связано с постоянным страхом за здоровье матери.

В школе его поколачивали — за то, что был толстым, и за то, что отец-учитель нещадно порол учеников (хотя дома никогда не позволял себе ничего подобного). На двенадцатом году его жизни мать тихо угасла, и вскоре после похорон его проблемы с желудком уступили место приступам нервного возбуждения, заканчивавшимся либо мигренями, либо долгими одинокими прогулками по лесам Эбербаха. Примерно тогда же

он потерял интерес к учебе — у него испортилось зрение, на глазах постоянно вскакивал огромный ячмень, вызывая у его одноклассников брезгливость, смешанную с изумлением. Не помог и летний лагерь "Вандерфогель", где надо было подолгу маршировать, бренчать у костра на гитаре и читать отрывки из работ профессоров Вайца, Маурера и Трейчке о древних, не испорченных цивилизацией германских племенах и ужасах Содома (то бишь Франции). По иронии судьбы именно там его изнасиловали двое старших мальчиков (обычное дело, сказали они), и домой он вернулся, чувствуя себя поруганным грешником. Все изменилось год спустя, в четырнадцать, когда в школьной библиотеке — совершенно случайно! — он наткнулся на книжку о французских импрессионистах с иллюстрациями на сером картоне. Перед ним точно распахнулось окно угрюмой комнаты, и все озарил солнечный свет. Потом он воспылал страстью к Брейгелю, и тоже благодаря книге. Он мог изучать ее часами, так внимательно вглядываясь в каждый пейзаж, что временами ему казалось, будто он живет внутри него, он чувствовал себя фламандским крестьянином шестнадцатого века, а приходя в себя, словно выходил из гипнотического транса.

Одним из таких крестьян, лежащим на жнивье в обнимку с бочонком пива, и воображал себя герр Хоффер, когда обломок кирпича, упавший на него, вернул его к действительности. Все вокруг было кадмиево-желтым. Его кожаный гульфик нагрелся на солнце. Он был там, где не было ни поездов, ни машин, ни бомб. Фыркали кони. Лаяли псы. Наевшиеся до отвала фламандцы валялись, сморенные августовской жарой. Наконец он очнулся и увидел деревянное стропило, изрытое червоточинами. Теперь герр Хоффер осознал, что находится на чердаке в Музее кайзера Вильгельма в Лоэнфельде и что на них упала бомба.

— *Герр Хоффер...*

— Не сейчас, Густав.

Он резко сел и понял, что практически цел, если не считать раны на лбу и старого пореза на руке. Вокруг никого не было.

Ну что ж, я в безопасности. Я хорошо спрятался, никто до меня не доберется. В этом странном темном месте меня никто не тронет.

Он осторожно поднялся. Рана на голове уже не кровоточила, но ломило виски и подташнивало. Сквозь сломанные балки стропил сияло солнце, озаряя груду кирпичей, вывалившихся из башенной кладки. Башню было видно сквозь пробоину в крыше — ей сильно досталось. Судя по часам, он пролежал в беспамятстве всего несколько минут. Считай, поспал! Дыра была не такой уж и большой. Крыша стала похожа на траченную молью старую ткань с дырками, обнажившиеся балки напоминали непомерно толстые нитки. Никакого дыма в воздухе не чувствовалось, только уже привычный горьковатый привкус взрывчатки и бархатно-щекочущий — пыли.

Герр Хоффер снял очки, намереваясь протереть их, и с удивлением обнаружил, что одно из стекол треснуло. Видимо, именно эту трещину он и пытался протереть, принимая ее за грязь, сообразил он, водружая очки на нос. Оказалось, что он к тому же потерял один ботинок. Пришлось вернуться, но в куче кирпичей, деревянных обломков и битой черепицы ботинка он, конечно же, не нашел. Зато нашел нечто вроде небольшого размера стоптанной тапочки, словно кто-то заколдовал

потерянный им ботинок. Сколько же тут было всякого хлама! Супница, к примеру, уцелела. Ржавый крест согнулся пополам. От бочонка остались одни обручи.

Поворачиваясь, он что-то зацепил ногой — книжка!

Он поднял ее — это оказался блокнот, исписанный почерком, напоминающим паутину. Очки снова запотели, да и освещение оставляло желать лучшего, поэтому возможность разобраться в записях была невелика. Скорее всего, их автор — Густав. Правда, он всегда сомневался, что Густав в состоянии нацарапать собственное имя, но ведь он мог и ошибаться.

Блокнот был похож на те, какими пользовался Вернер, — в красной картонной обложке на спирали. Приглядевшись получше, герр Хоффер разглядел на обложке печать "Собственность библиотеки Музея кайзера Вильгельма, Лоэнфельде". Кто еще, если не Густав? Вполне возможно, он обронил его тут давным-давно...

— Герр Хоффер...

— Густав, не сей...

— Герр Хоффер, они нагло и без разрешения повесили на нашу стену очень большой и уродливый плакат.

— Что за плакат, герр Глатц? — его собственный голос доносился откуда-то издалека.

— Портрет маленького ефрейтора с мешками под глазами, герр Хоффер.

— Какая мерзость! Жаль, что мы не можем его сорвать.

— Почему не можем? Можем.

— Они ушли?

— Да, герр Хоффер.

— *Вскоре в открытую дверь неторопливо мы выйдем...*

— Гёльти.

— Да, герр Глатц. Да.

И Густав Глатц неторопливо вышел. Герр Хоффер тут же о нем забыл — он был завален работой и даже не думал тогда, чем все это может обернуться...

Сунув блокнот в карман, он зажмурился. Голоса всегда приходили в самый неподходящий момент.

Герр Хоффер захромал вниз по лестнице, думая, что, наверное, стоит идти босиком. Его единственный ботинок почему-то скрипел. Раньше он этого не замечал. Оставшись без ботинка, герр Хоффер чувствовал себя еще более уязвимым. Ахиллесова пята... В конце концов до тебя всегда добираются — каждый раз. Добрались даже до Бальдра Прекрасного, принесшего свет и радость в Асгард. Но его убил Локи — воплощение расчетливого зла. Обман, злоба и коварство. Во всем виноват Локи. Виновный всегда найдется. Даже боги смертны. Тор с Хрунгниром, смерть Сигурда, и "Норны, хранящие имя Валы", и долгая кровавая история меча Тюра, выкованного карликами, сыновьями Ивальди. Грубость и прочность. Огонь и лед, и сверкание льда. Пронзительные пустоши пейзажей Нольде. "Мифы северных народов" в кабинете отца с изображением нагой Идунн у пруда, захватанным его пальцами. Идунн и ее золотые яблоки, дарующие вечную юность и красоту. Локи и ее предал. Почему это всегда приходит в голову ни с того ни с сего?

В кармане лежал блокнот Густава. По-видимому, Густава.

Господи, а вдруг Густав прятался там, наверху? Его могло завалить! Вдруг блокнот выпал из его руки!

Герр Хоффер остановился на лестничной площадке второго этажа и посмотрел наверх, будто ожидая увидеть Густава. На потолке красовались синие карлики и зеленые тролли — и тут Якоб Клюге! Боги сотворили этих тварей из червей, пожравших тело Имира, и они были умнее нас. Ему стало нехорошо — сверху на него с похотливыми ухмылками глядели кривляющиеся лица с безгубыми ртами и крючковатыми носами, готовые в любую секунду лишить его жизни.

Если вернуться за Густавом, наверняка снова упадет бомба.

Посмотрите только на этих троллей! Какие мстительные, кровожадные взгляды! Разве этих злобных, хитрых и вероломных карликов не изгнали под землю, в золотые и серебряные шахты, где они копят в тайниках свои богатства? Он слышал, как они вопят и гогочут, словно где-то у него над головой крутили кинохронику партийных сборищ. Герр Хоффер стоял на верху лестницы и чувствовал: еще чуть-чуть, и он перестанет быть самим собой. Он глядел в пропасть подобно огненному великану Сурту — глубоко внизу от небесного жара его меча с шипением плавились ледяные глыбы!

Герр Хоффер прислонился к стене, сжимая в руках ботинок. Лицо покрылось испариной. Да, он снял ботинок. Босой человек уязвим. Может, надо вернуться за Густавом? Которого там, возможно, и нет? Однажды в Берлине, когда он возвращался ночью после свидания с Сабиной (они тогда еще не поженились), к нему прицепилось несколько коричневорубашечников, вообразивших, что он еврей. Может, он и правда похож? Может, это спасет его от мести евреев и их американских друзей? Штурмовики спустили с него штаны, убедились, что он не еврей, и заржали. Головы их были выбриты, и герр Хоффер видел, как от смеха кожа у них над ушами морщится. Потом они решили, что он большевик, а один слегка дотронулся до его члена. Герр Хоффер был очень напуган, но и возмущен. Да еще и нетрезв, что только подстегнуло его негодование.

— А еще я не содомит, — заявил он, застегивая брюки. — Тут вам не перепадет.

Кто-то обхватил его сзади, разорвав рубашку, по тротуару покатились оторванные пуговицы. Сейчас его либо отверткой пырнут, подумал он, либо член отрежут. Но штурмовик задрал ему майку и ухватил за сосок. Он сжимал и сжимал его, будто надеясь выдавить какую-нибудь жидкость. Кто-то, чтобы герр Хоффер не трепыхался, сдавил огромными накачанными руками его шею, так что он едва дышал. От острой боли хотелось кричать, но он прикусил губу. Заставил себя молчать. Он смотрел, как сжимают его сосок, как будто со стороны, как будто все это происходило не с ним, стараясь расщепить боль на составляющие, а воздух вокруг, казалось, стал липким от перегара, которым дышали штурмовики. Так продолжалось очень и очень долго (на самом деле минуту или две, вряд ли больше), притом лицо палача было серьезным и сосредоточенным, точно он выполнял жизненно важную задачу. Герр Хоффер старался не смотреть своему мучителю в глаза, но они против воли притягивали его взгляд. Кожа вокруг этих глаз была бледная, жирная, с крупными порами, круглая челюсть съехала на сторону от усилия, из огромных ноздрей тор-

чали светлые волоски. Наконец штурмовик перестал сжимать сосок и, хмыкнув, сплюнул на тротуар, будто только что пробежал стометровку, стрельнул у товарища сигарету и выпустил дым в лицо своей жертве, остальные — все были пьяны — загоготали и отпустили герра Хоффера. Он побежал прочь, поддерживая брюки, с задранной рубахой, и ветер смягчал боль в соске, который постепенно синел и раздувался.

Тролли никогда не обидят его, даже если завтра выйдут из своих подземелий. С чего бы?

Он ведь ничего не сделал.

44

Перри шел вслед за женщиной.

Он сам не знал, зачем идет за ней, но для чего-то он ей был нужен, она суетилась, размахивала руками, звала за собой. И ведь он ничего не был ей должен, он же не принуждал ее к сексу. По сути, он сделал это для нее. Оказал услугу. Разве она не смеялась? То, что произошло между ними, теперь даже вызывало у него гадливое чувство, будто она одна была во всем виновата. Может, мир до того дошел в своем печальном распаде, что ему уже ничего не остается, кроме как следовать за женщиной. Вот до чего он дошел, до чего устал.

И он брел за ней по разрушенным улицам мимо куч щебня, битых кирпичей и штукатурки, пробирался по сплошному крошеву обломков, где ничего не стоило свернуть себе ногу или шею, сам себе напоминая букашку, карабкающуюся на горку сахарного песка.

Но он шел за ней, словно иначе и быть не могло. Шел и думал. Размышлял — об одном и том же — и старался не отстать. Мысли вертелись вокруг пишущей машинки "ремингтон" с дадаистской открытки, висевшей над его столом, когда он был студентом-второкурсником, сейчас такая оказалась на подоконнике разрушенного музея. И то, что на картинке она валялась в углу рядом с женской туфлей и черепом — учебным пособием для медиков, упаковкой сигар и тому подобной ерундой, а на подоконник машинку забросило взрывом, не имело никакого значения. Простая случайность. Фотомонтаж — часть корпуса срезана, нутро наружу. Сейчас весь мир такой. Нога лежит сама по себе. Лестница громоздится там, где ей не место. Смотришь на мир — а смысла-то и нет ни хрена. Будто ты пьян в стельку. Вон во Франции подвесили за ноги женщину с изуродованным лицом, и она провисела пять дней. Коллаборационистка. А кто решил, что она сотрудничала с врагом? Не немцы, французы — может быть, коммунисты, а может, и те, кто собственные грехи прикрывал. Ее длинные волосы и руки свисали вниз, она все пыталась одернуть ночную рубашку, прикрыть бедра, жива еще была, когда ее подвешивали, только лицо разбито. Про это ему рассказал один англичанин, который пять дней назад видел все собственными глазами. Она не утратила стыдливости, дружище. Может, она принесла много горя хорошим людям. Предательство и месть. Месть, будь она неладна! Женщина причинила им зло, а потом они с лихвой отыгрались. Много он их повидал, коллаборационисток этих, и мертвых, и просто избитых, изнасилованных, униженных и обритых наголо. А еще вырытые из шахты где-то во Франции

полусгнившие женские трупы в туфлях на высоких каблуках. Это уже гестапо поработало, торопились, сволочи. Отдельные яркие подробности застряли в памяти, но целостная картина, а также имена и названия мест исчезли. Одни туфли на высоких каблуках остались, с бантиками.

Жизнь не принесет мне горя, подумал он. Если ты не пытаешься валять с ней дурака, она горя не причинит. Перри шел за женщиной по разрушенным улицам, а его мозг работал точно новенький фордовский двигатель, выстраивая любопытные связи. В планшете у него снежные вершины и золотая долина. Снежные вершины и золотая долина при нем и никуда не денутся. Отличный трофей. Крошечный пастух. Фоллердт. Перри был просто опьянен своей удачей. Он не знал, куда ведет его женщина, видел только, что она часто оглядывается — проверяет, здесь ли он.

Он все еще был здесь, рядом. Самое удивительное, что собственная жизнь всегда кажется тебе такой важной и значительной, а когда тебя уносит во владения смерти, никому до этого нет дела, даже тебе самому. И белой пены за кормой не остается.

Она бежала в двадцати — может, даже, в тридцати ярдах впереди, пробиралась через развалины как полоумная. Он слышал ее дыхание — вдох-выдох, видел, как удлиняется ее тень в отсвете пожаров.

Ему казалось, она приведет его прямо к черту в когти. Да провались она пропадом! Какое ему до нее дело? Но он упрямо шел за ней в темноте, будто страшился оставить ее, будто хотел пройти весь путь до самого конца.

45

— Я пыталась разучить этюд Шопена, — сказал кто-то, — опус десять, номер третий. У меня не получилось. Понимаете, там от начала и до конца надо играть, широко-широко растянув пальцы.

Герр Хоффер вернулся к реальности. Он понятия не имел, откуда взялся этот голос. Герр Хоффер просто спускался по главной лестнице на первый этаж, и этот голос — женский, живой — послышался прямо у него над ухом. Герр Хоффер решил, что сходит с ума, ведь на лестнице, кроме него, никого не было. Должно быть, это переутомление — воспоминания прорываются сквозь ткани разума. Например, их первое свидание с Сабиной. Они гуляли в парке. Он обнимал ее за талию, наслаждаясь близостью и теплом ее тела, легкими движениями мышц под своей рукой. До чего же он любил рисовать обнаженную натуру!.. Попытки как можно точнее передать игру тени и света, скрупулезно скопировать изгиб живой плоти успеха не приносят. На самом деле, чем меньше усилий, тем зримей результат. Чтобы понять, как рисовать талию, надо ее обнять, сильную и нежную, почувствовать движение. *Ты ли это, любимая? Как я люблю твою талию, моя любимая.* Его восхищали линии изгиба любого женского торса, но торса жены — особенно. Душа преисполнилась желанием обнять ее, а с ней и всех на свете. Его слегка пошатывало, поэтому герр Хоффер смотрел вниз, себе под ноги. У подножия лестницы он увидел пару черных сапог, железные набойки на носках скалились, точно челюсти. Откуда они тут взялись? Подняв взгляд, он

разглядел ноги в камуфляжных штанах, затем — китель с руками, челюсть и эсэсовские руны на воротнике и, наконец, знакомое лицо.

— Я при исполнении, — выдавил он.

У Бенделя на плече висел автомат. Самой мерзкой разновидности, весь из железа. Одна рука покоилась на прикладе.

— Герр Хоффер, вы ранены.

— Да? Возможно, — произнес он, пощупав окровавленную голову. — Господи, ну и сюрприз!

Бендель стоял на цветочной мозаике Ханса Тома. Погоны с голубой каймой, один висит на нитке. До сих пор штурмфюрер. Ну и отлично.

— Почему вы не в укрытии, герр Хоффер?

— Я делал обход. Проверял чердаки.

— Зачем?

— Туда упала бомба.

— Мне тоже так показалось.

Теперь он в боевом подразделении СС, подумал герр Хоффер. Солдат. Выглядит потрепанным и грязным. На плече сумка для провизии и планшет для карт.

— Здание очень большое, — добавил Бендель.

— Было. Но все относительно. Теперь в крыше дыра. Думаю, что разрушена башня.

— Пожара нет?

— Нет-нет! Слава Богу!

— Они кидают зажигалки.

— Я все проверил.

— Хорошо.

— Да, вот так сюрприз, штурмфюрер Бендель. Видеть вас здесь. Глазам не верю, впрочем, очкам тоже. Взгляните, что с ними стало.

Герр Хоффер вдруг сообразил, что размахивает ботинком. Собственным ботинком.

— Если честно, — признался он, — я думал, что вы погибли.

— Пока нет. Наверное, неприятно ходить в одних носках.

Покрытое грязью лицо Бенделя озарила улыбка. Мешки под глазами старили его лет на десять.

— Мне надо присесть, — признался герр Хоффер. — Похоже, вы побывали в самом пекле.

— Да, можно сказать и так.

— Если вы не возражаете, мне действительно необходимо сесть.

Герр Хоффер проследовал в зал XII века, в самом центре которого, словно зеленый остров, находился удобный двухместный диванчик. Бендель не отставал от него ни на шаг. Первый опустился на потертую кожу, второй остался стоять рядом. В зале было дымно, и не сразу бросалось в глаза, что стены голые. У герра Хоффера запершило в горле.

Три слоя грунта поверх холста. И зачем? *Сможем ли мы когда-нибудь их смыть?*

— Ну и ну, — сказал Бендель. Он стоял, широко расставив ноги.

— Действительно, — согласился герр Хоффер. — Кстати, дым просочился с улицы.

— Я считал вас человеком весьма хладнокровным.

— Теперь вам так не кажется?

— Пожалуй.

— Что ж, — вздохнул герр Хоффер, слегка разочарованный. — А я-то полагал, что неплохо справляюсь. Учитывая весь этот ужас.

— Я едва вспомнил ваше имя, герр Хоффер. Вылетело из головы. Но это нормально. Я уже несколько недель не сплю.

Автомат, свисавший с его плеча, казался маленьким и тонким, как ручка ребенка.

— Ингрид, — продолжал Бендель, хохотнув. — Удивительно, как неожиданно всплывают в памяти имена.

Герр Хоффер прикрыл глаза. Шок, или что он там испытал, вызвал у него тошноту и головокружение.

— Генрих, — произнес он.

— Хорошее, простое имя. Как мое. Клаус.

— Куда уж лучше, — сказал герр Хоффер. — Если не возражаете, я прилягу тут ненадолго.

— Вам надо бы где-то укрыться, герр Хоффер. Город почти стерт с лица земли. На самом деле вам бы следовало находиться в бомбоубежище.

Герр Хоффер кивнул. Он лежал на диванчике, свесив ноги. Слов не было. Во рту до того пересохло, что саднило горло. Бендель о подвалах не знает. И не должен узнать.

— А еще лучше спуститься в подвалы.

— В подвалы?

— Сырые подвалы, кишащие крысами, — так, кажется, вы мне когда-то говорили. Древние подвалы замка. Я считаю, лучше сырость и крысы, чем взлететь на воздух.

— Терпеть не могу крыс, — сказал герр Хоффер, открывая глаза.

Похоже, бомбежка на время прекратилась, а может, это был момент между жизнью и вечностью. Бендель застыл в центре зала с автоматом на груди. Ручка у автомата, точно у теннисной ракетки, была обмотана потертым полотенцем, толстая муфта ствола заметно помята. Ни одной деревянной детали, даже на прикладе. Судя по внешнему виду, автомат уже многое успел повидать.

— Зачем вы пришли, Бендель? — спросил герр Хоффер, глядя в потолок. — Теперь тут любоваться нечем.

Он улыбнулся, но Бендель не ответил на улыбку, он смотрел себе под ноги. Вообще-то зрелище было страшноватое: штаны в двух местах порваны, мятая камуфляжная куртка заляпана грязью, эсэсовские руны на воротнике в пятнах. Веки красные, под глазами мешки, лицо грязное, но, как ни странно, свежевыбритое. А может, ему вообще не нужно бриться! Случается и такое, стопроцентный мужик, а брить нечего. Сумка и планшет потерты и загвазданы, как котомки бродяги.

Бендель промолчал, как будто и не услышал. Может, и в самом деле частично оглох на поле битвы.

— Вы участвовали в битве на Крайбургском холме? — спросил герр Хоффер погромче.

Бендель вздрогнул, словно очнулся от забытья.

— Пробивался с боями от берегов Мааса.

— Оно и видно.

Герру Хофферу стало казаться, что скамейка слегка покачивается.

— Это штаны с макаронника, — сказал Бендель. — Осенний камуфляж. Леопардовые пятна.

— Чему только не научишься у матери-природы, — пробормотал герр Хоффер, которому стало совсем худо. Он попытался сесть, резко дернув головой. Немного полегчало.

— Тесноваты. Итальяшки тонкокостные. Один их сержант, покрупнее, все пытался доползти до медпункта, пока у него кишки не вывалились. Я снял с него куртку. Даже постирать не успел. С декабря не мылся. Штанов с него мне не досталось, потому как ног у него уже не было. Вот, погоны кое-как пришил. Шить я не очень умею.

Он дернул за погон, висевший на нитке, тот оторвался и упал на пол. Фыркнув, он отшвырнул его ногой, к немалому изумлению герра Хоффера. Черно-коричневый узор на куртке был покрыт рыжими пятнами, а пятна на штанах походили на отпечатки пальцев — розовые, коричневые и зеленые. Герр Хоффер судорожно сглотнул.

— Двусторонняя, — продолжал Бендель, оттянув полу куртки. — Изнутри белая — на случай холодов. Это летняя сторона. Он носил зимней стороной наружу, так что эта не такая грязная.

— Повезло, — с невероятным усилием проговорил герр Хоффер.

— Не расхаживать же в белом, когда нет снега? Да и зимой белое остается белым максимум на день, а потом вываляешься в грязи, и тебя все равно видно. А это солнечные пятна, пробивающиеся сквозь ветви. Я — ходячее полотно импрессиониста, герр Хоффер. Штаны кисти Сёра.

Герр Хоффер только улыбнулся — ему было слишком плохо.

— Вы не поверите: этот рисунок придумал профессор Шик. Мой старый учитель. Бывает же такое, а, герр Хоффер?

Бендель начал вышагивать взад-вперед по пустому залу.

— Старина Шик, — повторил он. — Кто бы мог подумать?

— Что ж, дорогой друг, — пробормотал герр Хоффер, — похоже, для нас все уже закончилось.

— Что ты говоришь, Ингрид?

— Я не Ингрид.

Бендель рассмеялся своим странным, резким смехом. Герр Хоффер поправил очки. Сквозь тошноту пробивалось раздражение. Он попытался сосредоточиться на тоненькой ниточке паутины там, где столько лет висел "Букет в вазе" Якоба Марелла. Трещина в очках раздражала, все время хотелось их протереть, но воображение могло нарисовать ему картину с точностью до карминного лепестка тюльпана. Паук оставил свою паутину. Может быть, насытился.

Какого черта тут оказался Бендель?

Тошнота начала отступать, и он снова закрыл глаза. И в самом деле, думал он, фрау Шенкель права: я должен был остаться с женой и дочерьми. Иногда все-таки она бывает права. С Сабиной стало так трудно. Он никому не говорил, как ему тяжело с ней в последнее время. Он, конечно, тоже не совершенство, но ведь он старается! А она устраивает истерики и швыряет в него фарфоровые чашки. Чашки бьются о стену. В груди вдруг закололо, будто туда попала чашка. Его рука сильно, чрезвычайно сильно пахла мышами. Ингрид! Вот еще выдумал! Безобразие!

Скамейка резко дернулась.

— Это неважно, — сказал Бендель, рухнувший на зеленую кожу рядом с ним, расставив ноги и откинув голову на спинку. Автомат болтался у него между ног. От него воняло. — Все кончено. Вы понимаете? Ничего уже не важно. Всем на все насрать. Ты либо уже сдох, либо так изголодался, что ничего уже не соображаешь, а если ты в войсках СС, тогда — и то, и другое сразу. Меня так и не повысили в звании, — рассмеялся он. Диванчик затрясся. Его пронзительный смех отражался от стен пустого зала. Ну хоть это ничуть не изменилось.

— Вы надолго уезжали, — пробормотал герр Хоффер. От запаха пота и машинного масла он снова почувствовал тошноту.

Он вдруг ясно понял — Бендель ни при каких обстоятельствах не должен спускаться в подвалы.

— Я сменил должность в сорок третьем, точнее, в начале сорок третьего. "Бауэр и партнеры". Реставрация произведений искусства.

— Вот оно что! Значит, вы ушли из СС?

— Компания "Бауэр" — структура СС, герр Хоффер. Я даже побывал в Польше.

За окном раздался хлопок. В мирное время герр Хоффер решил бы, что это грузовик подпрыгнул на мостовой.

— Герр штурмфюрер, нам и в самом деле лучше пойти в бомбоубежище.

— Часть отдела W в департаменте экономики и управления. Под началом обергруппенфюрера Поля. Тот еще тип.

— Понятно, — сказал герр Хоффер. — Давайте все-таки пойдем в убежище.

У него и ключ был. Даже к вахтеру идти не придется.

Но они так и не тронулись с места. Далекий рев за окнами казался благодушным и каким-то размеренным.

— В основном я был во Франции. Производил реквизиции. Ваши проворонили много частных коллекций. Потом ездил в Польшу.

Герр Хоффер кивнул. Ему вспомнилось, что когда-то Бендель мечтал побывать в местах, которые писал Ван Гог, но, подумав, решил не задавать вопросов и тут же все равно спросил:

— В Провансе были?

— Да, довольно долго. И в Лангедоке. И в Пиренеях, и в Бордо.

— Замечательно. Как сказал Макс Фридландер, "истинный художник любит природу, а не искусство".

— Ах, Фридландер. Нидерландский примитивизм. Вы читали его опус?

— Разумеется, — соврал герр Хоффер.

— На мой вкус, его переоценивают. Скажите, он ведь давно сбежал за границу, правда?

— Не так уж и давно.

— Знаете, вот во Франции у меня была жизнь! Вообразите: дивный старый замок, стол и стул на лужайке, секретарша с пишущей машинкой, несколько парней в кепках и старый сторож с ружьем pour encourager les autres. Чтобы подбодрить остальных.

— Я знаю французский, — снова соврал герр Хоффер.

— Да, и мебельный фургон, припаркованный у ворот. Всего-то и дел, что записывать то, что выносят из ворот и складывают в фургон.

Видели бы вы, герр Хоффер, какого размера там попадались полотна. Огромные. Как театральные декорации. Пуссен, Делакруа, Давид, даже Рубенс! Кого ни назови.

– Я думаю, – вмешался герр Хоффер, чувствуя, как под ним дрожит диванчик, – нам и правда пора в бомбоубежище.

Бендель не обратил на его слова никакого внимания.

– Их выносили, на какое-то время они заслоняли реальность, и ты думал: а ведь это гораздо лучше, чем реальность. И, конечно, обнаженные. То еще зрелище, доложу я тебе, впечатляет куда больше, чем настоящие. Ты уж прости за откровенность, Ингрид. В подвалах полно марочного шампанского. Замки-то в основном принадлежали евреям. Кто бы мог подумать, что у еврея может быть замок! Роскошная вилла, да, но не замок же! Нажито веками подлости и обмана. Цветущие глицинии, жужжание пчел, каменные стены. Пение цикад. Ликер и шампанское. Черт возьми! И я думал, какой же я везучий сукин сын. А потом меня на несколько месяцев отправили в Польшу. Под начало гаупштурмфюрера Мюльмана.

– В Польшу?

– В Краков, в реставрационные мастерские СС в Кракове. Какие там проворачивались дела, Ингрид! Господи, чего только не прошло через мои руки: Рафаэль, Рембрандт, "Дама с горностаем" Леонардо...

– Боже мой!

– Антуан Ватто. Выбирай кого хочешь. Коллекция Любомирских с рисунками Дюрера, Лазенки, семейные реликвии Чарторыйских... А потом меня снова отправили в Берлин составлять опись.

– Как хорошо, – поддакнул герр Хоффер, не слушая: он представил себе "Даму с горностаем".

– Скука смертная. Бумаги, бумаги, документы. Тысячи и тысячи работ. Даже самые громкие имена со временем приедаются. Вы не представляете, сколько у этого чертова Дюрера рисунков и гравюр. Вы знали, что он наполовину венгр? Спорим, не знали. А меня так и не повысили. Везде враги. Геринг разругался с Мюльманом из-за того, что тот забрал Леонардо. Фюрер тоже решил, что его обошли. Вот я и остался корпеть над описями. Громкие имена, и не слишком громкие имена. И ни одного Ван Гога, разумеется. Нет-нет, он же был психом! А нацисты не психи, нет! Так ведь?

– Конечно, – подтвердил герр Хоффер.

– Вот тогда-то мне и пришла повестка. Я встал из-за письменного стола и начал жить. Видите ли, жизнь состоит из ступеней. Каждая ступень – вещь в себе. Такая у меня теория. Не оглядываться на прошлое. Ни о чем не жалеть. Жизнь слишком коротка. О прошлом жалеют только сентиментальные кретины.

– Понимаю.

Где-то вдали снова начали бомбить – похоже на надсадный кашель. Или на работы в карьере по ту сторону Крайбургского холма.

– Значит, – вздохнул герр Хоффер, – вы считаете, что все и в самом деле кончено.

Он глубоко дышал и почти избавился от тошноты. И, естественно, почувствовал себя лучше.

– А?

— Война, — произнес герр Хоффер. — Трудно понять, если не видел собственными глазами.

— Что не видел?

— Фронта.

Бендель рассмеялся.

— Вы что, думаете, я самолет-разведчик?

— Нет, но...

— Вы участвовали в предыдущей заварухе, герр Хоффер?

— Нет. Мне всего сорок два.

— А сейчас что ж?

— Я в фольксштурме, но наш командир сбежал, и у нас нет ни оружия, ни формы. Только чувство собственного достоинства.

Он пошевелил пальцами в носках, но тут же сообразил, что делать этого не стоило.

— Значит, вам невдомек, что простой солдат не видит дальше прицела своего ружья. И никакие карты не помогут, — объяснил Бендель, похлопав по планшету, висевшему на правом плече.

— Ясно.

— Может, по радио говорят правду и мы *на самом деле* побеждаем на Восточном фронте. Я не знаю, ясно? Лично мне кажется, что нам конец на всех фронтах. Но это мое субъективное мнение, основанное в первую очередь на том, что я оказался не на том берегу Рейна. С другой стороны, американцы действительно застряли там на какой-то гребаной кочке.

— На Крайбургском холме.

— Вполне возможно. Других выдающихся кочек тут ведь нет, правда?

— Ну, это вряд ли можно назвать кочкой, — вступился за холм герр Хоффер. — Кстати говоря, — продолжил он, усмехнувшись, — Достоевский говорил исключительно о русском романтизме. А немецкий романтизм он считал абстрактным и глупым. "Записки из подполья". Я нашел эту цитату. Хотел вам сказать, но вас уже не было.

— О чем вы?

— У нас был об этом разговор... Много лет назад. Впрочем, теперь уже неважно.

Несколько секунд оба молчали. Если бы этот гул *и правда* был шумом созидательных работ!

— Кстати, зачем вы пришли?

Теперь глаза Бенделя были закрыты.

— Чтобы найти вас.

— Меня? — сердце герра Хоффера ушло в пятки.

— Здесь я был счастлив, — тихо добавил Бендель.

— Я рад.

— Мы здесь одни?

— Где здесь?

— В здании. Я не считаю этого идиота-вахтера, — прибавил он.

— Герра Вольмера. Да, видимо, одни. Кроме нашего восхитительного герра Вольмера.

— Которого, строго говоря, больше нет.

Бендель выудил из кармана кителя сигарету и затянулся. Ногти у него были грязные и поломанные. К герру Хофферу наконец вернулся дар речи.

— Что вы хотите сказать, герр штурмфюрер?

— Кто была та девушка, в которую вы первый раз влюбились, герр Хоффер?

— Что?

— Первая девушка, в которую вы влюбились.

— Странно. Как раз сегодня я о ней вспоминал. Она была из книги. У отца была книга мифов северных народов. И в ней иллюстрация, на которой была обнаженная Идунн, лежащая у пруда.

— Я не про картинки, от которых хочется дрочить, герр Хоффер. — Я — про настоящее.

Герр Хоффер не верил своим ушам. В Клауса Бенделя вселился дух настоящего саксонского работяги.

— Тогда я не помню.

Бендель резко хохотнул и затянулся.

— Как поживает Сабина?

— Фрау Хоффер? Неплохо, — поспешно ответил герр Хоффер. Его потрясло, что Бендель запросто назвал ее по имени. Просто неслыханно! Он чуть не лопнул от возмущения.

— С детишками оставили?

— Еще утром я проводил их в убежище с тремя чемоданами вещей первой необходимости. На всякий случай.

Наступила неловкая тишина. Герру Хофферу казалось, что его сердце бьется где-то в голове.

— Однажды я понял, что остался совсем один, — вдруг сказал Бендель. — Ни у кого из моих былых друзей не сохранилось ни капли мозгов. А меня, твою мать, даже не повысили. Мы переправились через Рейн, в живых никого не осталось. Меня подвезли на "Тигре" до самого шоссе, всю задницу себе отбил, сидел прямо у ствола, весь в грязи перемазался. Куда еще идти, кроме как в Лоэнфельде?

— Мало ли на свете мест.

Бендель изумленно хмыкнул и снова затянулся сигаретой, сильно втянув щеки. Потом медленно выдохнул дым и кивнул. Совсем как заводная кукла. Кинетическая скульптура Наума Габо. "Механизм после конца света". Герру Хофферу тоже захотелось курить. Удивительно, почему Бендель не предложил ему сигарету.

— Для меня мало. Если помните, я родом из чудесного города Лейпцига. Что же, прикажете ехать туда, к родителям? К тому же его взяли большевики. Захватили варвары. Он слишком красив для них, дикарей. Не знаю даже, живы ли мои. В общем, в Лоэнфельде я был счастлив. Здесь мне было хорошо. Очень хорошо. Я бы даже сказал, *чрезвычайно* хорошо.

"Я думаю не о том", — мелькнуло в голове у герра Хоффера. Воздух между ними — всего-то несколько сантиметров пустого пространства — был наэлектризован подозрением и предчувствием беды.

— Лейбниц родился в Лейпциге, — с трудом произнес он, проглотив первый слог.

— И Рихард Вагнер.

— И Фоллердт, — вспомнил герр Хоффер. — В тысяча семьсот восьмом.

— Ах, да. И где же теперь ваш Фоллердт?

— На соляном руднике, — быстро ответил герр Хоффер. — Вообще-то у нас была всего лишь копия, как вы помните. Оригинал в Магдебурге. Увы.

Они беседовали совсем как в старые добрые времена.

— Вы уверены, что он на соляном руднике?

— Разумеется. Если его, конечно, не украли по дороге. Кстати, — добавил он, — может, вам стоит избавиться от... формы?

— Когда в ней отпадет нужда.

Отчего-то именно после этой фразы у герра Хоффера побежали по спине мурашки.

— Ну что ж, пора в убежище, — произнес он, с трудом поднимаясь.

Он стоял в одних носках и ждал. Ему совершенно не улыбалось оказаться рядом с одетым в форму Бенделем, когда придут американцы. Ну почему он жил не в забытой Богом и пропахшей навозом деревушке с церковью где-нибудь в лесной глуши!

— Герр штурмфюрер!

Бендель спросил, не поднимая глаз:

— Где Ван Гог?

— Ван Гог? Он в безопасности.

— Где он?

— Вместе с остальными картинами.

— Ну же, Ингрид, это неправда.

— Пожалуйста, не зовите меня так.

— Извините. Это шутка для своих. Вы прекрасно знаете, что его нет с остальными картинами.

— Что?

— Вам это прекрасно известно, герр исполняющий обязанности исполняющего обязанности директора. Он здесь. Он не покидал здания музея. Вы хитрый малый, хоть и симпатичный.

Герр Хоффер покраснел.

— Штурмфюрер, пожалуйста, прекратите оскорблять меня. Это несправедливо.

Бендель закрыл лицо ладонью, сигарета теперь торчала у него между костяшками пальцев. Из-под пальцев поблескивали глаза. Он улыбался.

— Я забыл вам сказать, герр Хоффер, — произнес он. — Я был в Гримменберге на соляном руднике. Ван Гог даже в описи не значится. Как, надо думать, и этот ваш Фоллердт. Но Фоллердт меня не интересует, даже если он не подделка.

— Это не подделка, а копия, — возразил герр Хоффер. — Возможно, кисти кого-нибудь из его учеников.

— Но меня интересует Ван Гог. Он здесь, в этом здании. Он не покинул Музей.

— Вы ездили на рудник в Гримменберг?

— Да.

— Зачем?

— И в бомбоубежище его тоже нет, я проверял.

Он убрал руку от лица и снова затянулся. Все еще улыбаясь, Бендель вытащил из верхнего кармана ключи герра Вольмера на латунном кольце и потряс ими. Герр Хоффер ни разу не видел, чтобы кто-нибудь держал ключи вахтера, кроме него самого.

— В убежище ничего нет, господин исполняющий обязанности исполняющего обязанности директора. Разве что сортиром воняет.

— Все картины эвакуированы, — сказал герр Хоффер. Стоя в одних носках перед этим человеком, ставшим демоном, он чувствовал себя беспомощным глупцом. (А кто такой демон, если не тот, чью красоту отняли боги?) — Вы принесли мне дурную весть. Впрочем, я не удивлен.

— Я повторяю, Ван Гог не покидал этого здания.

— Господи, да я собственными глазами видел, как это произошло.

— Герр Хоффер, вы такой же, как и все прочие.

— Что вы имеете в виду?

— Что вы лжец.

— Ну спасибо.

— Где Ван Гог, Ингрид?

— Прекратите называть меня Ингрид!

Бендель расхохотался. В конце концов, он был солдатом. Солдаты все такими становятся. Это позволяет им не застрелиться.

— Кстати, — поинтересовался герр Хоффер, с трудом подавляя в себе раздражение, — зачем он вам-то понадобился?

— Потому что я хочу на него взглянуть.

Повисла пауза. Мысли герра Хоффера сделались бесцветными, бескровными. Белые стены зала слепили глаза, будто освещенные солнцем снежные вершины. Сабине всегда хотелось в Сан-Морис, подниматься все выше и выше на маленьком поезде. Жизнь так дорого стоит!

— Пожалуйста, — попросил Бендель, снова откинувшись на спинку и глядя вверх. — Дайте мне на него посмотреть.

— Я бы хотел присесть.

— Ну так садитесь. Ваша задница пока еще при вас.

По обе стороны двери стояли стулья, на которых в прежние времена, когда в залах Музея можно было увидеть пышные усы, костяные лорнеты и длинные пышные юбки, дремали смотрители. Со временем усы редели, юбки становились короче, и в конце концов здесь не осталось ни тех ни других, не осталось даже смотрителей. Герр Хоффер опустился на стул справа. Стул слегка зашатался. И после конца света ему придется кое о чем позаботиться. Он запомнил, как расположен стул по отношению ко всему залу. Бог кроется в деталях, как говорил когда-то его учитель. В приличном музее стулья не должны шататься. Скоро для каменщиков и плотников начнется золотое время, как и после шведов. Герр Хоффер глубоко вздохнул.

— Надеюсь, на нас не упадет бомба, пока мы тут разговариваем, — произнес он. — Бедный старик Вольмер. Он очевидно принялся размахивать этим своим идиотским ружьем. Я предупреждал его, что от ружья одни неприятности.

Бендель разглядывал паркет. С его губы свисала приклеившаяся к ней сигарета.

— А вы в курсе, что там, снаружи, несколько ваших ребят из войск СС? Артиллеристы.

Бендель поднял глаза.

— Слушайте, кончайте валять дурака!

Еще одна пауза.

— Наверное, Ван Гога отвезли в Линц, — предположил герр Хоффер — впрочем, неубедительно. — В Музей фюрера.

— Он здесь.

— С чего вы так решили?

— Мне рассказала Сабина.

Герр Хоффер попытался фыркнуть, но поперхнулся и закашлялся.

— Фрау Хоффер? Она ничего не знает.

— Она знает много чего, — с кривой ухмылкой ответил Бендель.

— Послушайте...

— Да?

— Она ничего такого не знает.

Бендель гадко захихикал. Получилось довольно ненатурально. "Он меня провоцирует, — подумал герр Хоффер. — Как бы я хотел его убить!"

— Я имею в виду Ван Гога. Она не интересуется моей работой.

— Герр Хоффер, я видел в Берлине вашу инвентарную опись. Она подшита к делу. На розовом листочке. Какой-то говнюк ставил в ней галочки в день эвакуации. Даже не заметил, что Ван Гога там нет. Вот почему мы проиграли войну. Потому что всем на все плевать.

Герр Хоффер закрыл глаза. Тембр голоса у Бенделя был приятный, но то, что он говорил, было ужасно. Значит, дело не в голосе.

В конце концов, главное — выжить.

— Ну хорошо. Как я и говорил, он вместе с другими картинами. Не на соляном руднике. Часть картин здесь, в подвалах.

Кровь пульсировала в ушах, но все остальное было под контролем. Во-первых, Бендель еще слишком молод, во-вторых, насчет Сабины он лгал. Он просто видел инвентарную опись. Слава Богу.

— В подвалах?

— Да.

— А как же крысы?

— Потравили.

— Когда?

— Недавно.

— А сырость?

— На поверку там оказалось не так уж и сыро.

— Это правда?

— Да.

— Когда их туда перенесли?

— В конце марта, перед общей эвакуацией, — соврал герр Хоффер. — В прошлом году. Точную дату не помню. С тех пор год прошел! Все как в тумане. Вас тут уже не было.

— Я был в Берлине.

— Я так и понял, — кивнул герр Хоффер. — Ночные клубы, танцы, концерты...

— Мне не по душе большие города. Я люблю деревья, леса, дикую природу. В Шпреевальде были сплошные палатки, ружья и колючая проволока. Мы все только портим. Вот он, капитализм. Да и вообще политика. Большевизм, фашизм, монархический феодализм, да что угодно. Одно хуже другого.

Он снова затянулся и выдохнул дым через нос.

— Вот черт! Подвалы... Надеюсь, вы все-таки избавились от крыс. Они размножаются как сумасшедшие. И жрут все, что попадется.

— Мы все засыпали крысиным ядом.

— Газ лучше. Надо было накачать полный подвал газа. Это быстрее. И на евреях проверено.

Герр Хоффер рассмеялся.

— Главное, не шутите так, когда они возвратятся.

Бендель посмотрел на него и нахмурился:

— О чем вы?

— О ваших шуточках, — повторил герр Хоффер, внезапно похолодев от ужаса.

— Каких шуточках?

— Таких. Про газ.

Бендель, словно пьяный, уставился на него красными глазами.

— Знаете, с американцами это не пройдет.

— Что именно?

— Вранье, что вы ничего не знали.

— Чего я не знал?

— Герр Хоффер, актер из вас никакой.

Герр Хоффер озадаченно покачал головой. Потом встал и раскинул руки. Бальдр был богом мира. Он дарил свой свет всем вокруг.

— Знаете что, герр штурмфюрер? Могу я звать вас Клаусом после стольких лет знакомства? А вы меня — Генрихом. Клаус, мне только что было видение. Тысяча девятьсот пятидесятый год, мы с тобой стоим на этом самом месте и любуемся картинами. Обсуждаем их, как всегда. К тому времени все это забудется, как дурной сон. Я угощу тебя настоящим кофе, со сливками. — Он все-таки перешел на "ты", не спрашивая разрешения. — И пирожным. Обещаю. А теперь, если ты не против, я продолжу свой обход.

Неожиданно на него уставилось дуло автомата. Почему-то больше всего раздражало, что он такой маленький. И совсем без деревянных деталей. За сигаретным дымом впалые глаза Бенделя потемнели и налились кровью. Автомат он держал легко, даже подняться не потрудился. С его плеча медленно, сама по себе, сползала кожаная лямка.

— Сядь, — приказал он.

Герр Хоффер сел, дуло автомата опустилось за ним следом.

— Я всегда уверял герра исполняющего обязанности директора Штрейхера, что ваш интерес к Ван Гогу исключительно невинный. Теперь я понимаю, что был наивен. Очень жаль.

У герра Хоффера сперло дыхание, а проклятые очки опять запотели, так что все вокруг превратилось в картину неизвестного импрессиониста. Бендель стал размытой тенью на белом фоне. Вот размытая тень поднялась. Герр Хоффер слегка повернул голову, чтобы посмотреть через не запотевшую часть стекла, рядом с оправой. Теперь он видел, что Бендель держит автомат перед собой — наготове.

— Если вы убьете меня, — сказал герр Хоффер почему-то детским голосом, — вам никогда не найти Ван Гога.

— Он же в подвале. Вы сами сказали.

— Я его спрятал так, что вы никогда не найдете.

— Неужели?

— Да.

Герр Хоффер отчетливо осознал, что его жизнь висит на волоске — вернее, вот на этом самом коротком слове: "Да". Все остальные слова занимали слишком много пространства и времени.

— Вы его спрятали?

— Да, — повторил герр Хоффер.

— В подвале?

— Да. Без меня вам его не найти. Вы даже вход в подвал не отыщете. А если и наткнетесь на вход, картину все равно не найдете.

— Вы хотите сказать, там заперто, и у вас единственный ключ?

— Я хочу сказать, что я спрятал картину в месте, о котором знаю только я, потому что я один ее прятал. Картину.

— Вы покажете ее мне.

— Только если после этого вы оставите ее на месте.

Герр Хоффер улыбнулся, как идиот. Он победил. Его не убьют, по крайней мере сейчас. Кстати, удивительно, но ему совсем не было страшно. Прямо-таки противоестественно. Он даже мог шутить. А если его голос звучал по-детски, он не виноват. Непосредственная реакция неподконтрольна разуму.

Ему удалось даже представить себе, как пули проходят сквозь него, оставляя его невредимым. Как стрелы, которыми боги стреляли в Бальдра в Асгарде — все только смеялись, когда они отскакивали от бога солнечного света.

— Я рад, что сегодня вы не остались дома, герр Хоффер, — сказал Бендель. — С прелестными дочурками и очень покладистой женой.

— Спасибо. Послушайте, давайте...

— Что?

— Ничего. Что, если я откажусь вам помочь?

Бендель провел рукой по внезапно побелевшему лицу.

— Важно то, — сказал он, не ответив на вопрос, — что у нас очень мало времени.

— Я думал, мы друзья. Я думал, на свете существует доверие.

— Я тоже, — ответил Бендель. — Вот почему, герр Хоффер, я так в вас разочарован. Господи, я всего лишь хочу на него *посмотреть*, — добавил он после паузы.

46

Женщина остановилась перед большим полуразрушенным многоквартирным домом. Вокруг царили мерзость запустения и разруха. Мрак и тишина. Казалось, жизнь ушла отсюда столетие назад, и время довершило то, что не успели разрушить люди. Кучка штатских, в основном женщины с детьми и стариками, куда-то медленно брела, словно движимая какой-то тайной целью — ничего другого у них уже не осталось. Слабые отблески догоравшего пожара высвечивали их горестные, высеченные из дерева лица.

Ничего более печального Перри видеть еще не доводилось — по крайней мере, со вчерашнего дня. Грусть, как и боль, существует только здесь и сейчас. И с каждым разом она становится все глубже и глубже. Когда она достигнет дна, ты умрешь.

Видимо, дети этой самой фрау Хоффнунг или Хоффман здесь, догадался Перри. Он остановился, сдвинул на затылок каску и почесал запаршивевший потный лоб. Она схватила его за руку и, указывая на дом, затараторила по-немецки.

Да, так и есть.

Беда в том, что дом-то почти разрушен.

Целая куча кирпичей высыпалась на улицу из парадного входа. Обломки завалили лестницу и холл — точно дом выблевывал собственные внутренности. Перри достаточно знал по-немецки, чтобы понять: meine Kinder — мои дети. Он даже знал, что посвященный мертвым детям гимн Малера называется "Kindertod"[1], или как-то похоже.

Как все сошлось.

Ему нравился Малер — и нравился свинг и джаз. Его увлекали самые разнообразные вещи. Ему бы пожить подольше, чтобы успеть сплести из этих увлечений нечто значительное, именуемое Жизнью с большой буквы. Глупо лезть в аварийное здание, искать мертвых детей обезумевшей немки. Свернутое в трубочку полотно — его богатство — при нем, война вот-вот кончится, его, быть может, и не убьют, и он вернется домой и проживет интересную, счастливую, удачную Жизнь, вдалеке от всех трагедий Старого Света. Он будет рассказывать внукам, как сражался со злом и помогал добру, повторяя дрожащим старческим голосом: "Да, ребятки, смерть была совсем рядом, но я еще хоть куда". Он хочет писать картины — настоящие картины. Он достоин большего, чем тупая должность коммерческого агента, иллюстратора-халтурщика, единственная мечта которого смотаться в августе на недельку в глухомань и порыбачить. Он не допустит, чтобы его жизнь свелась к приобретению бытовых приборов и сухого корма для собаки. Свелась к Морин за гладильной доской.

Но женщина, у которой слезы текли по щекам и капали с носа и подбородка — словно шел проливной дождь, умоляюще тянула его за руку.

— Не суетись, — сказал Перри. — Ну, давай успокойся.

И, тихо насвистывая мотив "Завтра будет славный день", он вытащил фонарик и посветил на дверь.

Он и сам не понимал, зачем ввязывается, чего ради лезет на гору мусора и внутрь здания — все его нутро восставало, но он лез и лез дальше и дальше. Женщина не отставала от него ни на шаг.

Во всем есть свой смысл, своя красота.

"В том, что я делаю, есть и смысл, и красота", — подумал он, и душа его исполнилась радостью, даже опасность, притаившаяся в полуразрушенном доме, даже дымная темнота, которую, словно луч прожектора, пронизывал его фонарик, все имело смысл и красоту.

"В том, что я делаю, это есть", — решил Перри.

47

Если бы жизнь могла быть такой же простой и прекрасной, как музыка, думал герр Хоффер. Взять, к примеру, "Любовь поэта" Шумана, опус 48. Тоже цикл песен на слова Гейне. Сабина подарила ему эти пластинки на

1. "Смерть детей" *(нем.)*.

день рождения много лет назад, а когда узнала, что Гейне еврей, захотела их выкинуть — больше из страха, чем из фанатизма. Разгорелась страшная ссора, он победил и запер пластинки в ящике стола. Потом она прочитала в газете, что в Вене фюрер посетил концерт, на котором исполняли этот цикл Шумана, и пластинки вернулись в гостиную.

Или шесть пластинок с ораторией Генделя "Мессия". Когда началась война, Сабина побаивалась их включать, потому что там пели по-английски. Она предпочла старонемецкие народные песни и танцы. Вообще-то ей нравился джаз, но джаз был в опале. Еще ей нравился Иоганн Штраус, она собрала множество его пластинок. Герр Хоффер не стал ей говорить, что в венах Штрауса тоже текла частица еврейской крови. Он был не из тех, кто находит развлечение в семейных ссорах. Штрауса он, однако, не любил и, когда она ставила очередную пластинку, удалялся в спальню с книжкой. Она поступала так же, если он заводил Генделя или Шумана. "Музыкальная война, да и только", — пошутил он однажды.

Шуман, правда, не был таким простым. Особенно фортепианные произведения. Герр Хоффер с удовольствием обсудил бы это с Бенделем, как в старые добрые времена. Однажды в концертном зале Лоэнфельде, когда играл Альфред Корто, Сабина углядела Бенделя в ложе для почетных гостей. В антракте они разговорились.

— Шуман — величайший романтик, — объявил Бендель, глядя на них с Сабиной поверх бокала шампанского, — только внутренняя борьба и спасает его от однобокости.

Сабина спросила, что он имеет в виду.

— В нем соседствовали две личности. Одна — нежная, другая — дикая. Одна — день, другая — ночь. Музыка Шумана — это борьба композитора с собственными демонами.

Сабина смотрела на него большими изумленными глазами.

— Герр штурмфюрер, вы всегда так интересно говорите!

— Всех нас терзают демоны, фрау Хоффер. Но большинство людей слишком старательно прислушиваются к своему буржуазному "я" и ничего не замечают.

— Что вам у Шумана больше всего нравится?

— "Ночные пьесы", герр Хоффер. Как услышу, тянет выть на луну.

Они рассмеялись. Это был прекрасный вечер.

Но то был прежний Бендель. В сегодняшнем возобладал его собственный демон.

Было темно — хоть глаз выколи. Бендель отправился в туалет, а герра Хоффера запер в маленькой кладовке бомбоубежища. Судя по всему, у него было что-то похожее на дизентерию, и нормального туалета он не видел уже несколько недель. Волнение спровоцировало приступ. Присутствовать при этом было неловко. С огромной связкой ключей герра Вольмера Бендель походил на тюремщика. Герр Хоффер принялся планировать долгий обходной путь к подвалам, через множество неиспользуемых помещений. Пытаться выломать дверь не имело смысла — туалет был прямо напротив. Темнота пахла мастикой для пола и подмышками фрау Блюмен. В маленькой каморке было душно и тесно. "До чего же я грязный", — подумал герр Хоффер. Вот римляне — те были чистюлями. Бассейны для дождевой воды в центре атриумов. Просторные термы.

А ведь он сказал правду. Только он знает, где найти Ван Гога.

Бендель отпер дверь. Ему явно полегчало.

— Пошли, — сказал он. — Я думал, ты попробуешь сбежать. Следующая остановка — подвалы!

Он был почти что весел, этот Бендель.

Когда герр Хоффер только еще поступил на работу, подвалы уже были чем-то вроде склада ненужной рухляди с единственной электрической лампочкой, от которой на стены ложились причудливые тени. Однажды, разбираясь в том, что там хранилось, он случайно наступил на неплотно прилегавшую напольную плиту. Звук показал, что под ней — пустота. Примерно через час работы он сумел поднять плиту и обнаружил под ней яму, напоминающую небольшую, совершенно пустую могилу. Видимо, потайная темница; место, где человек мог исчезнуть, обманув гончих псов истории.

Домой герр Хоффер вернулся поздно.

— Как странно от тебя пахнет, — спросила Сабина. — Где ты был?

Запах подвала пропитал его одежду и волосы, под ногтями была грязь. Странное завихрение мысли заставило жену заподозрить его в измене. Сабина была молода, беременна и ревнива. Назначение в тот самый день Гитлера рейхсканцлером привело ее в состояние нервного раздражения, которое она и выместила на муже. Скандал получился классный — тогда-то они и разбили свою первую тарелку. Получить максимум удовольствия им помешала начавшаяся трансляция торжественной речи рейхсканцлера.

— *Эта дверь?* .

— *Да. Потом по коридору направо.*

— *По-моему, вы водите меня кругами, герр Хоффер.*

— *Это единственный возможный путь, мой дорогой друг.*

— *Про демократию тоже так говорят. Единственно возможный путь, по которому вечно ходишь кругами и никогда не попадаешь куда надо.*

— *Не волнуйтесь, герр штурмфюрер, мы попадем куда надо.*

Реальность, конечно, не подтвердила щедрых обещаний свежеиспеченного рейхсканцлера. В тот день в тридцать шестом году, когда партия запретила лимоны как не исконно германскую еду и принялась пропагандировать ревень, герр Хоффер понял, что страна в руках сумасшедших, — и не только потому, что терпеть не мог ревень, вечно застревавший между зубов. Пропаганда ревеня началась в тот же день, что и кампания чистки музеев от "вырожденцев".

Худший день в его жизни.

Чистка.

Забыть этот день никак не удавалось, герр Хоффер возвращался к нему снова и снова, как собака к лужице собственной блевотины. "Низкосортная порнографическая еврейская пачкотня, уличная мазня" — неистовствовали Цигель и Вилльрих. Почему эти слова не идут из головы, а столько прекрасных строк забыты?

Следующее утро, Длинный зал, тишина. Беспечные облака за окнами. Герр Штрейхер, не сумевший зажечь трубку, — руки не слушались, и герру Хофферу пришлось ему помочь. Герр Штрейхер, с опущенной головой, седой, растрепанный, молчаливый. Совсем как Бог, подумал герр Хоффер, разочаровавшийся в Адаме и Еве. Но может быть, Бог совсем не такой, каким представляется. Может, сейчас он всем доволен.

Может, он считает их дураками из-за того, что они полагали гениальным Шмидта-Роттлуфа и сравнивали его с великими мастерами.

— Назад в детский сад, приятель! — кричал Циглер, снимая со стены Шмидта-Роттлуфа. И все смеялись.

Никто ничего не знает о Боге. Никто ничего не знает даже о самом себе.

— Ну, хотя бы жемчужину не забрали, — сказал он наконец.

— Какую жемчужину?

— Ван Гога, герр Штрейхер.

— Ах, да.

— И Сезанна.

— А... а Пуссена?

— В другие залы они вообще не заходили.

— Они забрали мою душу, — пробормотал герр Штрейхер и высморкался.

— До вашей души им не добраться, — неуверенно промямлил герр Хоффер.

— Уже добрались. Я — пустая оболочка. Высосанное яйцо.

Душа герр Хоффера воспряла снова, а вот душа герра Штрейхера нет. Первый сердечный приступ случился с ним неделю-две спустя, и многие месяцы он лежал, прикованный к постели, в своем большом доме, в обществе одной лишь хорошенькой служанки.

Но с тех пор герр Хоффер стал плохо спать по ночам — его не покидала мысль, что жемчужина в опасности. Мало ему было истерических речей Циглера и Вилльриха, визитов штурмфюрера СС Бенделя и любви к Ван Гогу министра Геббельса, так еще в тридцать восьмом на конференции музейных работников герр Хансен с официальной трибуны объявил Ван Гога душевнобольным.

Его нервы совсем расшатались.

Когда в 1941-м пришли гестаповцы, то, взглянув на картины в бомбоубежище, они лишь молча хмыкнули. Их интересовали только евреи и коммунисты. Они обыскали чердаки. Подвалы же оказались надежным тайником, вход, замаскированный под кладовую со швабрами, так и не обнаружили. Хотя герр Хоффер очень разволновался, увидев, каких огромных псов они с собой привели.

— *Прямо, последняя дверь налево. Потом в кладовую и вниз по лестнице.*

— *В кладовую? Герр Хоффер, так вы меня к минотавру заведете.*

— *Совсем нет, мой дорогой друг.*

Куда прятаться, когда на тебя натравили гончих псов истории?

Он и думать забыл про потайную темницу!

В сорок втором, как только Бенделя куда-то перевели, герр Хоффер спустил Ван Гога и еще около пятидесяти полотен из бомбоубежища в подвал, доведя, таким образом, количество спрятанных картин до сотни. Ему помогал Вернер. На это ушло несколько вечеров — тяжелая работа: вверх-вниз, вверх-вниз. Плечи потом долго ныли, да еще и боли в коленях начались.

О том, как он на самом деле намеревался укрыть Ван Гога, герр Хоффер не сказал никому, даже Вернеру.

Сотрудники музея регулярно навещали спрятанные картины. Необходимо было перепрятать Ван Гога, но как?

И однажды в сентябре сорок четвертого, когда он делал набросок со спящих дочерей, его осенило.

Он перевернул страницу в альбоме. Эрика проснулась и потерла глаза. До чего прелестна! И Элизабет тоже, как ангел, пребывает в стране невинных грез... Как же ему повезло, дважды повезло! Чистая страница вызывала в нем желание нарушить ее белизну, наполнить ее духом лесов, холмов и рек или очарованием собственных дочерей. Раскрыть ее секрет, как сказали бы древние китайцы.

– Папа, зачем ты меня рисуешь? Покажи.

– Я тебя рисую, потому что ты делаешь меня счастливым, малышка Элизабет. Не вертись.

Впрочем, нельзя сказать, что он был доволен тем, что у него получалось.

– Вот бы фюрер пришел поцеловать меня перед сном.

– По-моему, это не самая хорошая идея, малышка.

– Почему?

– Потому что ты бы расчихалась от его усов.

– Ну и что!

– Как это *что*? Из-за твоего чихания и он бы расчихался. А когда он чихает, рушатся дома.

– Я не знала.

– Кроме нас никто этого и не знает. И ты никому не говори. Даже маме и Эрике. Ты умеешь хранить секреты?

– Конечно!

– Тогда никому-никому не рассказывай, как чихает фюрер. Хорошо?

– Хорошо. Папа, дай посмотреть.

– Смотри.

– Но ты ничего не нарисовал!

– Ты же все время вертелась.

– Так и назовем рисунок – "Элизабет все время вертелась". Подпиши его!

– Повесим его в рамку, моя радость. Это будет мой самый лучший рисунок.

– А когда фюрер придет в гости, рисунок его насмешит, правда?

– Боже, мне только что пришла гениальная мысль!

– Какая?

– Да так, насчет работы.

– Папа, а когда фюрер смеется, дома тоже рушатся?

Она запрыгала на кровати. Проснулась Эрика. На шум явилась рассерженная Сабина. Но это уже не имело никакого значения. Главное, теперь он знал, что делать.

И вот, несколько дней спустя, при помощи фрау Шенкель и Вернера Оберста, и. о. и. о. директора, радея о пущей безопасности вверенных ему картин, завернул два десятка полотен в бурую упаковочную бумагу, завязал бечевкой и, пронумеровав свертки, вернул их на прежние места на подставках. Он даже упросил фрау Шенкель достать упаковочную бумагу на фабрике, где работал ее муж, а бечевку позаимствовал в библиотеке Вернера. Такой чести удостоились только самые ценные полотна, кроме того, фрау Шенкель упаковала березовую рощу Пауля Бюрка, а Вернер – весьма бледную копию Фоллердта, потому что она

напоминала ему о детстве в Берхтесгадене. Герр Хоффер лично упаковал Ван Гога и присвоил ему номер — девятнадцать.

— Тут глухая стена, герр Хоффер.

— Сдвиньте швабры в сторону. Ручка встроена в стену за откидным клапаном.

— Как изобретательно, герр Хоффер!

— Нащупали? Она где-то там. Дайте мне. Мы почти на месте, друг мой.

Той же ночью герр Хоффер осторожно распаковал "Художника в окрестностях Овера" и заменил его чистым холстом в раме тех же размеров. Прямо здесь, в подвале, он выпилил планки для рамы, старательно натянул холст и прибил его гвоздями, а затем покрыл тремя слоями грунта, как будто и в самом деле собирался что-то на нем писать. Постучал по нему пальцем — звук получился глухой. Холст манил безграничностью возможностей. Герру Хоффферу захотелось написать копию Ван Гога, но бесталанную подделку распознает, наверное, даже фрау Шенкель. К тому же на это требовалось время, которого не было. Совершенно спокойно, без тени волнения, он завернул пустой холст в бурую упаковку номер девятнадцать, чувствуя, что оказывает услугу всемирной истории искусства, и слыша рукоплескания ангелов.

Завернутого в мешковину Ван Гога он опустил в потайную темницу, уложил там ласково, как кладут в могилу мертвого младенца. Оттаскивая на место каменную плиту, он чувствовал, что возносится к небесам.

Жемчужина спрятана. Ах, эта беспробудная, отрадная тьма!

Чистый холст покоился на подставке на месте, где был Ван Гог, завернутый в ту же бурую упаковочную бумагу с написанным на ней номером девятнадцать. Со вздохом герр Хоффер спустился с небес на землю.

Все прошло так легко и просто, что в кабинет он возвращался вприпрыжку, а там, поставив пластинку с божественной музыкой Мендельсона, выпил за собственное здоровье. На его глаза — он был так одинок в этом огромном темном здании — навернулись слезы. Он сослужил добрую службу богам, и те, рассевшись по диванам, попивали коньяк и одобрительно кивали.

В матовом стекле появилась тень — это был Густав Глатц с серым батоном хлеба и книгой. Он вошел через черный ход, от которого у него был ключ. Герр Хоффер налил бедняге Густаву бренди и пообещал себе сменить замок. Густав вынул вставную челюсть и высунул изрезанный шрамами язык. Книга, к удивлению герра Хоффера, оказалась запрещенной — стихи Рильке. Рильке был евреем. Но когда герр Хоффер попытался ее отнять, Густав никак не хотел ее отдавать и спрятал под пальто.

На следующий день герр Хоффер сменил замок. До этого ему и в голову не могло прийти, что безобидный Густав может по ночам проникать в музей. В последнее время бедняга вел себя очень странно и совершенно облысел.

Раз в месяц герр Хоффер проверял тайник, освобождал от мешковины свое сокровище и в мерцании свечи разглядывал подпись Vincent, вдохновенные мазки, бросающие вызов всему миру и отрицающие саму смерть (которая пришла за художником всего несколько недель спустя). Конечно, грабли на картине — это мольберт, и крошечный человечек — сам художник! Застигнутый разгулом стихии!

Он ликовал. Да, герр Штрейхер, в небесных сферах мы с Ван Гогом и в самом деле большие друзья.

— *Теперь вниз, герр штурмфюрер.*

— *После вас, герр Хоффер. Не думайте, я не идиот.*

— *Разумеется, дорогой друг.*

Вот уже два года никто не просил показать, что там — в упаковке под номером девятнадцать. Никто. Положение щекотливое, — думал герр Хоффер, ощущая, как осужденный на казнь, спиной маленькое железное дуло, а ногами в одних носках — холод каменных ступеней.

48

За преградой из кирпичей были люди, Перри увидел их, когда вместе с немкой перевалил на другую сторону. В сером дымном луче фонарика они напоминали привидения. Потолок, казалось, готов был вот-вот обрушиться, из разорванной трубы струйкой стекала вода, дух был сырой и кислый. Газ, наверное. Сработало не обоняние, а вкус. Людям здесь не место, подумал он. Верхние этажи еще до конца не осели, при малейшей вибрации нарушится равновесие, они сползут вниз в облаке пыли и всех раздавят.

И что теперь? — спросил он сам себя.

Он присвистнул, точно водопроводчик, которого вызвали что-то подкрутить и которому пришлась не по душе хлещущая вода.

Свист, и тот может вызвать вибрацию, подумалось ему.

Сквозь кислую клубящуюся тьму откуда-то снизу пробивался свет, выхватывавший из мрака бледные, будто никогда не видевшие солнца лица. Люди расступились, и он — сознающий свою мощь победитель — прошел вперед, будто и вправду знал, за каким чертом сюда явился.

Оказалось, свет сочился из нижней части лестничного пролета, каменные ступеньки которого были до середины расчищены. Кирпичи, обломки перил, куски карнизов, металлическая арматура, чемодан, пара штангенциркулей, книжка со щенками и котятами на обложке — все это добро было, как снег при уборке, сдвинуто в сторону, чтобы освободить узкий проход в самый низ, к двери, обшитой, словно танк, стальными листами. Три человека изо всех сил пытались открыть ее. Источником света служила старая керосиновая лампа, в Германии такие им попадались на каждом шагу.

Только беда была в том, что дверь-то и удерживала потолок от обрушения.

Перри сразу это сообразил, видимо, от взрыва дверь слегка приоткрылась, и потолок лег на нее. Еще удивительно, как он до сих пор не рухнул.

Перри направил на дверь фонарик, чтобы хоть как-то прояснить ситуацию.

Три человека — двое пожилых мужчин и женщина — переговаривались с кем-то, находящимся по ту сторону двери. Фрау Хоффнунг — или как там ее — стояла рядом с ними, прижимая ладонь ко рту, на ее оттопыренной, расплющенной пальцами нижней губе блестела слюна. Перри наконец сообразил: они находились в коридоре подвала. Под потол-

ком тянулись трубы и провода, а в конце потолок, как по волшебству, понижался и касался верхней кромки стальной двери. За ней слышались рыдания. Там, по-видимому, находилось множество людей. Над ними нависало целое здание; сдвинешь дверь — исчезнет опора, и дом, скорее всего, обрушится и погребет под собой всех, и его в том числе.

Ему стало страшно — но совсем не так, как в бою. Ведь силы, противостоящие ему сейчас, не были одушевленными. А из пушки стреляет человек. Тут же — масса и равновесие, силы давления и притяжения. Чистая математика, а может, физика. Ни ту, ни другую не проведешь. Стоит ему вмешаться, хоть чуть-чуть что-то там нарушить, и все сооружение тут же обвалится, рухнет им на головы.

Он посмотрел наверх — пот заливал глаза (внизу было очень душно — из-за пожаров, что ли?) — и увидел, что штукатурка вспучивается и трескается, словно дом еще не решил окончательно, падать ему или стоять на месте. Не делом занимаются эти трое штатских. У них же нет никакой подготовки, они обычные люди и ни черта в этом не смыслят. Он шагнул к ним, они глянули на него, и Перри внезапно почувствовал, что он здесь главный. Американец берет на себя ответственность.

Перри поднял руки и произнес:

— Мы ее высадим, только действовать надо с умом.

Они все поняли, хотя и были иностранцами.

Он посветил в щель между дверью и косяком. Из мрака сверкнул глаз. Кто-то захныкал. Донесся стон. Однако там много народу, не двое и не четверо. Наверняка так по всему городу. В последние месяцы чего он только не навидался и не наслышался от спасателей, с ног до головы перепачканных известкой. И людей, которых вытаскивали из-под груд щебня, в которые превратились убежища, он тоже видел. Сплошь покойники или почти покойники — огонь, газ, еще что-нибудь. Но тут все по-другому. Тут нужна помощь профессионала.

Под напряженными взглядами надеющихся на него людей Перри обдумывал создавшееся положение.

Надо пойти и привести кого-то. Только кого? Отрывать парней от выпивки, от костра, от девчонки? Чистая прозрачная вода прибывает так скоро, что нет времени изучать вопрос всесторонне, ясно одно — это задача не для танковых дивизий, они не могут разгребать завалы, спасая чьи-то души. Это задача для тех, кто следует за танками, — для пехотинцев, чтоб им пусто было!

Почему-то подумалось: а ведь он подвел Моррисона, не постарался как следует, не принял правильного решения.

Перри вообще не мог про себя сказать, что он особо напрягался и всегда вникал в ситуацию. Будь то непрерывные бои, с которыми они шли от самого побережья, или разведка огневых точек, когда сидишь по пояс в снегу и не знаешь, какая стена, или дерево, или живая изгородь плюнет в тебя смертью.

Он просто выполнял приказы и надеялся выжить. Задница болела, сырость и холод пронизывали, чернослив и фасолевый суп в концентрате осточертели, но это и все. Проблема выбора его не волновала. А сейчас надо было принимать решение.

Он в ответе за этих людей — это чувство снизошло на него словно благодать. Он спасет их всех, спасет детей фрау Хоффман, он покажет всем

им, что такое храбрость и добродетель, и не умрет, он знал наверняка, что останется в живых, слепо верил в это. Судьба-злодейка на его стороне.

— Я думаю, — сказал он, потому что окружающие, уставившись на него, тараторили на немецком, на котором он ни бельмеса. Он поднял руку и повторил: — Я думаю.

И они стихли, поняли, о чем он. И он договорился с высшими силами — или, может быть, с самим собой, с тем высоким, что было в нем: если я спасу этих людей, наградой мне будут заснеженные вершины и золотая долина, которые лежат в моем планшете, где у солдата обычно припрятана бутылка. Чудесный трофей!

Все-таки Перри был глубоко моральным человеком, воспитанным благочестивыми баптистами, и не мог допустить, чтобы всю оставшуюся жизнь его мучила совесть за незаслуженный дар.

49

Они стояли на каменных ступенях, ведущих в подземелье. Герру Хофферу казалось, что он вот-вот нырнет в бездонный омут.

— Ну?

— Это там, за железной дверью.

— Тогда идем.

— Мой дорогой друг, все-таки я не могу позволить себе нарушить профессиональный долг...

— Да заткнись ты!

Бендель даже подтолкнул его в спину автоматом, дуло скользнуло по позвонку, как кий по бильярдному шару. Сделалось больно и как-то гадко. Герр Хоффер понял, до какой степени ожесточен Бендель. Любезный, даже галантный в ту пору, когда, будучи молодым офицером СС, занимался перекладыванием бумаг, теперь он превратился в бандита.

Это происходит не со мной. Даже мой несчастный позвонок болит в чьем-то чужом позвоночнике.

Ему захотелось, чтобы призрак герра Вольмера явился и прикончил Бенделя выстрелом в упор, но такое, увы, случается только в кино. Сквозь носки он чувствовал холод и сырость камня, точно они спускались в застенки древнего замка. Да, герр Хоффер был в одних носках. К немалому его смущению серые носки были заштопаны черными нитками. Может, когда-то подвалы и в самом деле служили темницами, где десятилетиями, постепенно сходя с ума, гнили закованные в цепи узники.

Они спустились, он постучал в незапертую железную дверь.

— Вернер, у нас гости. Помнишь штурмфюрера Бенделя?

Вернер кивнул. Они вошли, дверь за ними захлопнулась.

Герр Хоффер медленно привыкал к свету свечи. Настороженный Вернер пересел в тень рядом с Хильде Винкель. На мое место, подумал герр Хоффер. Хильде и сидевшая напротив нее фрау Шенкель хмурились. Во рту фрау Шенкель была зажата сигарета, отчего ее лицо стало простецким, словно у какой-нибудь фабричной работницы. В подвале тоже стоял густой дым.

— Доброе утро, — произнес Бендель, подняв дуло автомата к потолку. — Вот, значит, где картины.

Никто не ответил. Слегка растерянный Бендель замер у двери. Он явно не ожидал здесь кого-то встретить.

– Кажется, все присутствующие знакомы со штурмфюрером Бенделем, – сказал герр Хоффер. – Простите, фрейлейн Винкель, конечно, вы не знакомы. Один из наших постоянных клиентов. Ха-ха, про клиентов я пошутил. Он хочет посмотреть на картины. Закрытый просмотр!

Он нес чепуху и потирал руки.

– В башню попала бомба, – добавил он, сложив руки на груди и приняв начальственный вид, – когда я инспектировал чердаки.

– Господи, – охнула фрау Шенкель.

– Мы что-то такое слышали, – сказала Хильде Винкель, прикрывая пораненную губу рукой.

– Разрушения небольшие. Слегка разворотило крышу. А меня стукнуло по голове.

– Оно и видно, – неодобрительно заметила фрау Шенкель.

– Ты обходил чердаки, Генрих?

– Да, я в порядке, Вернер, спасибо.

– Ты не... значит, там больше никого не было?

– Я поднялся один. Герр Вольмер остался на своем посту. Странное дело, – продолжал он, – похоже, иногда туда забредает бедняга Густав. По крайней мере, недавно он там точно побывал.

Герр Хоффер достал красный блокнот. Внезапно его осенила ужасная мысль, что герр Вольмер мертв.

– Это блокнот бедного Густава?

– Полагаю, да, фрау Шенкель.

– Бедняга.

Вернер вскочил на ноги, будто заводная игрушка.

– Это собственность библиотеки, – заявил он и выхватил блокнот из рук Хоффера.

– Вы невежливы, друг мой, – улыбнулся герр Хоффер и погрозил ему пальцем. Как же он постарел. Ну ничего, скоро все закончится, и жизнь начнется сначала, с белого листа.

До чего же противно тут пахнет. Кто-то испортил воздух. Должно быть, фрау Шенкель.

– Чему обязаны, герр штурмфюрер? – поинтересовался Вернер не слишком твердым голосом. Он снова ретировался в тень, так что его голос донесся откуда-то из-за подтянутых к подбородку коленей Хильде.

– Герр Хоффер вам все объяснит. Я слишком устал.

– Вы пришли защищать нас? – спросила фрау Шенкель.

– Нет, – ответил Бендель и прислонился к стене.

– Понятно, – сказала фрау Шенкель и затянулась.

– Он хочет посмотреть одну картину, – объяснил герр Хоффер.

– Какую? – скривился Вернер.

– Ван Гога.

– Винсента?

– Да, Вернер.

– То есть, – заключил Вернер, – он хочет ее прикарманить,

– Ну, для этого картина великовата, – улыбнулась фрау Шенкель. – Впрочем, в заплечный мешок, может, и влезет.

– Я хочу просто посмотреть, – сказал Бендель.

— Все так говорят, — буркнул Вернер.

Казалось, он чем-то расстроен.

— Она под номером девятнадцать, — подсказала фрау Шенкель, махнув сигаретой в сторону картин. — Упакована в коричневую бумагу.

"А вот и нет", — подумал герр Хоффер.

— Мне казалось, вы сказали, что спрятали ее, герр Хоффер? — процедил Бендель.

Господи, почему американцы не могут появиться прямо сейчас!

Он пожал плечами.

— Естественно, спрятали, — проговорила фрау Шенкель. — От властей. Как и все остальные. Полагаю, теперь уже нечего скрывать, — заключила она, обращаясь ко всем.

— Вы совершенно правы, фрау Шенкель, — согласился герр Хоффер.

— В любом случае, вы уже ничего не можете с ней сделать, так ведь, герр штурмфюрер? Вы тут вообще быть не должны. Вы должны быть наверху, защищать отечество.

— У меня кончились сигареты, — только и сказал Бендель.

Фрау Шенкель протянула ему свою, но зажгла ее Хильде, не отводившая руки от лица.

— Что у тебя со ртом, милочка?

— Порезалась. Выглядит не слишком-то привлекательно.

— Ну, все остальное это с лихвой компенсирует, — сказал Бендель, нависая над ней.

Хильде улыбнулась, глаза у нее заблестели. Конечно, подумал герр Хоффер, в тусклом свете свечи Бендель вполне может показаться интересным — хорошо сложен, успел понюхать пороху. Именно такой тип ей и должен нравиться. Она не отличается тонким вкусом, недаром взяла темой своей работы помпезный архитектурный кич вместо того, чтобы изучать подлинные шедевры.

Интересно, как этот парень соблазнял Сабину? Он определенно напрашивается на пощечину.

У герра Хоффера закружилась голова, он резко опустился рядом с фрау Шенкель. В ушах звенело.

Бендель стоял над ними и курил, всем своим видом показывая, что торопиться ему некуда. Он был в форме и с автоматом, а потому обладал властью, в отличие от всех остальных. Ну почему война — это больше не росистые поля и бегающие по ним юноши с мечами! Теперь война — это бомбы, падающие в вашу гостиную. Это нужно запретить, ведь запретили же газы!

Все молчали. Герр Хоффер очень надеялся, что Вернер оставил пистолет наверху, иначе он наверняка начнет им размахивать. Сверху доносились шипение и хлопки рвущихся бомб. Может быть, Бендель настолько устал, что забыл, зачем пришел?

Словно прочитав мысли герра Хоффера, тот посмотрел на холсты. Их было не меньше сотни; ряды уходили в темноту. Переступив через ноги сидевших, Бендель подошел к подставкам. Он курил жадно, нервно, как мальчишка, взгляд перескакивал с одной картины на другую.

Сердце Хоффера ушло в пятки. Он не знал, что делать, просто сидел и ждал. Где твоя изворотливость, Генрих? Не признаваться же, что он подменил холст! Что всех обманул. Пусть даже и с самыми благими намерениями. Впрочем, сейчас благих намерений не осталось ни у кого.

Самое страшное, если Бендель, обнаружив обман, впадет в истерику и всех перестреляет, как застрелил герра Вольмера. В данный момент автомат болтался у него на шее. Герру Хофферу он казался совершенно чудовищным; раньше он и не задумывался о том, до чего уродлив стандартный армейский автомат. Рукоятка как у пистолета, а дальше пистолет разрастался в какую-то отвратительную железную опухоль. О чем легко забыть — так это о весе, о тяжести одной-единственной маленькой пули. Такой стремительной, что ее звук слышишь уже после того, как она в тебя входит. Нет, ты вообще больше ничего не слышишь и никогда не услышишь. Аминь. Смерть приходит бесшумно. Убивает не оружие, а пуля. Если быть точным, как Вернер. Если быть въедливым.

Страшно, если умрешь не сразу, если пуля угодит в живот.

Было так тихо, что он слышал, как тикают чьи-то часы. Истинная тишина подземелья, вкрадчивое молчание пещеры. Совсем как на соляном руднике в Гримменберге, когда перед уходом из огромной шахты номер четыре эсэсовец перестал разглагольствовать о рыцарях и замках и выключил свет. Беспросветная тишина. Сухая пустота смерти. Герр Хоффер отчетливо помнил, как чернота давила на глаза и барабанные перепонки.

— Герр Хоффер, они расставлены по порядку?

— Нет, — соврал он. — Мы убирали их в большой спешке.

— Оно и видно.

Он принялся рыться в картинах, даже не потрудившись затушить сигарету. Некоторое время не раздавалось ни звука, кроме стука рамы о раму, мурлыканья Каспара Фридриха и бурчания в животе и. о. и. о. директора. Бендель будто рылся в огромной картотеке. С картинами он обращался не слишком-то бережно.

— Все старые друзья здесь, — сказал он. — А, вот и Пуссен.

— Я бы с удовольствием почитала дневник бедняжки Густава.

— Нет, — отрезал Вернер. — Это его личное. На чердаках много разрушения, Генрих?

— Я бы сказал, — отозвался герр Хоффер, — что крыша изрядно поедена молью.

— Заткнитесь, — бросил Бендель, не выпуская сигареты изо рта.

Их это возмутило, но они заткнулись. Стук рам, в которых рылся Бендель, был каким-то жутким, шелуха позолоты облетала, как пыль. Каждый раз, дойдя до картины в коричневой бумаге, какого бы неподходящего размера она ни была, он прерывал поиски, поднимал ее перед собой и вглядывался в номер.

"Я изображу потрясение, — думал герр Хоффер, — но мне никто не поверит". Пахло не газами, а скорее канализацией.

— Вот он, — сказал Бендель. — Девятнадцать. Или тут сто девятнадцать? Впрочем, холст великоват.

— Это наш Пауль Бюрк. "Ветер в ветвях". Хотя лично я не слышу никакого...

Бендель подошел к свету и принялся сдирать бумагу.

— Не надо его забирать! — не сдержалась фрау Шенкель. — Я сама его заворачивала.

— Он ничего не возьмет, — возразил герр Хоффер. — Он пришел только посмотреть. Это вполне понятно и...

— Заткнись, — сказал Бендель и вытащил Бюрка из бумаги.

— Говно, — заключил он и сунул полотно в руки герра Хоффера.

— Неправда! — воскликнула фрау Шенкель.

Она тихо заплакала. Бендель на нее даже не взглянул. Герр Хоффер держался за картину, будто это стена, за которую можно спрятаться.

— Как хорошо снова быть среди старых друзей, — произнес Бендель, снова приступив к поискам. — Жаль, что у меня нет времени, чтобы задерживаться перед каждой картиной, как в былые времена.

Найдя еще один холст в упаковке, он распаковал и его, хотя тот для Ван Гога явно был слишком мал.

— Смотрите-ка, несравненный Коро, его прелестная сизая ольха. Так и вспоминается ваша блестящая лекция о Коро и воде и о мечтах Жерара де Нерваля, герр Хоффер. Надеюсь, вы мне не солгали, и картина действительно здесь. Видите ли, у меня мало времени. Если бы у меня были дурные намерения, я забрал бы этого Коро и еще парочку в придачу — мне бы хватило. Но я не вор. Никогда не был вором. Поэтому смотрите: я ставлю его на место.

— Вы сказали, что хотите только посмотреть, — грустно произнес герр Хоффер.

Он выглянул из-за рамы Пауля Бюрка. Пальцы в носках сами собой поджались. Черная штопка выглядела нелепо.

— Я уже сказал. Я не вор, Ингрид.

— Ингрид? — воскликнула фрау Шенкель. Они с Хильде прыснули, и даже Вернер ухмыльнулся.

— Как вы узнали? — спросила сквозь смех фрау Шенкель.

Просто кошмар — они веселились как малые дети!

— Вы сказали, — ответил Бендель.

— Не может быть.

— Может. Вы злились на него, как обычно. Вот и рассказали. Это было много лет назад.

— Что вы ему сказали? — спросил герр Хоффер, сгорая со стыда.

— Это нечестно, — проговорила Хильде.

— Твое прозвище, Генрих, — раздался из тени голос Вернера. — Сколько помню, тебя всегда так звали.

Герр Хоффер почувствовал, что это худшее, что случилось с ним за всю жизнь. Хуже Дрездена. Хуже, чем чистка "вырожденцев". Ингрид. Да, пусть даже он не знал, откуда это пошло, но прозвище к нему прилипло. Парадокс. Не зная, как это случилось, он знал почему.

И в этот момент он если не головой, то нутром понял, что Сабина спала с Бенделем.

50

Они закатят самый грандиозный пир в истории человечества. И все дома в городе восстанут из развалин, и каждый скажет другому: "Отлично выглядишь, дружище", и да будет так. И они упьются пивом, и с небес прольется дождь из "Тропического шоколада херши", что придется весьма кстати. Он выудил из кармана панацею от всех бед этого мира — "Техническое руководство военного департамента ТМ30-006", иными

словами — немецкий разговорник, без которого ему одному и до завтра не управиться, не говоря уже про сегодня.

Слов "балка" и "пила" нет. Выражение "Вы голодны?" есть, зато "В первый раз за всю мою поганую жизнь слышу это слово" отсутствует, а, между прочим, зря. "Убежище рассчитано только на (___) человек". Толку от подобных предложений, как от козла молока. Кому и когда они могут пригодиться? Никто не будет бомбить своих, разве что те ублюдки, которые обстреляли их под Сен-Кантеном.

Он попробовал объясниться по-немецки, тыкая пальцем в нужные слова. Изобразил руками балку. От разговорника не было никакого толка, и Перри запихал его обратно в карман. И тут вспомнил, что у него еще есть красный блокнот, который он забрал в подвале музея у мертвеца с изгрызанным лицом. Сколько же всякой дряни распихано по карманам, а ведь какая-нибудь дребедень может однажды жизнь спасти — портсигар там, индпакет или запасная обойма. Вот и поди знай, что дребедень, а что — нет. Каждая чепуховина может пригодиться, браток.

Он раскрыл красный блокнот, взял вложенный в него карандаш и постарался наглядно изобразить, что надо делать. Балки. Дверь открывать нельзя, потолок, а может, и все здание просядет. Сперва надо чем-то подпереть потолок, как делают шахтеры в забое. Соорудить крепь, поставить подпорки. Перри говорил спокойно и тут же рисовал, чтобы все поняли. Он тут главный. Сколько же этот парень успел страниц исписать. Дневник, что ли, вел, интриги описывал или фиксировал события светской жизни, пока война сюда не докатилась? А может, это размышления солдата? Хотя он был в штатском. Когда листаешь блокнот, сквозное лилово-коричневое пятно от страницы к странице делается все меньше.

Конечно, легко быть главным над людьми, которые все потеряли и во всем изверились. Тоже мне достижение!

Он очень внимательно осмотрел потолок, провисшую штукатурку и выгнутые трубы и убедился, что основная балка, лопнув, поехала вниз и легла на дверь. Она-то ее и держит. Некоторые здания, попав под обстрел, складываются, как карточные домики. Чуть ткнешь — посыпятся. Чтобы это понять, особого ума не надо.

Перри попытался донести до них простую мысль: "Не трогайте дверь. Это опасно. Нужны балки и пилы". На улице пережившие налет женщины и старики уже занялись расчисткой завалов, у них были инструменты, и пилы, и балки — целая куча балок. Вдова, с которой он занимался любовью, заламывала руки и все звала своих дочерей: "Эрика, Элизабет!".

Ей велели выйти на улицу, чтоб не путалась под ногами.

Она ушла, истерически рыдая. Перри не слышал, чтобы Эрика — и другая ее дочка, Элизабет — ей отвечали. Если и вправду нет — дело дрянь. Из-за двери слышались причитания и стоны, словно там все поголовно занялись любовью. Или ждали, пока ими займутся врачи. Кроме того, раздавались испуганные голоса и — фоном — вот это стенание. Значит, жизнь там есть, только, может, живы не все.

— Минутку, — неизменно бурчал Перри, когда его о чем-то спрашивали. Не важно, о чем, немецкий — язык, невероятно далекий от английского. Удивительно, что они вообще живут на одной планете. Но чтобы целоваться и обниматься, языки знать не нужно.

Через пятнадцать минут балки и пилы принесли. Перри тщательно проиллюстрировал план действий в красном блокноте. Полагающаяся ему по службе писчая бумага несколько дней назад намокла, пришла в негодность и пошла на гигиенические цели, а сейчас им был нужен ясный и четкий рисунок – правильно он сделал, что прихватил блокнот. Рисунок произвел впечатление. Перри набросал еще несколько примитивных фигурок и поднял зарисовку повыше, чтобы было видно в щель попавшим в ловушку немцам. В сверкающих из мрака глазах отразились главным образом смятение и страх. Эти люди пребывали без света, в тесноте и ужасе, точно засыпанные в штреке шахтеры. Щель в двери была такая узкая, что луч фонарика не проникал в подвал, а свечей в наличии не имелось. У Перри даже шоколадки с собой не было – может, оно и к лучшему, еще подрались бы из-за нее.

Впрочем, зажигать свечи уж никак нельзя: вон как газом несет, будто лопнули все трубы сразу. Удивительное дело, газ и электричество в домах есть, хотя на дома уже бомбы падают. Теперь-то долго придется без них обходиться. И дерьмом несет, в каждом доме канализационных труб не счесть, но их не замечаешь, пока здание не повреждено и трубы целы. Любой город после бомбежки или артобстрела смердит. Это неприятно, просто отвратительно, и выводит из себя, правда, за горечью новых впечатлений об этом забываешь.

Пока мерили балки, объявился тип, знающий английский. Вид у него был жуткий, будто он долгие годы или воевал, или, наоборот, прятался. У всех у них вид жуткий, за исключением больших шишек – толстых здоровенных нацистов с зычными голосами, хитрых, как звери. Такие точно изыщут способ переправиться в Кларксберг и быстренько завладеют церквями и ломбардами, а потом и всю страну к рукам приберут. А звери бывают хитрыми? От субъекта несло свинарником.

– Привет.

– И тебе.

– Их завалило?

– Похоже на то. Ты говоришь по-английски?

– Говорю. И по-французски. До войны я изучал поэзию Бодлера и Верлена. Меня зовут Антон Цуккер.

Довольно молодой, пожалуй, не больше тридцати. Ну, может, чуть за тридцать. Грязный, изможденный, но видно, что соображает. Перри предупреждали насчет таких, велели проверять документы, только сейчас не до этого.

– Там завалило много народу, – сказал молодой человек.

– Да нет. Просто так кажется.

– Вам помочь?

– Хорошо, что подошел. Подержи-ка это, Антон.

– Я хочу помочь. Я ненавидел нацистов. Нацисты – дерьмо.

– Ну, ясно. Все вы теперь так говорите. Где вы раньше были со своей ненавистью?

– Я три года прятался в тайнике под свинарником. Я коммунист, и насчет нацистов мнение у меня твердое.

– Твердое? Я рад. Что в мире осталось твердого? Господи! Свинарник... За что мы боролись? Мировой революции лучше бы здесь не на-

чинаться. Держи балку и помалкивай, Антон. Только скажи мне, что такое Waldesraus, прежде чем замолчишь.

— Вы имеете в виду Waldesrauschen?

— Очень может быть. Смотри.

Перри вытащил из нагрудного кармана деревянную табличку от картины. Антон поднес ее к глазам.

— Шорох или... шелест леса, — сказал он.

— Серьезно? Мне нравится. Шелест леса.

Из-за двери звали:

— Amerikaner, Amerikaner!

— Американцы здесь, — громко откликнулся Перри. — И такой славный ветерок веет среди деревьев.

51

Нет, они не должны подвергаться опасности из-за того, что он все понял. Явный рогоносец куда хуже тайного.

— А как же те замки во Франции?

— Что-что?

— Вы говорите, что не вор. Чем же вы тогда занимались в тех французских замках и польских дворцах?..

— Это неважно. Я действовал по приказу. Как и американцы с англичанами, которые бомбят все подряд почем зря. А-а, Клеопатра с сиськами-яблоками. Какое убожество.

— Мы первые разбомбили Лондон, — заметил Вернер.

— По ошибке. Они не знали, что это Лондон. Совершенно неважно, кто был первым, — сказал Бендель. — Вы еще на Каина вину возложите.

— Пожалуй, тут вы правы, — согласилась с ним фрау Шенкель, вытирая глаза.

Герр Хоффер хотел вновь обрести самоуважение, но унизительная кличка Ингрид будто пригвоздила его к позорному столбу, а тут еще эти идиотские носки. Бендель — настоящий ублюдок. Такой же, как и тот, другой, еще в школе, — так давно и так недавно. Людвиг Ротенберг. Как это ни смешно, еврей. Коротышка, зато очень сильный. Этот Ротенберг изрядно подпортил маленькому Генриху жизнь. Совершенно непонятно почему, он стал называть его Беатрисой. Это ничуть не лучше, чем Ингрид. А он-то думал, это уже давно забылось.

Бендель нашел очередную коричневую упаковку; герр Хоффер сразу понял: это та самая. В животе вдруг началось мини-землетрясение. Его даже затошнило. Он уцепился за Пауля Бюрка, как утопающий за обломок кораблекрушения.

— Это он, — выдавил герр Хоффер.

Не надо было ничего говорить. Лучше бы он язык проглотил. Как он их всех ненавидел! Как, оказывается, это легко — ненавидеть.

Бендель поднял сверток, его осветила свеча.

— Девятнадцать, — провозгласил он тоном организатора лотереи.

Секунду помедлив, он начал срывать коричневую бумагу, не потрудившись развязать бечевку.

Перри и помогающие ему люди работали очень аккуратно, осторожно. Ведь одно неверное движение — и все полетит к черту, весь мир. Сорвешь мировую революцию — ни больше, ни меньше. Вдруг этому самому Антону (после того, как Сталина застрелят) суждено встать во главе большевиков и водрузить над Землей красное знамя? Впрочем, оно и хорошо, если сорвешь. Зато в остальном — если план не сработает, все будет ужасно.

Расчистку завалов выше по лестнице прекратили. Людям велели покинуть здание и отойти подальше. Керосиновая лампа да фонарик Морисона — вот и все освещение. На дворе стояла ночь, было холодно и сыро, голод и жажда терзали людей.

— Тихо, осторожно, — повторял Перри.

Он был счастлив — он, наконец, при деле, взял всю ответственность на себя, определил четкую цель. Со своим давним знакомцем — страхом — он был накоротке и легко поставил его на место, словно угостил девушку кофе и тем успокоил. Он не расставался с планшетом, ведь в нем находились заснеженные горы и золотая долина. Так и тянуло посмотреть, нажать на кнопки, откинуть крышку и проверить, на месте ли картина, аккуратный рулончик вроде большой британской портянки, только материал погрубее, и не обмотка это вовсе, а произведение искусства, холст, масло, лак, поэзия. Мистер Фоллердт. Чудесный трофей. На металлические кнопки на своей форме Перри тоже нравилось давить, две пружинки в гнезде со щелчком обжимали стерженек, а как потянешь, отпускали. Аккуратная штучка, качественная. Он так привык к этим кнопкам, что даже полюбил их, они были у него на ремне, на планшете, на нагрудном кармане — словом, по всему телу. И почему-то тем острее становилось чувство отчужденности, сиротливости — вот убьют его, а о нем никто и не вспомнит. Армия США не испытывала недостатка в кнопках. Солдаты шли, лежали, спали, свернувшись в клубок, застегнутые на все кнопки. Война была выиграна потому, что ничего из карманов не вываливалось (разве что какая беда приключится, о чем и подумать-то нельзя без дрожи), а в кромешной тьме кнопка была все равно что нос плюшевого мишки в детстве — дотронулся, и потеплело на душе. А когда приходилось ждать — кнопками щелкали.

Перри сдвинул планшет на спину, хоть он и мешал ему наклоняться при распилке. Ради заснеженных гор и золотой долины он ввязался во все это — такова была договоренность с высшими силами.

— Amerikaner, Amerikaner!

— Минутку, ребята.

Только прежде чем приступать к делу, убедись хорошенько, что все держится прочно.

53

Разумеется, увидев белое, словно свежий снег, полотно, Бендель пришел в бешенство. Впрочем, ярость его была холодна и стерильна, как скальпель хирурга, занесенный над жизненно важным органом.

— Герр Хоффер, что за выкрутасы?

— Это моя китайская картина.

— Генрих, — воскликнул Вернер, — что ты натворил?

Герр Хоффер скривился. Ему было все равно. Ингрид! Уехать бы на далекий остров со своими книгами и своими рисунками, как Гоген. Люди омерзительны. Он прижимал к груди картину Пауля Бюрка, отстраненно всматриваясь вдаль, будто мальчик, глядящий через окно поезда.

— Что натворил? Совершил подмену, — сказала фрау Шенкель.

Все уставились на герра Хоффера. Ни дать ни взять встречающие на вокзале. Он прибыл на станцию, где его давно ждали.

— Китайцы умеют заставить говорить пустую поверхность, — пробормотал он. — В ней живет тайна.

Вернер опустился на колени и внимательно всмотрелся в клочки оберточной бумаги.

— Этого не может быть, — сказал он. — Тут точно цифра девятнадцать. Мы вместе ее упаковывали. Генрих? Что ты сделал?

Бендель с пустым холстом в руках походил на слугу с подносом и выглядел скорее озадаченным, чем рассерженным.

Герр Хоффер в мрачном спокойствии отчаяния извлек розоватый лист бумаги в одну восьмую листа.

— Дайте-ка, я проверю, — сказал он.

А ведь ему все-таки удалось их всех перехитрить.

— Не понимаю, — сказал он. — Девятнадцатый номер, ведь так?

Герр Хоффер показал всем опись. Каждый мог убедиться, что против цифры девятнадцать стершимся шрифтом старенького "ремингтона" фрау Шенкель впечатано: *Van Gogh, Vincent; Der Maler in der Nähe von Auvers-sur-Oise (1890), 28 x 21*. Коротко и ясно. Неужели он единолично провернул такую махинацию? Ай да Ингрид! Когда-нибудь они еще вставят в рамочку эту жалкую розовую бумажку.

Вернер, все еще стоя на коленях, выхватил у герра Хоффера бумажку, скомкал ее и скатал в шарик. Когда ее разгладят и окантуют, подумал герр Хоффер, складки добавят ей подлинности.

— Ну ты и тип, Генрих, — процедил сквозь зубы Вернер Оберст, поднимаясь с колен. Теперь он возвышался над сидящим герром Хоффером.

— Не думаю, чтобы ее подменил герр Хоффер, — сказала Хильде.

— Благодарю, фрейлейн Винкель.

Бендель явно не понимал, что происходит. Его пустые глаза перебегали с одного на другого. Рот был приоткрыт. Белый холст в руках смахивал на поднос из слоновой кости, который вот-вот сервируют для чайной церемонии.

Розовый бумажный шарик, бывший когда-то описью, отскочил от носка герра Хоффера.

— Невелика потеря, — фыркнула фрау Шенкель. — Скажу откровенно. Краски у него какие-то мутные, и люди не больно хорошо получаются. Это мое мнение, можете соглашаться, можете нет. Он ведь голландец, да? Удивительно. Голландцы обычно такие аккуратные.

— Фрау Шенкель, он ведь был психически ненормальным, — сказала Хильде таким тоном, словно ей было неловко. — Потому-то у него и колорит смазанный. В свое время это казалось искусством...

Послышались рыдания. Это рыдал Бендель. Дивный чайный сервиз соскользнул с подноса и разбился.

— Я только хотел на него посмотреть, — всхлипывал он, и слезы текли по грязным щекам, оставляя белые полосы. — А потом будь что будет.

Человек разваливался на глазах. Непонятно, как он вообще мог казаться опасным?

— Ты забрал ее себе, Генрих?

— Нет, Вернер. Нет. Я, может, и смешон, но я не вор. Я, может быть, смешной болван, но я не вульгарный вор вроде фюрера и его дружков-подельников.

Хильде Винкель и фрау Шенкель разинули от изумления рты. Из распухшей губы Хильде снова пошла кровь, капли скатывались из-под неплотно прилегающей марли и падали на подол платья.

— За такие слова вас упекут в лагерь, герр Хоффер, — прошептала она.

— Или застрелят в собственной ванной, — добавил Вернер, сложив руки и отрешенно глядя сверху вниз, как бесстрастное божество.

— Герр Оберст, ребятки из гестапо стреляют в ванных комнатах только людей с положением. Так, по крайней мере, утверждал мой муж.

— Это правда, фрау Шенкель, — Вернер Оберст кивнул, и очки его блеснули. — Герра Хоффера отправят в лагерь.

— Осмелюсь возразить, Вернер, — поднял палец над рамой герр Хоффер. — Брата и невестку герра Пищека застрелили в Штутгарте в ванной — точнее говоря, в ванне.

— Ну и что?

— Не думаю, чтобы учитель арифметики в начальной школе занимал в обществе более высокое положение, чем директор городского музея.

— Они были в ванне вместе? — глаза у Хильде расширились.

— Прости, Генрих, но я думаю, это все-таки будет лагерь, — Вернер поддернул брюки и с кряхтением сел, вмиг превратившись в простого смертного. — Есть в тебе одна черта... даже затрудняюсь ее определить.

— Не расстраивайтесь, герр Хоффер, — проговорила Хильде Винкель. — Вас точно застрелят в ванной. Как нашего соседа доктора Эхтерлинга, у которого была та же самая черта, которую трудно определить. Я называю ее чувством собственного достоинства.

— Благодарю, фрейлейн Винкель.

— Да о чем вы, черт побери, болтаете? — заорал Бендель.

Настроение у герра Хоффера резко улучшилось. Да, достоинство — штука важная, только недооцененная, особенно в наше время! Все, что сейчас нужно, это выхватить у Бенделя этот треклятый автомат, не теряя собственного достоинства. Потому как очень скоро он явно будет нацелен кому-нибудь прямо в лоб, в этом герр Хоффер был совершенно уверен.

— Теперь я понял, что ты имел в виду, — выговорил Бендель, почему-то наставляя на него палец, а не автомат.

— Да ну?

— Когда ты сказал, что картина спрятана, ты имел в виду не то, что она завернута в бурую бумагу, а то, что она убрана подальше, где ее никому не найти.

— Неужели? — спросил Вернер. — Как интересно.

Похожая на игрушку железная рукоятка болталась у Бенделя на животе, ствол покоился на потертом кожаном планшете. Выхватить — раз плюнуть, если бы только не ремень у Бенделя на шее. Может, конечно, лопнет. Или Бендель перехватит автомат и всех застрелит, как застрелил несчастного старенького герра Вольмера. А ведь герр Хоффер так и не решился рассказать остальным про герра Вольмера. Убийство старика не укладывалось в голове. Сюрреализм какой-то. Желтые, кремовые и голубые мазки ванговской картины. Винсент писал только для него. Винсент был святой. Он умер в нищете. Самое большое богатство — то, которое мы отдаем другим, сказал Марциал. Сквозь тонкую подушку герр Хоффер почувствовал холод каменного пола.

— Что скажешь, Генрих?

— Он прав. Я подменил полотно, Вернер. Хотел спасти его от партийных воров и мародеров.

Опять обстрел. Стены чуть заметно задрожали. Кусочки строительного раствора, будто пальцы по барабану, застучали по туго натянутому белому полотну у ног Бенделя.

— Я не вор, — сказал Бендель. — Я всего-навсего хочу посмотреть на картину. Если ты мне не скажешь, где она, тебе не понравится, что я сделаю.

Он постучал по ручке автомата. Ствол был направлен (наверное, случайно) на Хильде Винкель.

Герр Хоффер подумал о Сабине и своих маленьких дочках. Как быстро они выросли! Как быстро все изменилось! Как это все осмыслить?

— Герр Хоффер, — сказал Бендель. — Перестаньте, наконец, валять дурака.

Вот и пришло время для настоящих поступков, подумалось герру Хофферу. Но у него не хватает храбрости. Он в палате сумасшедшего дома. Он сумасшедший, не осознающий этого в своем безумии, и никакой войны нет. Это санитарки гремят суднами, а он лепечет им про Винсента Ван Гога, и про губу Хильде Винкель, и про штурмфюрера СС Бенделя, и они согласно кивают, и улыбаются, и дают ему снотворную пилюлю. Это ведь Бодлер сказал, что жизнь — дом для умалишенных?

— Живее, черт бы тебя побрал...

— Дайте мне подумать, дорогой друг, — сказал герр Хоффер. — Я думаю. Дайте мне минутку-другую.

Он посмотрел на свои часы, словно назначал себе время. Только что пробило десять. Как быстро пролетел час! Взгляд герра Хоффера почему-то зацепился за сапоги Бенделя. Царапины и маленькие трещинки, словно нанесенные ножом, на кожаных офицерских сапогах были самые настоящие, в них набилась пыль и грязь, на них было жалко смотреть. Это и есть жизнь. Жизнь — это разбитые солдатские сапоги, а не игры ума и тонкости чувств.

— Фрейлейн Винкель, я обещал защитить вас от американцев, — сказал герр Хоффер, — но я и предположить не мог, что придется защищать вас от немцев.

Вернер фыркнул и затряс головой.

— Даю вам ровно одну минуту, — сказал Бендель и шмыгнул носом. Между лбом Хильде и дулом автомата оставалось несколько сантиметров. Она хмурилась, словно не осознавая до конца, что происходит.

— Господи, — вздохнула фрау Шенкель.

Вернер перестал качать головой и сказал:

— Генрих, не будь идиотом.

Глаза у Хильде были неподвижны, как у слепой. На коленях мирно спал кот, подрагивая во сне ушами. Что это — мудрость зверя или непроходимая тупость?

Бендель смотрел на часы и переминался с ноги на ногу. Мягкий отсвет свечи скрадывал поношенность его сапог. Сапоги были сама реальность. Хотя порой герр Хоффер и сны видел донельзя реальные, с массой милых подробностей. Он очень хотел жить и прочувствовать все наяву. А может, и запечатлеть на холсте. Например, эту пару эсэсовских сапог. Загвазданные и разбитые, они все равно прекрасны! Он поднял глаза и посмотрел на девушку, к ее распухшей губе прилип окровавленный кусок марли — в эту минуту она казалась самым очаровательным созданием на свете. Она была уже по другую сторону реальности. Стала иной, неописуемой. Герр Хоффер был потрясен.

— Единственное, что я хочу, — пробормотала неописуемая, — это вернуться в Эрфурт и похоронить свою собаку.

Бендель оторвал взгляд от часов.

— Вашу собаку?

— Нашего маленького терьера, Фокстрота. Бомба разрушила наш дом и убила его. Мы не взяли его, когда переехали на ферму двоюродного брата подальше от бомбежек. Домой мы так и не вернулись. Песику было почти восемь лет.

— Солидный возраст для терьера, — заметил герр Хоффер.

— Дело не в возрасте.

Он спросил, когда это случилось.

— Три года назад, — ответила Хильде.

— Будь прокляты американцы и британцы, — сказал Бендель.

— Фокстрот, — проворчала фрау Шенкель. — Надо же.

Хильде закрыла глаза и оперлась головой о стену, поглаживая Каспара Фридриха. Палец Бенделя застыл на спусковом крючке. Он смотрел на герра Хоффера умоляющим мальчишеским взглядом. Глаза были грустными и красными, как у алкоголика. За свою короткую военную карьеру он, поди, много кого убил, подумалось герру Хофферу. Штатских, конечно. Привык уж, наверное. Герр Хоффер почти физически чувствовал напряжение спусковой пружины.

— Бендель, — сказал герр Хоффер, — по крайней мере, считайте вслух. Это поможет мне сосредоточиться.

— Ладно. Тридцать, двадцать девять, двадцать восемь...

Герра Хоффера приятно поразило, что цифры все еще такие большие. Он постарался сосредоточиться. Автомат был нацелен прямо в голову Хильде Винкель, и держал его полоумный отморозок из Ваффен СС. Наверное, Бендель досчитает до ноля. Ноль — бездонный колодец в копях смерти. Хильде закрыла руками уши, фрау Шенкель — глаза, а Вернер сложил ладони у подбородка, словно собирался молиться. Три мудрые обезьянки, пришло в голову герру Хофферу, и он вцепился в Пауля Бюрка, словно мог одним усилием воли перенестись в лес. Waldesrauschen. Абсолютно застывший пейзаж. Ни ветерка. Написать бы Бюрку и спросить, откуда в 1913 году взялось такое название. Герр Хоффер решил, что

откроет Бенделю, где спрятан Ван Гог, когда тот досчитает до пятнадцати. Он был уверен, что картину Бендель похитит, и тянул время, надеясь на чудо. Хильде обхватила руками колени и смотрела прямо на него, не отводя глаз. Ствол автомата почти касался ее волос. Все молчали. Сама мысль, что Винсент навсегда исчезнет, была невыносима. Столько сокровищ вот так уплыло за горизонт и исчезло. Прозвучало "тринадцать" — что оказалось неожиданностью для герра Хоффера. Двенадцать. Одиннадцать. Тупой отвратительный страх перед пулей заполнил все его существо. Бендель дошел до восьми — неторопливые цифры звучали четко, — и только тогда герр Хоффер заговорил. Он старался держать голову гордо поднятой, но не подвластные ему судороги сводили шею.

— Ну хорошо, если я тебе не скажу, ты убьешь фрейлейн Винкель. А дальше что?

— Застрелю кого-нибудь еще. Не тебя, разумеется. Иначе кто же скажет, где спрятана картина. Впрочем, полагаю, ты можешь предпочесть смерть.

— Спасибо за комплимент.

— Как бы там ни было, — продолжал Бендель, — ни один мужчина не станет спокойно смотреть, как убивают прекрасную немецкую деву, если есть возможность этого избежать. Семь. Шесть. Картины я тоже прострелю, специально для тебя.

— Ни один нормальный мужчина не застрелит немецкую деву первой, — пролепетал герр Хоффер, сердце его колотилось, будто устрашенное тем, что говорил язык.

Бендель рассмеялся.

— Дорогой герр Хоффер, как метко сказал Спиноза, *Бог действует по своим законам и никому не подчиняется.*

— Ты не Бог, — возразил герр Хоффер без особой убежденности.

— Подумать только, штурмфюрер СС цитирует еврея, — проворчал Вернер.

Хильде дрожала и не сводила глаз с герра Хоффера; кусочек марли упал с ее губы. Со вздувшимся пузырем она смахивала на деревенскую дурочку.

— Читайте Декарта для маскировки, — игриво произнес Бендель. Его палец с грязным ногтем мягко прижимал спусковой крючок. — Шесть. Пять. Четыре...

— Ладно, старина, читать Декарта у меня времени нет. Картина даже не в здании.

— Где же она тогда? Три. Два...

— Спроси у герра Штрейхера, — проговорил герр Хоффер. На носу у него каплями выступил пот. Увидеть своих девочек — больше ему ничего не надо.

— У герра Штрейхера?

— Ван Гогом занимался он. Полагаю, сейчас он дома. Фриц-Тодт-штрассе. Он сказал, что, если американцы уничтожат его Музей, он задушит их собственными руками.

— Я думала, он болен, — прошептала фрау Шенкель, надеясь помочь.

— Конечно, болен, — подтвердил герр Хоффер.

— С герром Штрейхером я виделся, — заявил Бендель неожиданно для всех. — Зашел к нему в первую очередь. Думал, больной все мне рас-

скажет. Солгал ему, дескать, у меня приказ от самого рейхсфюрера СС спасти полотно, ведь на руднике его нет. Он отнесся к моим словам холодно. Запыхтел своей трубкой и посоветовал повидать тебя, поскольку ты официально назначенное ответственное лицо.

– В этом весь герр Штрейхер, – пробормотал герр Хоффер.

– Вид у него не слишком больной, скорее усталый. За ним ходит смазливая горничная по имени Гретхен. Кровать стоит прямо в гостиной, старик лежит на ней в ночной рубашке и с пулеметом MG-34 на сошке между ног. До смерти меня перепугал этот пулемет. Конечно, MG-34 куда внушительнее, чем голые руки. Гретхен наблюдает за Музеем в бинокль. Ради спокойствия всей Третьей армии надеюсь, что попаданий в здание не было.

– Попадания были, – сказал герр Хоффер.

– Легкие повреждения, ничего серьезного, – произнес Бендель. – Ты лжешь мне, герр Хоффер.

– Хильде Винкель ни в чем не виновата, – заявил тот. – Нельзя же убивать невинных.

Бендель засмеялся своим прежним заливистым смехом.

– Ошибаешься, герр Хоффер. Думаешь, на тебя не ляжет ответственность только потому, что не ты нажмешь на спуск? В ответе за все ты. У тебя есть выбор. К тому же невинных среди нас нет. В этом самый грандиозный обман.

– Взываю к твоей человечности, старина.

– Промашка. Я был в Польше, – сказал Бендель.

Все промолчали.

– Да, я был в Польше, – повторил Бендель. – Точнее, в Верхней Силезии. Садишься в Кракове на поезд и через сорок минут прибываешь на место, куда никому не след соваться, никогда, даже по особому приглашению...

Бенделя, похоже, пробрала дрожь. Тревожный знак, палец-то на спусковом крючке.

– Мы не в Польше, – вымолвил герр Хоффер.

– Польша всюду...

– Послушай, старина...

Внезапная очередь из автомата прервала герра Хоффера. Треск был ужасный. Герр Хоффер крепко зажмурился – не сам, это грохот смежил ему веки – и открыл глаза, только когда стало тихо. Бендель повернул автомат и расстрелял картины на треногах. Но все это поправимо. Картина – не Хильде. Дырки можно залатать. Герр Хоффер не знал, сколько пуль угодило в полотна, но дырочки были маленькие, повреждения незначительные. Все можно заштуковать, замалевать, покрыть заново лаком, отреставрировать. Он хотел заплакать – и вместо этого закусил губу. Целая и невредимая Хильде всхлипывала. Каспар Фридрих исчез. В пламени свечи герр Хоффер смог разглядеть только покалеченные пулями рамы. Уши болели, как сломанные зубы.

– К чертям собачьим весь этот треп про человечность! – рявкнул Бендель, и эхо ответило ему. Если бы не подавленное рыдание в голосе, прямо баварский рабочий или даже коммунист на митинге. – Это буржуазный предрассудок, жалкая капиталистическая побрякушка. Партийная парадная форма. Я три месяца был в Польше. На бывших поль-

ских территориях. Разумеется, я помалкивал, но чувствовал себя отвратительно, потому, что дети, начинающие ходить, — моя слабость. Обожаю смотреть, как они топочут. Даже в таком неописуемо поганом месте, куда никому лучше не соваться, детишки учились ходить на своих крошечных ножках. И тут я сделал открытие. Все это, подумал я, начало очищения природы. Расчистка авгиевых конюшен. Да, поначалу стоит вонь. Вывоз навоза. Очищение природы. Акула, вот образец для подражания, будь она проклята. Где-то я читал, что акула одно из древнейших животных. В конечном счете жалеть следует только себя самого. Если бы мы поняли, что все на свете создано только для нашего "я", мы, может быть, постепенно доросли бы до такого чистого и прекрасного существа, как акула.

Он был близок к тому, чтобы сорваться, голос у него сделался скрипучий, визгливый, на одной и той же высокой ноте.

— От какой свиньи вы поднабрались этих дерьмовых эсэсовских речей? — прорычал Вернер.

Бендель придвинулся к нему, и Вернер поднял руки.

Герр Хоффер закрыл глаза.

И открыл их. Ствол автомата завис над задранным кверху лицом Вернера. Хруст от удара был ужасен, словно собака вгрызалась в кость. Он уже слышал этот звук, когда избивали беднягу Густава. Сердце колотилось так, будто вот-вот разорвется. Герр Хоффер был готов на все, только бы Вернер избежал неминуемой участи. И тут Бендель крутанулся к *нему*, к герру Хофферу... приклад автомата был готов обрушиться на его голову.

— Ты меня огорчаешь, герр Хоффер! — процедил Бендель. — Слышишь? Ты меня из себя выводишь. Никак не хочешь меня понять. А все потому, что людишки — скопище безмозглых слепых кретинов, начиная с тебя, выскочки недоношенного!

Фрау Шенкель тихо пискнула.

— Ладно. — Руки у герра Хоффера были подняты и тряслись как у старого паралитика. — Я скажу.

— Вам было все равно, что меня застрелят, и стало не все равно, когда вас собрались бить? — Хильде Винкель вытирала слезы, голос у нее был хриплый.

— Не хочу, чтобы пострадал кто-то еще, — сказал герр Хоффер.

По правде говоря, он обмочил брюки. Чуть дал слабину, теплая жидкость и потекла. Еще немного, и он бы обделался. Какая-то часть его души, благородная и одинокая, сохранила дар речи. Остальное же естество съежилось от ужаса. Автомат опустился. Встать герр Хоффер не мог — брюки были мокрыми.

— Картина спрятана под неплотно прилегающей плитой за углом.

— Принеси, — велел Бендель.

— Извини, Бендель, не могу. Если встану, — врал он, — упаду замертво.

— Тогда ползи, — рявкнул Бендель, вырвал картину Бюрка и наградил герра Хоффера пинком в бедро, заодно наступив фрау Шенкель на ногу.

Герр Хоффер пополз. Он пополз на четвереньках в самый конец подвала. Остальные поплелись за ним, Бендель в качестве замыкающего нес свечу. В мокрых брюках было ужасно неловко, руки тряслись, но

он полз. Не разит ли от него мочой, как от бродяги? Хотя в эти дни от всех попахивало.

Он пошарил вокруг, нащупал свободно лежащую плиту и с помощью Вернера ее поднял. Древняя статуя Марии Магдалины из кедрового дерева глядела на них из темноты, подняв свои прекрасные руки в знак не то благословения, не то ужаса. Бендель тоже глядел на них, а автомат был нацелен на Хильде. В зубах у него была зажата сломанная спичка.

Каждому (в сложившихся обстоятельствах даже герру Хофферу) не терпелось увидеть сверток из мешковины, напоминающий спеленутого младенца, брошенного в подземную темницу. Герр Хоффер благоговейно достал его, удивляясь, какой он легкий. Когда он передавал полотно Бенделю, руки его буквально ходили ходуном. Ван Гог был святой, а этот человек — воплощение дьявола. И оба были безумны.

— О Господи, — Вернер Оберст потер руки. — Сперва Давид Тенирс-младший, теперь Винсент Ван Гог. Кому же верить?

— Я ведь не для себя, Вернер.

— Молчать, — гаркнул Бендель.

Он схватил завернутое в мешковину полотно, нетерпеливо развернул и расстелил на полу. Фрау Шенкель поднесла свечу поближе, и Бендель уставился на картину. Свеча освещала его лицо. Выражение его почти не изменилось, по нему только словно рябь пробежала, будто у человека, обнаружившего фотографию той, в которую он был безнадежно влюблен. И никто на него не бросился. Герр Хоффер хотел было — да тело отказалось повиноваться.

Художник в окрестностях Овера.

Бендель опять завернул картину и погнал их обратно, Вернер впереди, герр Хоффер — в хвосте, по-прежнему на четвереньках. Он так и ждал, что его вот-вот ударит сзади подкованный сапог — но ничего такого не произошло. Он благополучно добрался до привычного, сладко пахнущего потом места рядом с Хильде. Вернер долго возился и крутился, устраиваясь около фрау Шенкель. Руки и колени герра Хоффера были в грязи, брюки липли к телу.

Бендель приказал им заложить руки за голову, точно военнопленным. Всем, за исключением фрау Шенкель, которой было велено завернуть картину в чехлы от подушек. Ей пришлось рвать старую ткань зубами.

Бендель расстегнул вещмешок и достал рубаху, бледно-голубую кофту и батрацкие штаны, все вещи были аккуратно скатаны, как скатывают палатку. Скинул свою камуфляжную форму и переоделся в штатское, не сводя глаз с остальных, вдруг кто-нибудь посмеет шевельнуться. Герр Хоффер постарался напустить на себя вид человека исключительно благонамеренного.

Коим он, безусловно, и являлся.

54

В течение часа они соорудили каркас крепи. Получилось что-то вроде подмостей из толстых бревен, туннеля из продольных и поперечных балок. Удивительно, какие обильные плоды приносит порой совместный труд, какую изобретательность проявляют люди. Больше бомбардиро-

вок не будет, подумал Перри. Конец разрушениям. Хорошо, что парень, говорящий по-английски, оказался поблизости, он молодой, толковый, его зовут Антон, — может, он и правда ненавидел нацистов и скрывался от призыва. Может, он и в самом деле коммунист или еврей.

Рюмочку бы сейчас опрокинуть. Как жалко, что он разбил коньяк. Сейчас бы сигару хорошую выкурить да в баре посидеть, никуда не торопиться. И чтобы солнышко светило на веранду, майское солнышко, теплое, но не слишком жаркое, и чтобы вокруг луга и леса, и чтобы лес шумел, словно тысяча длинных юбок, и воздух был свежий, и не было бы никакой лжи.

Каркас установили на место очень быстро. Молотки и гвозди отсутствовали, пришлось применить плотничные стыки, соединить балки в шпунт, наскоро вытесывать пазы-гребни подобно первым колонистам, хотя у колонистов-то гвозди были, ну разве что они их посеяли в каком-нибудь кишащем насекомыми болоте.

Вот и тут прямо как в болоте. Хоть за весла берись, горячая вода течет из поврежденных труб чуть ли не на голову.

Надо работать аккуратно и осторожно, чтобы между потолком и подпорками оставался примерно дюйм.

Старички (пожалуй, за шестьдесят будет) немного запыхались. Один из них, плотник, у которого на ручищах недоставало пальцев, показал себя с самой лучшей стороны. И ведь всего сутки прошли, как мы бомбили и обстреливали вот этих самых людей, подумал Перри. Они были моими врагами. А теперь мы вместе старательно и осторожно трудимся, чтобы восстановить разрушенное. Вот как отныне должен быть устроен мир. Вот как нам всем нужно действовать — аккуратно и старательно. Восстанавливать разрушенное. Доверить созидание добродетельным и мудрым, и с ложью тогда будет покончено.

Только, пожалуй, все равно не узнаешь, что там притаилось за углом и поджидает тебя.

Они поднимали и соединяли балки возле двери, медленно, очень медленно, затаив дыхание, подбивали клинья, мягко по ним постукивали, пока поперечины не касались провисшей штукатурки, осторожно отламывали отставшие куски цемента, касаясь торчащей дранки так нежно, словно зрелый персик снимали с ветки и укладывали в корзину, и, переводя дух, шептали друг другу немецкие и английские слова — а казалось, звучат все языки мира — и с гордостью оглядывали свою простую и великую работу.

— Замечательно, — сказал молодой человек по имени Антон.

— Чистая, на хрен, Библия, — пробормотал Перри. — Даже не по себе. Грядет Потоп, ребята.

55

Бендель переоделся, снова схватился за автомат и приказал всем опустить руки.

— Вот спасибо, — сказал Вернер.

Картина Пауля Бюрка лежала рядом с герром Хоффером. Он поднял ее и прижал к себе, пытаясь скрыть свой позор.

— Так ты просто хотел взглянуть на картину, а, Бендель?

— Замолчи, — сказал Бендель. — Я слишком измотан, чтобы спорить.

Герр Хоффер представил, как Бендель опустошает замки во Франции и дворцы в Польше, как огромные полотна исчезают в крытых грузовиках. Как это он выразился? Точно целые куски пейзажа, точно саму жизнь грузили в мебельные фургоны. Вот что происходит с талантом — его запихивают в мебельный фургон и увозят, а заправляют всем хамы и воры. Ван Гог исчез, увязанный в тряпье из чехлов с подушек, фрау Шенкель аккуратно перевязала узел бечевкой, а Бендель подпоясал веревкой штаны, принадлежавшие когда-то какому-то крестьянину. Фрау Шенкель передала Бенделю аккуратный сверток узорчатой ткани. Фрау Шенкель все делала на совесть. Даже завидно становилось. Как следует что-нибудь завернуть — нет, на такое герр Хоффер был совершенно не способен. Подарки девочкам на Рождество или на дни рождения, пока бумага не стала дефицитом, упаковывала Сабина. Его милые девочки! Страшная пальба, будто разом забарахлили тысячи моторов, возвестила о возобновлении штурма. Бендель мог в любую минуту перестрелять их всех. Его, герра Хоффера, задачей было не допустить этого. Вот и все, что осталось от его достоинства, — не допустить убийства. Любопытно, а что там в этом месте недалеко от Кракова, куда никому не следует соваться? Массовое захоронение, наверное. Говорят, всех польских офицеров расстреляли. У войны свои законы, Клаузевиц прав, только в обязательном и непреклонном применении самых суровых мер заключается подлинная человечность.

Бендель обвязал сверток ремнями от обмундирования и повесил на плечо. Крестьянин, и с ним все его добро.

— Вы и понятия не имеете, — сказал Бендель голосом участника церемонии вручения наград за достижения в области искусства, — как я рад снова обрести хотя бы одну из своих работ. К тому же это единственный холст, где я изображен за мольбертом.

Недоуменное молчание длилось недолго.

— Вы это о чем? — спросила фрау Шенкель.

— Как только немного стихнет, — продолжал Бендель, — я откланяюсь. Не могу же я рисковать, вдруг снаряд угодит прямо в меня, не правда ли?

— По-моему, он считает, что в предыдущей жизни был Ван Гогом, — проговорил Вернер, оперев голову на руки.

— Да, возможно, — сказал герр Хоффер, надеясь, что Бендель отвлечется и пропустит слова Вернера мимо ушей.

— Что возможно?

— Я о названии картины. Бедный Густав Глатц так и не пришел к определенному заключению, кто там изображен — крестьянин или сам художник. Потом его избили штурмовики и он уже не в состоянии был прийти к определенному заключению относительно чего бы то ни было.

Герр Хоффер хрюкнул, точно удачно пошутил.

— Ну так передайте ему, что я написал себя самого с некоторого расстояния.

— В вас словно две личности. Шуман, да и только.

— В круговорот жизни, — изрек Бендель, — включены сотни тысяч людей. И не только людей, ясное дело. Животных и птиц. Червей.

— Какой ужас, — сказала фрау Шенкель.

Снова повисло смущенное молчание.

— Странно то, что каждый считает, что он непременно был знаменит в прошлой жизни, — сказал Вернер, откашлявшись, — если только он не отвергает с порога саму мысль о реинкарнации. Например, король Генрих Птицелов, Винсент Ван Гог, а отнюдь не какой-нибудь ничтожный безымянный клерк, не говоря уже об упомянутом вами черве.

— Ну и что? — парировал Бендель. — Что в этом странного? Некоторые люди настолько гениальны, что просто не умещаются в одну жизнь, герр Оберст.

— Вот вы, например.

Бендель загадочно улыбнулся. Смотрелся он в штатском странно, точно актер, играющий крестьянина; поношенная голубая кофта была ему маловата.

Он полностью сбрендил, подумал герр Хоффер. Может, и всегда был такой. С ним надо обращаться как с хрупким фарфором.

— Как некий ничем не выдающийся ефрейтор-фронтовик с мозгами свихнувшегося парикмахера, — пояснил Бендель.

— Как кто? — переспросила фрау Шенкель.

Наступило мертвое безмолвие. Повеяло холодом и потемнело. Будь герр Хоффер расположен к мистике, сейчас он бы уверовал в привидения.

— Он очень долго странствовал по неисчислимым темным жизням, — продолжал Бендель, — и сейчас полностью опустошен, его клеточное тело хило и больше ему не нужно. Он будет обходиться без тела, как темный ангел. Я чувствую: тщедушное тело парикмахера мертво...

Хильде Винкель тихонько вздохнула.

— Но даже сейчас, — вещал Бендель, — когда американцы бьют нас числом, темный ангел незаметно входит им в кровь.

Настала продолжительная тишина, даже разрывы снарядов стихли. Пламя свечи задрожало, сплющилось, чтобы потом, вытянувшись, взметнуться вверх. Стены беззвучно затряслись, облака известковой пыли повисли в воздухе. Хильде закашлялась.

Все подняли глаза, будто разгадка была на потолке.

Вернер пошевелился в тени.

— Фюрер хитер и лжет больше, чем остальные, вот и все, — сказал он. — Ради Бога, не делайте из него Люцифера.

— Он не лжет, — возразила фрау Шенкель. — Что угодно, но он не лжет.

Вернер фыркнул.

— Во всяком случае, — продолжала фрау Шенкель, — мы еще возблагодарим его, когда ворвутся азиатские орды. Тогда наши мальчики вновь бросятся в сечу и страшным напряжением всех сил спасут Европу.

— Фрау Шенкель, — устало произнес герр Хоффер, — вы говорите, как радио.

— Мне лучше знать, на что похожи мои слова и на что не похожи, — резко бросила она, повернув к нему пылающее лицо. — Мой дорогой муж был бы сегодня жив и водил бы поезда, если бы у них были носки, какие положено! И мой единственный сын тоже! Мой несравненный Зигги!

— Беда в том, — сказал Бендель, — что еврейские волосы слишком тонкие.

— Я не желаю говорить про евреев, — рассердилась фрау Шенкель.

— Вы же сами заговорили про носки.

— Но не про евреев же.

— Это одно и то же, — объяснил Бендель. — Евреи и носки.

— Что вы, черт побери, имеете в виду?

— Носки для определенной категории служащих. Таких, как машинисты поездов. Исключительно.

— Что исключительно? — грубо спросила фрау Шенкель.

— Изготовленные исключительно из волос евреев.

— Какая ерунда. Как такое можно изготовить? Вот гадость-то. Они же все сальные.

Бендель расхохотался. Герр Хоффер засмеялся тоже, хотя шуточка про носки ему совсем не понравилась. Нашел время паясничать.

— Безотходное производство, понимаете? — проговорил Бендель. — Зола удобряет немецкие поля, волосы согревают ноги наших мальчиков. Только для определенной категории служащих.

Все замолчали. Герра Хоффера снова охватила тревога.

Раздался глубокий дрожащий голос Вернера:

— Что вы видели, герр штурмфюрер Бендель?

Никто не осмелился ничего добавить, ведь из глаз Бенделя, словно из крошечных окон, смотрела смерть.

— Я не сумасшедший, — пробормотал он в конце концов. — В этом вся штука. Если б я сошел с ума, было бы куда легче.

Он поскреб у себя за ухом, точно собака.

— Вроде стихло, — сказал Бендель и уцепился за сверток с картиной. — Попытаю счастья.

Внезапно раздался раскатистый грохот, будто с какой-то полки на небесах посыпалась масса горшков и кастрюлек.

— Еще нет, — констатировал Бендель. — Ничего, скоро затихнет. Обязательно затихнет.

Неловкую тишину нарушал только прерывистый треск пулеметов, совсем не похожий на недавнюю пальбу. Герру Хофферу стало не по себе. С таким же чувством ждешь, когда какой-нибудь зануда покинет, наконец, вечеринку. Только этот зануда был не просто зануда. Он прихватил с собой жемчужину коллекции. Он был в Польше.

— Не веришь мне, да? — осведомился Бендель.

— Насчет чего?

— Насчет того, что я — Винсент.

— Старина, — пробормотал герр Хоффер. — Главное, чтобы ты сам в это верил.

— Дай мне карандаш.

— У меня нет.

— Так найди, — внезапно разъярился Бендель. — И клочок бумаги!

— Вернер!

— Да?

— У тебя в пиджаке лежит блокнот и карандаш.

Вернер даже не пошевелился, в его глазах, устремленных на герра Хоффера, мерцала лютая ненависть. Герр Хоффер не понимал, что

происходит. Ведь Вернер наверняка оценил положение. Этот тип их всех перестреляет. Он полоумный. А сейчас самое важное – остаться в живых.

– Передайте их мне, пожалуйста, – попросил герр Хоффер.

– Только верните мне их потом, – сказал Вернер. – Это мой личный дневник.

Личный дневник? Вот уж враки, подумал герр Хоффер. Он ведь нашел блокнот на чердаке.

– Разумеется, – сказал Бендель.

Вернер неохотно полез в карман и вытащил красный блокнот. Бендель выхватил блокнот у него из рук и извлек карандаш из скрепляющей страницы спирали.

– Смотрите, – сказал он.

В поисках чистой странички он быстро перелистал исписанные. Нашел. Положил блокнот на ствол автомата и лизнул кончик карандаша.

– Оливы, – произнес Бендель, глядя на всех исподлобья.

Он сделал несколько неторопливых вдохов, точно индийский йог. Глаза его расширились и подернулись дымкой. Лежащая на блокноте рука вздрогнула и задвигалась. Бендель не смотрел, что делает, он глядел прямо перед собой. У этого человека раздвоение личности, ему бы в лечебницу, где масса свежего воздуха, света и солнца, подумал в ужасе герр Хоффер. У него глаза кокаиниста, хотя какой кокаин в наши дни. Да и психбольниц, где масса свежего воздуха, света и солнца, нет. Карандаш двигался по странице рывками, словно под ударами тока. Герр Хоффер решил было броситься на Бенделя, но трясущаяся, дергающаяся рука заворожила его, лишила сил. В Бенделе точно жило два человека, и его правая рука явно принадлежала кому-то другому.

Герр Хоффер взглянул на Вернера – тот тоже застыл, так и не вынув руку из кармана.

Внезапно тело Бенделя будто судорогой свело.

– Ну вот, – сказал он, улыбаясь, и показал им страничку из блокнота. – Смотрите, я всегда рисую оливы вот так. В виде спиралей. Они ведь закручиваются. То есть оливы растут и закручиваются. Вы только посмотрите на их ветки. Прямо штопор. Может, это из-за ветра, из-за мистраля. Я любил мистраль. Резкий, холодный и чистый, он дует прямо с Альп. Я любил его, как любил жаркое полуденное солнце. У меня была соломенная шляпа, а как же. Иначе я бы обгорел дочерна.

Рисунок изображал деревья на холме. Этакий набросок любителя, решившего запечатлеть живописный уголок. Одно поражало: Бендель рисовал по памяти.

– Понятно, – сказал герр Хоффер. – Достойно внимания.

– Благодарю, – сказал Бендель и снова перевоплотился. Только что он говорил другим, каким-то девчоночьим голосом, немного в нос. А сейчас это был прежний Бендель.

Он принялся перелистывать исписанные страницы.

– Вот оно что, – сказал он. – Личные размышления главного библиотекаря.

– Главного архивариуса и хранителя книг, – поправил Вернер. – А теперь попрошу отдать...

– Никогда бы не подумал, что вы такой, герр Оберст. С философской жилкой. *Я на дне глубокого озера с отсеченной головой. Мое обезглавленное тело плавает среди водорослей, от него на поверхность уходит веревка. В один прекрасный день кто-то явится и потянет за веревку. Если выбрать жизнь, всегда есть, ради чего жить.* Ну с этим-то я, положим, согласен...

– Верните, – потребовал Вернер, протягивая руку.

– Обождите, – сказал Бендель, переворачивая листочки, – очень уж любопытно. Слушайте все. *Нет никакой уверенности, что я живу. Что значит жить? Порой я вижу птиц.* Птиц, а? Полагаю, вы, точно, живы, герр Оберст.

Он разразился хохотом. Герру Хофферу тоже сделалось смешно. Потрясающе, только представить себе, как Вернер на чердаке записывает такое.

– Слушайте и вникайте. Это прелестно. *Однажды я остановлюсь на цветущем лугу, и ты придешь ко мне, бросишься мне в объятия... О, твои влажные крылья, Вест, как я завидую тебе! Мне бы знать всего Гёте!*

– Отдайте блокнот, Бендель!

– Главный библиотекарь влюблен? Подумать только! Ты знал об этом, герр Хоффер? Вот так открытие!

Герр Хоффер кивнул. Он не мог сдержать улыбку. На Вернера было жалко смотреть. Весьма довольный собой Бендель перелистнул еще страницу. Герра Хоффера порадовало, что Вернер такой жалкий. Ингрид! И они еще надо мной смеялись, тот же Вернер Оберст.

– Кстати, – осклабился Бендель. – Я искренне удивлен, что вы не знаете *всего* Гёте, герр Оберст. Каждый порядочный немец... нет, вы только послушайте! Сколько романтики! *Если ты только вернешься,* – прочел он актерским, глумливым голосом, автомат болтался у него на груди. – *Я жду и жду...*

Неожиданно выражение его лица изменилось. Он изумленно уставился на дверь, будто увидел нечто из ряда вон выходящее, герр Хоффер тоже повернулся в ту сторону. Резкий звук громом отразился от стен.

И ничего больше. В ушах у герра Хоффера звенело и пульсировало – так билось его сердце. Казалось, Бендель собирается что-то сказать, его изумленные глаза растерянно перебегали с одного на другого. Пока не остановились на герре Хоффере, на чьем лице было написано: "Знать ничего не знаю".

У Бенделя на шее появились две черные точки. Красный блокнот выскользнул из рук и упал на пол, руки поднялись к темным точкам. Он непонимающе глядел на собравшихся.

Вернер выстрелил еще раз – все пригнулись, – но не попал, у Бенделя подкосились колени. Еще миг – и он растянулся у ног Хильде.

– О Господи, – произнес Вернер, обеими руками сжимая пистолет. – Получилось.

По ту сторону березового леса Пауля Бюрка герр Хоффер весь сжался, трясясь с головы до ног. Эти точки были дырки, осознал он. Хильде с содроганием оттолкнула тело Бенделя ногой, голова его мотнулась словно у резиновой куклы. Выглядел он очень мирно, слегка изумленные глаза приоткрыты. В данную-то минуту он мертв, подумал герр Хоффер, а ну как оживет, и очень скоро? Рухнул подобно германскому

рейху, но придет час, и он поднимется. Герр Хоффер вцепился в Пауля Бюрка как в спасательный круг. Рот наполнился едко-кислой слюной, горло пересохло, брюки как были мокрые, так и остались. Он точно прилип к картине.

Штурмфюрер СС Бендель был мертвее мертвого, рыжая щетка усов, словно решив покинуть свое место под носом, поплыла вниз по щеке. Рот приоткрылся, будто собираясь сказать: "Ух ты". Кровь стекала ему на грудь, омывала ухо, лилась на сверток с жемчужиной коллекции, образуя круглое пятно размером с биллиардный шар.

Вернер спрятал в карман красный блокнот и с помощью фрау Шенкель отволок тело в дальний конец подвала, металлические подковки покойника скрежетали по каменным плитам. Герр Хоффер смотрел на кровавый след, тянущийся за мертвецом. Он не мог пошевелиться. Хильде Винкель по-прежнему дрожала и, закрыв лицо руками, тихонько всхлипывала.

В запятнанном кровью покрове "Художника в окрестностях Овера" виднелось черное пулевое отверстие. Герр Хоффер, все еще прижимая березовый лес к груди, умудрился нагнуться и подтянуть сверток с картиной поближе. Фрау Шенкель упаковала полотно так тщательно, а у него руки онемели. А почему он не мог отодвинуть березовый лес другой рукой, герру Хофферу думать не хотелось. Вот вернется Вернер и осмотрит повреждения.

И Вернер молча развернул картину и осмотрел повреждения. Кровь — это не страшно, хотя она успела впитаться в полотно, окрасив небо в фиолетовые тона. Было повреждение и похуже.

Спорам о том, кто тут изображен, художник или крестьянин, деревенский житель или живописец, был положен конец. Вместо маленькой фигурки — предмета дискуссии — зияла черная дырка.

— Потребуется заплата, — кратко высказался Вернер с мрачной ухмылкой.

Будто ему все равно!

Он снова обернул картину в бурую бумагу, а фрау Шенкель обвязала ее бечевкой. Сверток унесли за угол. До герра Хоффера донесся звук отодвигаемой плиты, что навело его на мысли о могиле Христа и о собственной смерти. Он чувствовал, как постепенно делается невидимым, словно мультяшный персонаж, который сам себя стирает ластиком. Он не то чтобы боялся смерти, просто хотелось еще пожить, еще чего-то увидеть, почувствовать. Например, съездить в Египет. Наверное, Бендель тоже хотел выбраться в какую-нибудь Гренландию. Или в заснеженные горы Персии. Герра Хоффера обуяла грусть, он закоченел и окончательно размяк. А Вернер, оказывается, хороший стрелок. Ну конечно, он же главный архивариус и хранитель книг. Герой и боец, и страстно влюблен, и желает прочесть всего Гете. Кто-нибудь читал всего Гёте? Какой массив знаний. Целая страна со своими заповедными уголками. Когда все закончится, они вызовут крупнейших голландских экспертов, пусть отреставрируют "Художника в окрестностях Овера". Интересно, они залатают полотно и будет белая вставка, или попытаются заново написать фигуру? Сам он помнит, как лежали мазки, помнит колорит. Есть еще парочка фотографий. Все должно получиться. Под его-то личным руководством — и чтобы не получилось? Об этом, са-

мо собой, напишут в журналах и даже в популярных изданиях, поместят поэтапные фотографии реставрационных работ. В конечном счете все можно исправить. На то человеку и дано мастерство.

Вернер и фрау Шенкель вернулись и уселись на свои места. Хильде высморкалась и икнула. Вернер обхватил голову руками, сжал пальцами виски.

— Ну вот, — сказала фрау Шенкель. — Хорошо потрудились!

Герр Хоффер молчал. Он попытался было заговорить — но в горле только что-то булькало. Он хотел поздравить Вернера — вот только ему ли его поздравлять? Ведь он, герр Хоффер, трус и полное ничтожество. Его девственно белое полотно, лежащее у ног Хильде лицевой стороной вверх, запятнано кровью. Ну просто веточка вишни на снегу, его китайский шедевр. Герру Хофферу хотелось смеяться. Хохотать и хохотать, пока голова не отвалится.

У вечно бледного Вернера в лице и вовсе не было ни кровинки.

— Мне уже доводилось убивать, — пояснил он, словно возражая кому-то. — В британском окопе. Я помню его глаза.

— Да уж видно, человек вы бывалый, — сказала фрау Шенкель.

Она закурила и предложила закурить окружающим. Сунула герру Хофферу сигарету в приоткрытый рот и зажгла. Бомбардировка вроде прекратилась. Похоже, все было кончено. У фрау Шенкель дергалась правая щека. Даже в тусклом свете свечи было заметно.

— Господи, — сказала она. — Надеюсь, никогда больше такого не увижу.

Руку с зажатой в ней сигаретой ей пришлось придерживать другой рукой, чтобы не так тряслась.

— Генрих, вы сейчас в здравом уме?

Он был в панцире, точно тело погибшего в Помпеях.

— Да, Вернер.

— Не расслышал.

— Да, Вернер.

— А непохоже.

— Извините. Не могу подняться. Падаю.

— Вы эту картину прямо из рук не выпускаете.

— Просто психоз.

— Послушайте, Генрих. Вы точно никого не видели на чердаке?

Герр Хоффер кивнул. Дышал он с большим трудом. Панцирь пошел трещинами, и герр Хоффер восстал из мертвых.

— Если это был Густав, значит, он цел и невредим. Никто ведь не кричал.

— Его могли убить, — сказала фрау Шенкель.

Не выпуская изо рта сигарету, герр Хоффер закашлялся от кислого дыма.

— Там, в блокноте, не мой почерк, — пробормотал Вернер, закрыв лицо.

— Я так и думала, — сказала фрау Шенкель.

— Не знаю, кто это писал, — чересчур поспешно добавил Вернер.

И больше ничего не сказал, только опять подпер голову руками. Какое облегчение, после всего, что стряслось, Вернер ничуть не изменился, остался самим собой.

— Может, это Густав, герр Оберст? Если он в состоянии писать. Дайте-ка я посмотрю.

Фрау Шенкель протянула дрожащую руку.

Вернер покачал головой.

— Я не вправе, — буркнул он. — Не сейчас. Может, там разоблачения какие. А что? Пойду проверю чердак. Вот только голова перестанет кружиться.

— Вернер, — голос возвращался к герру Хофферу. — Я бы не бросил человека в беде.

— Не бросили бы?

— Разумеется, нет. Вы хорошо себя чувствуете, фрейлейн Винкель? — спросил он как бы в подтверждение своих слов.

Та кивнула, кровь на распухшей губе высветилась пунктиром. Герр Хоффер глядел на Хильде. Его поезд прибывал на вокзал, и она ждала его, полная отчаяния, и ее следовало утешить.

— Примите мои извинения, Генрих.

— Все в порядке, Вернер. Я уверен, картина будет отреставрирована. Такая дырочка — мелочь.

— Извините меня за то, что убил вашего друга.

— Друга? Бенделя? Он не был мне другом.

— Вот как, — Вернер поднял кверху палец. — Петух прокричал трижды, как известно.

— Категорически возражаю. Он никогда не был моим другом. Я перед ним заискивал, вот и все. Герр Штрейхер считал, что Бенделя надо опасаться. И был прав.

— Я ни минуты не сомневался, Генрих, — сказал Вернер, — что он ваш друг.

Герр Хоффер сощурился. Неясно, как далеко зайдет Вернер, только бы помучать и. о. и. о. директора. Это у него, наверное, сублимация какого-то полового отклонения. Когда-то такого рода отклонения лечили в клиниках. Воздух, свет и солнце. И, наверное, морская вода. Море. Гельголанд. Вернер наконец убрал пистолет в карман пальто. Какой невозмутимый, а ведь отправил на тот свет человека. Правда, может, у него шок. Когда война кончится, Вернеру Оберсту придется уйти на преждевременную пенсию. Придется. Уж он, герр директор Хоффер, об этом позаботится. И отвезет своих дочурок к морю, и построит им большой-пребольшой замок из песка, и окружит рвом с морской водой.

— Забавно, только что был живой, вдруг — раз! — и помер, — заметила фрау Шенкель. — Оно так всегда. Сегодня на этом свете, а завтра на том.

Откуда-то возник Каспар Фридрих и замяукал у двери. Вернер выпустил его.

— Осторожнее там, — сказал он. — Держись от людей подальше.

— Хорошо, хоть здесь не нагадил, — заметила фрау Шенкель. — Терпеть не могу, когда воняет кошками.

Грохот был такой оглушительный, что у фрау Шенкель выпала из губ сигарета. Будто огромный буфет опрокинулся. Известковый раствор струйками потек из щелей кладки, собрался на полу горкой, запорошил глаза.

Горка на полу росла как в песочных часах.

— С прискорбием сообщаю вам, что герр Вольмер преставился, — сказал герр Хоффер. — Так сказать, при исполнении своего долга. Встал Бенделю поперек дороги.

— О Господи, — произнесла фрау Шенкель. — Бедный старенький герр Вольмер. Достойный был человек.

— Приношу свои извинения, — продолжал герр Хоффер, — что я не до конца исполнил *свой* долг.

Он так и держал картину Пауля Бюрка перед собой, нижняя часть рамы упиралась ему в колени, прикрывая его позор. Перед ним вставали душные лесные дебри, среди которых терялась тропинка. Какое это было открытие, правила перспективы! Или законы? Нет, Альберти изучил законы и вывел из них правила. Ведь правило следует за законом. Три измерения получаются из двух согласно правилам, вытекающим из законов. А в основе законов что лежит? Глаз? Природа? Господь Бог?

Все уставились на него.

— Но в конце концов, — снова продолжил он, — мы не потеряли нашего единственного Ван Гога, за что я должен принести благодарность герру Оберсту. Отреставрировать можно все что угодно. И мы все остались живы. Не считая несчастного герра Вольмера.

— Вам обязательно держать перед собой эту дрянь?

— Да, Вернер.

Своды снова колыхнулись. Странное дело, известка больше не сыпалась. Белые березы удивительно подходили к торжественному выражению лица Вернера. Не верилось, что когда-то и он был юнцом. Казалось, Вернер был таким с самого сотворения мира. Герр Хоффер глядел на березы с равномерными пятнами титановых белил там, где стволов касались солнечные лучи, и не видел ни деревьев, ни пятен белил. Перед ним возник вестибюль, торжественный вечер в честь нового библиотекаря в 1934 году. Среди участников была одна громогласная дама в странной шляпке, полагающая, что мир спасется, стоит сунуть младенцам банки с красками — пусть пачкают стены и обливают друг друга красками! Вернер с сухой улыбочкой на лице кивал, потом повернулся к герру Хофферу и тихонько произнес:

— Мне теперь все про вас известно, герр Хоффер.

— Да ну?

— Вы подговорили человека пойти и сорвать плакат с изображением нашего великого фюрера.

Герр Хоффер вспыхнул — хорошо, что та, в шляпке, куда-то испарилась.

— О чем вы?

— Молодец, — негромко сказал Вернер. — Останется между нами.

— Да, я предложил. В прошлом году, прямо перед выборами. Я ведь не такой уж горячий сторонник Партии...

— А человека за это избили.

— Какого человека?

— Которого вы подговорили пойти и сорвать плакат с изображением нашего великого фюрера.

— Я не подговаривал его. Просто предложил, почти что в шутку. Даже не так. Произошло небольшое недоразумение...

— Понятно. — Вернер глядел на него странным взглядом. — Теперь мне все понятно. Небольшое недоразумение. Иначе и быть не могло.

С первых минут знакомства Вернер стал его мучителем! Лесная тропинка вилась среди белых берез, пропадала, недостижимая, в зеленом мраке. И в этом была своя мука.

Фрау Шенкель повернулась к Вернеру.

— Что это за чепуху он нес про евреев и носки?

Вернер пожал плечами.

— Неужели вы расстроены, фрау Шенкель?

— Немножко, — в глазах у нее сверкали слезы. — Не хочу думать, что на ногах у моего бедного Дитера и моего ненаглядного крошки Зигги были такие носки.

56

Когда они попробовали открыть проклятущую дверь, та уперлась в потолок.

Пришлось расчищать эту часть потолка, чтобы попытаться приподнять треснувшую несущую балку, а уже потом взяться за дверь.

— Тихо, осторожно, — повторял Перри.

Выяснилось, что балка представляет собой сквозной стальной прогон. Дом построили совсем недавно, и перекрытия у него были металлические. Балка, как оказалось, вовсе не лопнула, а только съехала с точки опоры — там, где убежище. Все здание подбросило и снова опустило — широкие трещины на стенах ясно говорили об этом, прогон выскочил из своего забетонированного гнезда, и от падения его удерживала только дверь.

— Ну, дела! — сказал Перри.

Молодой человек Антон, весь вымотанный с залитым потом лицом — видно, за три года форму потерял, — не понял его слов.

Дверь, как и прогон, тоже сдвинулась со своего места. Хотя никто ее не открывал. Это образовавшийся при взрыве вакуум сместил ее на несколько дюймов, иначе балка рухнула бы вниз и, возможно, потащила бы за собой пять или шесть находящихся выше этажей. Почем знать?

— Попробуй удержи, — сказал Перри, глядя на балку и качая головой.

И опять Антон его не понял.

Прогон лежал на самом краешке двери, до кромки оставалась четверть дюйма. Словно все-таки увенчался успехом безумный, рискованный цирковой номер. Словно удержала равновесие благодаря одной-единственной книге набитая томами длинная полка — той, которую тебе необходимо сейчас прочесть.

Перри прикинул размеры расчищенной балки, попытался определить силу и давление. И вдруг понял, что дверь звучит. Похрустывает. Может, это петли выгибались, вот-вот готовые отвалиться под непомерной тяжестью балки и навалившегося на нее груза. Под облетевшей штукатуркой через потрескавшийся бетон сквозила металлическая арматура, в Америке такую сетку увидишь разве что вдоль заборов на стройплощадках, а здесь она повсюду: ею щетинятся развалины, она

драным тряпьем или паутиной затягивает стены. До войны что он понимал в работах по сносу зданий? А теперь — настоящий эксперт.

По гроб жизни останется у него умение писать руины, неромантические свалки искореженного металла, битых кирпичей, кусков стен, какое бы здание это ни было раньше и о какой бы стране Старого Света речь ни шла; руины любого народа. Ввоз и вывоз. Хаос.

Сейчас, в самом средоточии хаоса, он неумело тыкался туда-сюда, силясь осторожно направить ход событий, перевести стрелку на указатель "порядок и спасение". А треклятая дверь хрустела, и этот звук накладывался на безнадежное стенание из подвала. Это Потоп с журчанием заливал им ноги. Это четверть дюйма между жизнью и смертью, порядком и хаосом, спасением и концом порождала отчаяние. И Перри не знал, что делать. Он не знал, что ему, на хрен, делать, ведь любой шаг мог оказаться роковым.

— Вот стерва, — пробормотал он, когда появилась фрау Хоффман или Хоффнунг с игрушечным зайцем, но он имел в виду не ее.

Совершенно замусоленный заяц покорно, будто пленный, свисал из ее руки. Все прочие растерянно сгрудились возле балок крепи, ждали от Перри ценных указаний и слушали, как хрустит металлическая дверь и стонут люди в подвале. Даже юный Антон со всей своей смекалкой, будущий лидер мировой революции, притих и слушал.

Вдова подошла к самой двери убежища, и никто не остановил ее. Просунула зайца в щель и позвала Эрику. Она окликала ее по имени и выкрикивала что-то еще. Наверное, что принесла игрушку, — Перри не понимал. Всех слов в англо-немецкий разговорник для солдат США не впихнешь.

Но Перри знал, что она кричала именно это. Общая картина никак не складывается, подумал он. Мне надо сосредоточиться, посмотреть и все обдумать, а она отвлекает меня своей игрушкой.

И тут дверь непостижимым образом сдвинулась с места.

Она беззвучно шевельнулась, качнулась назад на какие-то четверть дюйма. Потом раздался пронзительный скрежет металла о металл, и Перри шарахнулся в сторону и закрыл голову руками.

57

Герр Хоффер прижимал Пауля Бюрка к груди. Он ясно понимал: этим утром нельзя было оставлять жену и девочек.

Превыше всего долг перед любимыми. Да и какой от него прок в Музее? Фрау Шенкель совершенно права. Даже для Хильде Винкель, которую все еще пробирала дрожь, проку от него немного. Ему недоставало смелости обнять ее и утешить. Если бы он отважился, это и его бы утешило. Наверняка она бы спокойно отнеслась к мокрым брюкам. Кто в наше время обращает внимание на такие пустяки? Человек должен помогать своему ближнему.

Герр Хоффер решил, что после войны, другими словами, в ближайшие недели он все это как следует обдумает. Долг человека состоит в служении ближним, и в первую очередь любимым. Он представил, какая нелегкая предстоит жизнь в ближайшие месяцы, а может, и годы.

Придется забыть про Гельголанд. Надо быть реалистом. Даже светлое пиво или лимоны могут исчезнуть, останется один ревень. Но он будет гулять с дочерьми в парке. Вряд ли парк будет стерт с лица земли, а со временем вместо поваленных бомбами деревьев посадят новые. Он будет гулять с девочками по воскресеньям, играть с ними на траве, бегать. Особенно с Эрикой, она любит побегать. Сабина шутила, что это оттого, что они зачали ее в Берлине во время Олимпийских игр. В прошлое воскресенье он тоже гулял с ними. Забавно, но они всегда ходили одной и той же дорогой: огибали декоративный пруд с медлительными золотыми рыбками, лавировали между стриженых кустов живой изгороди и только потом останавливались у качелей. Надо изменить маршрут. Может, входить через другие ворота, лишь бы сойти с привычной колеи. Можно начать с качелей и закончить у декоративного пруда, пустить кораблики. Он сделает своим девочкам новые кораблики, раскрасит их красным, синим и желтым, а трубы выкрасит в шикарный черный цвет. Сабина иной раз выходила с ними прогуляться, но чаще оставалась дома, усаживалась на зеленом диване, просматривала старые журналы, штопала чулки, слушала радио. Порой натирала воском и полировала мебель. Всякий раз, когда она видела, что после бомбардировки картины висят косо, она обязательно их поправляла и вытирала пыль. Вот почему с нами не приключилось ничего дурного, понял он. Когда пыль тучей висела в воздухе, Сабина была тут как тут, и с тряпкой в руках.

Он простит ее без слова упрека, даже если она заплачет по Бенделю.

Большинству соотечественников, которым посчастливилось меньше, несомненно придется ютиться в сырых подвалах и палатках и отчаянно торговаться из-за продуктов, свечей, керосина и дров. Молодежь присоединится к американцам и англичанам и погонит большевистские орды. Нацисты поважнее — но не пресловутые вожди, которые пойдут под суд, — драпанут в Америку со своими неправедными богатствами и бесценными произведениями искусства, а нацистам средней руки и дома будет неплохо — с тем, что они награбили да припрятали. Так уж повелось с незапамятных времен.

Деньги — герр Хоффер давно это понял — откроют тебе любую дверь, только счастья не принесут. Деньги станут новым богом.

Но он, герр Хоффер, поклоняться этому богу не будет. Он будет молиться скромным домашним богам и непостижимому богу любви. (Да, капитан Кларк Гейбл, вот мой идеал. Назовем его немецким. Мой старый немецкий идеал.) Бескорыстный гражданин, хороший отец и супруг, он защитит любимых от грядущих невзгод, согреет их своей любовью. Он будет читать им стихи и играть Шумана. Он представил, как гуляет с дочурками где-то далеко от города на опушке неизвестной березовой рощи, за которой простирается луг; дует летний ветерок, листья на деревьях шелестят и вздыхают. Даже если он пал в глазах других или выставил себя на посмешище и ему дали глупое, нелепое прозвище, — все неважно, главное сейчас подняться и продолжать жить.

Он посмотрел на часы. Почти одиннадцать. Стало куда тише. Вернер, фрау Шенкель и Хильде Винкель сидели, закрыв глаза. Настоящее затишье после бури.

Конечно, он простит Сабине ее адюльтер с Бенделем. Она, наверное, немного погорюет по убитому, но он постарается ее утешить, про-

явит христианское терпение и христианскую любовь. К тому же у него будет много дел — придется заниматься перевозкой коллекции обратно в музей из соляной шахты — особенно если его официально назначат директором, — но семья всегда останется на первом месте. Он научит своих девчушек любить живопись, проявит терпение и умение. Шутить насчет евреев и носков он не будет, разве что случайно. Он снова станет шить на заказ пальто и костюмы у старого Мордехая Грассгрюна, как только сей виртуоз иглы и ножниц вернется из Польши или какой-нибудь Румынии и вновь откроет ателье на Фриц-Клингенбергер-штрассе (которая конечно же, сменит название). Так он спасет себя от мести иудеев.

В мокрых брюках было ужасно противно, но он старался об этом не думать. Основная задача на ближайшее будущее — это чтобы тебя не пристрелили американцы. Им ничего не стоит нажать на спуск. Он слышал от беженцев, что они, прочесывая город, палят во все, что движется. С другой стороны, вряд ли они откроют огонь по обмочившемуся субъекту в носках. Он закрыл глаза. Наверное, его сморил сон; а когда он поднял веки, то поразился, как резко несет горелым, какая страшная горечь лезет в нос. Перед ним стоял человек, солдат. Тень в каске. Бледная зыбкая фигура, казалось, пылала изнутри, то и дело ослепительно вспыхивая, а потом поплыла в глубину подвала, точно сошедший с небес ангел. Звуки доносились откуда-то издалека, искаженные, расплывчатые и странные. Было очень больно, но боль была какая-то чужая, ее источала кожа — но ведь он сбросил кожу, хоть и непонятно как. Он бы закричал от ужаса — но крик получался безмолвный. Вздохи ветра в листве заглушали его предсмертные вздохи, ветер набирал силу, шелест и шорох нарастали, их прорезал треск веток, тучи над лесом стремительно неслись и вопили подобно крови — и тучи поглотили его и обратили в непролившийся дождь.

Копия картины Иоганна Кристиана Фоллердта (1708 — 1769).
Пейзаж с руинами, 1760.
Холст, масло, 24 x 32.
Галерея имени Розы Люксембург, Лоэнфельде.

Эта ничем не примечательная картина приобрела известность после того, как в 1964 году была выставлена на ежегодной выставке "Мир во всем мире". Покрытое шрамами и пузырями полотно стало символом ужаса развязанной фашистами войны в глазах тысяч людей, приехавших в наш город посмотреть на изуродованные полотна, выставленные в огромном вестибюле нового здания ратуши и подсвеченные особым образом.

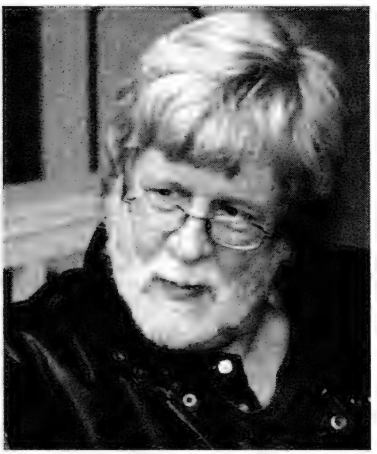
Найденная под руинами жилого дома на бывшей Герман-Геринг-штрассе (ныне Карл-Маркс-штрассе) в 1945 году, эта копия — выполненная, по-видимому, кем-то из учеников Фоллердта, — один из немногих уцелевших экспонатов блестящей довоенной коллекции бывшего Музея кайзера Вильгельма Лоэнфельде (представленная черно-белая фотография — единственное изображение оригинала, погибшего при бомбардировке Магдебурга).

Вот что рассказывает свидетель событий, 31-летняя учительница Элизабет Хоффер:

— Лоэнфельде был занят американцами после жесточайшей бомбардировки. Наш многоквартирный дом был серьезно поврежден, и многие жильцы оказались замурованными в подвале на два дня. Мужественные попытки освободить нас не увенчались успехом. В конце концов дом обрушился, и только половину из нас (тридцать три человека) удалось вытащить из-под завала. Мои сестра и мать погибли. Моего отца, Генриха Хоффера, с нами не было, он пропал без вести во время обстрела. Возможно, он, будучи исполняющим обязанности директора Музея кайзера Вильгельма, прятал дома какие-то картины, боясь, что их присвоят либо нацисты, либо наступающие на город американцы, и копия Фоллердта оказалась среди них.

Рядом с картиной был выставлен сильно обгоревший блокнот, найденный в том же месте, это дневник еврейской девочки, которая пряталась от преследований. Такие блокноты выдавались посетителям библиотеки Музея кайзера Вильгельма. Неизвестно, пряталась девочка на чердаке Музея (сейчас здесь находится зал имени Вернера Зееленбиндера) или в квартире директора Г. Хоффера. В любом случае дневник остается волнующим примером мужества перед лицом нацизма, а картина — известным на всю Германскую Демократическую Республику свидетельством трагедии войны.

Джо Грин



Стихи из книги "Рин-Тин-Тин. Лай в темноте"

Перевод с английского, вступление и комментарии Антона Нестерова

В каком-нибудь южном городке, свернув за угол, неожиданно проваливаешься в другую эпоху: эта клумба с нелепой скульптурой пятидесятых годов посередине, эта беседка — кажется, время вокруг них застыло, — у неба тут чуть другой цвет, у воздуха другой вкус. Прошлое истончается и исчезает неравномерно, оно тает, как туман, что какое-то время обрывками и клочьями висит в воздухе после восхода солнца.

Неизжитое время в разных местах разное. В Англии это ранние шестидесятые — времена первых выступлений "Битлз", клуба "Каверн" и т. п. В Америке это пятидесятые — эпоха би-бопа и электрического блюза, фильмов Хичкока, комиксов и "охоты за ведьмами"... Это время не ушло безвозвратно — оно не кончается и не отпускает, к нему возвращаются, опять и опять проговаривая его, задавая ему вопросы, на которые не находят ответа. Порой оно видится каким-то "золотым веком", и не потому, что было столь уж безоблачно-счастливым, а просто из сегодняшнего дня кажется, что зло и добро в нем еще были разделены и не смешивались друг с другом, мир можно было понять — и действовать в нем по правилам. Клочья прошлого висят в воздухе...

© Joe Green, 2006
© Антон Нестеров. Перевод, вступление, комментарии, 2009

Американский поэт Джо Грин пытается их поймать, хоть как-то очертить. Контур, конечно же, выходит нечетким и смазанным...

Джо Грин играет с ностальгией читателя и с его, читателя, готовностью верить чужим воспоминаниям, верить в подлинность жанра "прошлое, каким я его видел". Читатель предпочитает аутентичные свидетельства об эпохе? Что ж, Джо Грин с усмешкой такое "свидетельство" предлагает.

Он пишет книгу от лица... пса Рин-Тин-Тина, который был героем детских сериалов вроде тех, что потом снимали про овчарку Лесси. Первый фильм про Рин-Тин-Тина был сделан еще в 1923 году, а в пятидесятые вышел телевизионный проект, начинавшийся как римейк тех старых лент про полицейскую овчарку.

На обложке книги Джо Грина стоит имя "Рин-Тин-Тин", сам поэт "числится" всего лишь редактором, а в предисловии сказано: "Эта горстка стихов — малая часть 1673-страничной рукописи "Лай в темноте", которая была найдена во дворике приюта для бездомных животных на Брайтон-Бич. "Двориком" это место называют несчастные твари, на себе узнавшие, что такое эвтаназия. Мне уже доводилось писать о странных и трагических событиях, которые привели к обретению этого манускрипта, — моей депрессии, положившей начало интенсивным контактам с миром духов, ужасной ошибке, в результате которой я уничтожил полное собрание стихотворений Шекспира, написанных им после смерти, — тексты были продиктованы мне духом Элизабет Баррет Браунинг[1]. Писал я и о моем общении с животными, отошедшими в мир иной (спасибо Теду Хьюзу[2]), и конечно же об общении с духом Рин-Тин-Тина, которое вряд ли бы состоялось, если бы не Ка[3] Уистана Хью Одена.

Все мы знаем Ринти и фильмы, в которых ему довелось играть. Но знаем ли мы тот факт, что он был замечательным гитаристом? В пятидесятые он познакомился с Билли Холидей, и это знакомство стало началом их романа, о котором не ведает ни одна живая душа..."

Уже в самом этом предисловии — удивительная смесь горечи и иронии, пародии и ностальгии, "существования всерьез" во вселенной культуры и насмешливой игры с культурными кодами... В предисловии "отыграны" такие "архетипические фигуры" масслита, как Непонятый гений (сам Рин-Тин-Тин), накоротке знавший Великих (Билли Холидей и др.), Безумный Интеллектуал (публикатор, он же поэт Джо Грин), дан намек на почти детективную историю обретения рукописи (при этом в памяти всплывает "ужастик" Стивена Кинга "Кладбище домашних животных"), а поиски манускрипта, о которых сказано лишь намеком, превращают публикатора во что-то среднее между Индианой Джонсом и активистом-гринписовцем; плюс к тому — явственно присутствует аллюзия на романы Пола Остера: "Левиафан", или "Запертая комната", или "Книга иллюзий", где сюжет строится на поиске автора, пожелавшего исчезнуть, раствориться в толпе после того, как им создан шедевр; плюс тени четырех (если считать и Роберта Браунинга, мужа Элизабет Баррет Браунинг) больших поэтов, призванные из небытия, — и все это на пространстве текста меньше двух абзацев...

1. Английская поэтесса (1806—1861), жена поэта Роберта Браунинга, в конце жизни увлекалась спиритизмом. Лучшая ее вещь – цикл "Сонеты с португальского" (1850) – отчасти носила характер мистификации; стихи, вошедшие в него, вовсе не были переложениями, хотя автор стремился уверить читателя в обратном. Известна также благодаря повести Вирджинии Вулф "Флаш".
2. Горькая ирония здесь связана с книгой Теда Хьюза (1930 – 1998) "Письма ко дню рождения" (1998), в которую вошли стихотворения, адресованные жене поэта, Сильвии Платт, которые он из года в год писал после ее самоубийства в 1963 г.
3. В верованиях древнего Египта Ка – душа-двойник умершего.

Игра, которую затевает Джо Грин, весьма своеобразна. В стихах "Рин-Тин-Тина" мелькают знакомые имена: певица Билли Холидей и писатель Трумэн Капоте, сенатор Маккарти и актер Лоренс Оливье; события почти узнаваемы, но... У Рин-Тин-Тина, как и у всякого мемуариста, память о давно ушедшей эпохе носит очень личный — и, скажем прямо, весьма своеобразный — характер. Читатель этих "свидетельств" имеет дело не с сознательными искажениями прошлого, а с альтернативной реальностью: так, сенатор Джозеф Реймонд Маккарти, оставивший след в американской истории XX века тем, что был инициатором преследования людей за их левые убеждения, умер вовсе не в 1953-м, а в 1957 г.; и подобных "нестыковок" множество. Перед читателем "как бы" мир пятидесятых — что-то вроде пародийного извода его массового восприятия. Но эта пародия заряжена очень сильными эмоциями — особенно если в сознании читателя присутствуют кадры фильмов тех лет, звучание джаза, если ассоциации работают. Мир — придуманный, а горечь его утраты — совершенно подлинная. И в этом — один из главных смыслов эксперимента, затеянного Джо Грином.

Сам он принадлежит к тому кругу американских поэтов, которые публикуются редко и понемногу — по большей части в поэтических журналах и альманахах, но при этом почти преднамеренно не хотят издавать книги, хотя коллеги хором утверждают, что без N пейзаж современной поэзии немыслим. По сути, "Лай в темноте" — первая книга Джо Грина (ей даже пророчили особый приз: за поздний поэтический дебют, но автор резонно заметил, что он не дебютант, а скорее уж "маститый поэт без книги", что в его случае довольно точное определение).

Ниже мы приводим несколько переводов из этой книги, предваряя их некоторыми пояснениями для читателя.

Не склонившие головы — фильм, снятый режиссером Стенли Крамером в 1958 году на волне антирасистских настроений, поднявшейся в США. Двое бегут из тюрьмы. Негр и белый. Они на дух друг друга не переносят, но, если они хотят сохранить жизнь и обрести свободу, им надо об этом забыть: стальные наручники сковывают их, и им не уйти друг от друга. Белого сыграл Тони Кертис. Негра — Сидни Пуатье. Фильм получил "Золотой глобус" на Берлинском фестивале 1958 года и два "Оскара" — за лучший сценарий и лучшую операторскую работу — в 1959 году. В русском прокате он шел под названием "Скованные одной цепью"; те, кто помнит песни "Наутилуса Помпилиуса", легко догадаются, откуда название и рефрен одной из них.

Что до фильма **Вестсайдская история**, то он был снят режиссером Джеромом Роббинсом и Робертом Уайзом в 1961 году по мьюзиклу Леонарда Бернстайна, шедшего до этого на Бродвее.

Билли Холидей (настоящее ее имя — Элеонора Фэйган, 1915—1959) была одной из лучших вокалисток в истории джаза. Чаще всего ее сравнивают с Эллой Фицджеральд, но голос Холидей куда "суше" и "джазовей". Сама ее биография давно превратилась в легенду: девчонка из Гарлема, с 14 лет подрабатывавшая на панели, однажды она попыталась устроиться в ночной клуб Джимми Престона. Как писала сама Холидей в автобиографии: "Мы жили тогда в Нью-Йорке, на 145-й стрит, близ 7-й авеню. Случилось, что мы были так голодны,

© Ольга Романова, 2009

что едва могли дышать. Я собралась с силами и вышла на улицу. Было чертовски холодно, но я побрела от 145-й стрит до 133-й вдоль по 7-й авеню, заходя в каждую пивную с надеждой найти хоть какую-нибудь работу. Наконец я пришла в полное отчаяние и остановилась в клубе "Log Cabin", которым руководил Джерри Престон. Я сказала ему, что хочу согреться и выпить, но у самой не бы-

ло ни цента в кармане. Тем не менее я заказала джин (это была моя первая выпивка, ибо до той поры я не могла отличить джин от вина) и выпила его залпом. Мне сразу стало тепло, и я попросила Престона дать мне какую-нибудь работу – сказала ему, что могу быть танцовщицей. Он велел, чтобы я станцевала. Я попыталась сделать это, но ему совершенно не понравилось. Тогда я сказала, что умею петь. Он ответил: "Спой". В углу какой-то старик бренчал на фортепиано. Он начал играть мелодию "Travlin'", и я запела. Посетители в баре перестали пить, повернулись и стали наблюдать за мной. Затем пианист (это был Дик Уилсон, как я узнала позже) переключился на "Body and Soul". Боже, видели бы вы этих людей – они начали кричать и плакать, все до одного. Это была очень простая публика. Престон подошел ко мне, покачал головой и сказал: "Детка, ты победила". Вот так я и начала петь. Тогда первым делом я попросила у Престона сэндвич и тут же его проглотила. Поверьте, эти люди дали мне целых восемнадцать долларов чаевых! Я выбежала, купила в лавке настоящую, большую курицу и помчалась со всех ног домой, на 7-ю авеню. В эту ночь мы с матерью впервые за много дней наелись досыта. С тех пор у нас всегда было много еды..." В клубах Гарлема она пела до 1933 г., покуда ее не "нашел" известный джазовый импресарио Джон Хэммонд и не предложил ей работу с одним из лучших джазовых оркестров той эпохи – у Бенни Гудмена. А два года спустя на экраны выходит фильм "Симфония в черном", где Билли снялась вместе с Дюком Эллингтоном. Еще через три года Хэммонд предлагает ей сделать серию записей для музыкальных автоматов – причем не с биг-бендами, а с малыми ансамблями. С 1938-го по 1943-й Холидей записала около сорока таких пластинок – они крутились в барах и кафе по всей Америке. Как итог – в 1943 году журнал "Эсквайр" назвал Холидей лучшей джазовой певицей (второй в списке шла Милдред Бейли, а третьей – Элла Фицджеральд). Лучшие из записей тех лет Холидей сделала с тенор-саксофонистом Лестером Янгом – именно он придумал ей прозвище Lady Day. Их роман прервал арест Лестера Янга и последовавшее за ним тюремное заключение: музыкант схлопотал пятилетний срок – сперва его привлекли за уклонение от службы в армии, а потом припаяли наркоманию... Билли его очень не хватало. Она начинает пить, подсаживается на наркотики. В 1947 году ее арестовывают за наркоманию – по наводке ее же собственного импресарио – и на 7 месяцев помещают в тюрьму. Еще раз ее арестовали в 1949 году, но в тот раз обошлось без суда. А третий раз полиция предъявила ей ордер в связи с наркотиками в 1959 году, когда она лежала на больничной койке из-за сердечного приступа. Она так и не вышла в тот раз из больницы. У дверей палаты до самого последнего мгновения ее жизни дежурили полицейские: умирающая Билли Холидей числилась под домашним арестом за употребление и хранение героина...

"*Не склонившие головы*" ("*Скованные одной цепью*")

Тони Кертис их не устроил.
Его настоящее имя?
Берни Шварц?!
Позвали меня. Как обычно.

Только мне как-то не улыбалось играть
роль, в которой я буду прикован к другому —
как на поводке — на протяжении всей картины.

Билли я ничего не сказал.
Она сама все поняла.
С полувзгляда..

"Давай не будем про любовь...
Пойдем погуляем, там дождь..."

Я был уже сыт по горло. Выбор типажей, все такое...
И мы пошли.
Это был 58 год. Точно, 58-й.
Через год Билли не стало.
Помню, она говорила мне:

"Ты можешь выйти на каблуках, в белом
платье, гардения в волосах, а в округе — на сотню миль
ни намека на плантации.. И все равно к тебе относятся так,
будто..."

Ну да, это шоу мое по телевизору
пользовалось успехом.
Что из этого?

"Вестсайдская история" — что ж, это был шанс.
Почти что Шекспир, переделка "Ромео..."
Я отказался.

Про Билли они ничего не знали.

Lady Day...

Ни одна живая душа не знала.

Да и если бы знала...

Сидни Пуатье — во время той встречи
он вел себя по-джентльменски, но...
Я чувствовал — ему не потянуть

А я так устал все вывозить на себе,
за всех отдуваться...

Помню, я предложил: возьмите Ричарда Бертона —
Подгримируйте... Они не согласились.

Сэр Лоренс Оливье... Он был бы неплох,
Но, сказать вам поправде, его шепелявость,
Когда ты часами прикован к нему этой цепью...

Знаете что?

Либо Шекспир, либо — идите вы....
Примерно так я тогда думал.

И я сказал Билли: "Я люблю тебя".

А она в ответ:

"Давай не будем про любовь...
Пойдем погуляем, там дождь..."

Роберт Митчам (1917—1997), беседу с которым в баре вспоминает Рин-Тин-Тин в стихотворении, приведенном ниже, — известный актер, проживший весьма бурную жизнь: в юности он бродяжничал, успел отсидеть в тюрьме, попробовал себя в качестве профессионального боксера, авиамеханика, писал тексты для песен, а с 1942-го начал работать в кино — сперва снимался во второсортных вестернах, а в 1946 г. получил "Оскара" за роль второго плана в фильме "История рядового Джо". В пятидесятых лучшей его работой стала роль в нуарной картине "Ночи охотника", а в конце своей актерской карьеры он сыграл в "Мертвеце" Джармуша...

Джазисты **Джимми (саксофон, кларнет, 1904—1957) и Томми (тромбон, 1901—1956) Дорси** оставили столь заметный след в истории джаза, что на родине, в США, даже удостоились изображения на почтовой марке... И по сей день многие саксофонисты говорят, что на них больше всего повлияла игра Чарли Паркера и Джимми Дорси... А еще в оркестре Джими Дорси начал свой путь Фрэнк Синатра. Что до Томми — по его вещам до сих пор учатся многие классические музыканты-духовики. В оркестре братьев Дорси играли легендарные барабанщики Бадди Рич и Джин Крупа, саксофонист Банни Берген, кларнетист Джонни Минц, а тромбонистом и аранжировщиком у них был Глен Миллер. Джимми Дорси был этакий повеса, любимец женщин, Томми — правдолюбец. Известна история, рассказанная в свое время джазовым певцом Бингом Кросби (1904—1977): "Однажды Томми пропустил репетицию у Пола Уайтмана, и тот перед началом концерта сказал, что вычтет из его заработка 50 долларов. Томми ответил, что если дурацкое наказание не будет отменено, то вместо 'Голубой рапсодии', открывавшей концерт, он начнет играть псалом. Занавес уже начал раздвигаться, когда Уайтман, не выдержав, закричал: 'Прощаю!' Но первые 16 тактов вступления все же прозвучали чуть похоже на 'О, мой Спаситель на кресте!'".

Долгое время братья работали вместе, покуда не вспыхнула ссора, собственно, из-за пустяка: на одной из репетиций, когда Томми дирижировал, Джимми ворчливо объявил, что тот задал неверный темп. Тогда Томми повернулся и вышел, чтобы никогда не вернуться... В истории джаза ссора братьев Дорси стала таким событием, что получила даже название – "separation day" ("день развода"). Оркестров Дорси стало два. Но только оркестр Томми был успешнее. Вплоть до 1953 года Джимми предпринимал отчаянные попытки свести концы с концами, но в конечном итоге ему все же пришлось распустить оркестр и занять место солиста в оркестре брата, который вскоре вновь начал называться "The Dorsey Brothers Orchestra"...

Поезд "А" – поезд в нью-йоркской подземке, экспрессом следующий из восточного Бруклина в Гарлем и северный Манхэттен от 207-й улицы до Чамберс-стрит, увековеченный в композиции Билли Стрейхорна "Садись в поезд А" – один из самых часто исполняемых джазовых "стандартов", ставший "визитной карточкой" оркестра Дюка Эллингтона, записавшего эту вещь в 1941 году.

Что еще? Ах, **Де Сото** Билли Холидей. Под этой маркой, обязанной своим названием одному из первых покорителей Америки, испанцу Эрнандо де Сото (1496–1542), концерн "Крайслер" с конца 20-х годов выпускал относительно недорогие модели с шестицилиндровым двигателем. Модель Firedome со 160-сильным движком V8 была хитом сезона 1952 года.

1953 год

1953-й... Не лучший год для меня.
Сплошные обломы. Черт его разберет почему.
Вроде была работа. Боб Митчам и я –
Мы наконец стали друзьями, после всех
этих трений. Как-то говорю ему: "Хочешь
Пробиться? Тогда – выбрось из головы
всю эту чушь про природный артистизм и т. д.".
Отодвинул стакан в сторону – разговор-то всерьез.
"Актерство, говорю, ремесло. Не смотри на меня так.
Ты знаешь, я прав. Шекспира не сыграть,
Покуда ты..." Он глянул – хмуро так, исподлобья.
"Слушай, Ринти... У тебя-то есть Билли".
(Я ему про нас рассказывал.) "А у меня?"
Закурил опять свой "Честерфильд".
Глянул сквозь дым.
"Тощища одна".

Тощища...
А то я не знаю.
Все время одно и то же...

Он ухмыльнулся. "Как тебе удалось
Отмочить эту штуку с Маккарти?"
Я подвинул назад его пойло.
"Заявил ему, будто я коммуняка, — делов-то.
Я ведь — Символ Америки, Боб. Ну старик — брык, и кранты.
Прощайте, сентатор..."

Боб расхохотался, но не поверил.
Правда, виду не показал: он ведь был душой общества.
С циниками так часто бывает.
С Ритой Хейворт он вел себя как джентльмен,
Поехал в Мексику, когда она спятила... А так —
Ублюдок ублюдком...
И глаза — пустые-пустые...

Ну и тоскливо мне стало...
Как сейчас помню: Нью-Йорк, 13 сентября 1953-го.
Какой-то концерт, в подвале, как всегда.
Боб еще до начала свалил с этой своей блондинкой.
А я вышел на сцену, только игралось хреново...
Это было как раз в тот вечер, когда Джимми и Томми Дорси
Решили, что опять будут выступать вместе.
Ну, они и продолжали, а я отставил гитару и так и сидел на сцене.

Мне ведь они этого не простили...
Потом — поезд "А", в Гарлем.
Взял "Де Сото" Билли — и к черту.

Трасса, час за часом,
Где-то посреди Пенсильвании
Остановился. Не знаю даже зачем.
Вышел из машины. Смотрю, с неба сорвалась звезда.
Не успел загадать. Не успел.

Потом какой-то городишко. У местной
Больницы спросил пацаненка, где это я.
"А у нас только что родилась девочка", — отвечает.

Ну, я развернулся и поехал обратно, в свою жизнь.

Трумэн Капоте написал свой **Завтрак у Тиффани** в 1958-м, а в 1961-м режиссером Блейком Эдвардсом по этой повести был снят фильм с Одри Хепбёрн. Сам Капоте, однако, считал, что главная его книга — "Обыкновенное убийство", про убийства в Канзасе... Ему очень хотелось прославиться в документалистике... Только вот по прошествии времени все эти его полудокументальные вещи забылись, а "Завтрак у Тиффани" — остался...

Завтрак у Тиффани

Ну, и Капоте за столиком. Пьян с утра...
Но я запомнил свет через витрину...
Кем был в те времена Капоте?! — Журналюга.
Канзас, убийства: Ринти, это вещь! Я напишу как есть.
Все, до конца. Они узнают, как надо
писать... И поверх чашки чая
Взгляд: а его слышат?
Я не слушал: свет, тень, свет. Утро.
— Глянь-ка... Интервью брать будешь?
— ...всю семью. Всех пристрелили...
Посмотри — вот, фотографии...
— Уволь меня от этих зрелищ, — сказал я.
И ушел.

.....
Разговор про индейцев. А потом,
Тормознув у обочины, вышли.
Ты увидела сойку,
Летящую там, в полутьме

Города на костях неповинных
Младенцев! Ну зачем надо было
Переть через прерии эти ходики
с боем?! Разве здесь счет идет на часы?!

И — нырок во тьму, тьма, и восход луны.
Мы стояли, объятые холодом. Ветер в ночи
Рой за роем гнал привиденья,
они плыли сквозь нас, легче легкого.

Вот они, наши тела...
Луна лун на небосклоне.
Ночь напролет...

.....
Что там по радио, что там по радио?
Чем ты заслушалась, чем, дорогая?
.....

То Рождество на Пятой авеню.
Пес-призрак. Пес-призрак.
Сколько раз я проносился мимо них?
Если б я мог, я бы всех их спас.

И тут я вспомнил, что оставил чек Капоте:

Что ж, повезло... Пожалуй, я был счастлив.

Деревце в Рокфеллер-центре: зимой зелень листвы.
Чья-то шутка за спиной.
Голод — после пьяной ночи.
Сэндвич, острый соус.
Мальчишка-официант богоподобен.
Его жена умерла буквально на днях.
Все мы чужие здесь друг другу.

Эрролл Гарнер (1921—1977) — джазовый пианист-виртуоз; у него были довольно короткие пальцы, и так как он не мог одновременно брать далекие ноты, он выработал собственный, узнаваемый, очень беглый стиль игры, во многом повлиявший на джазовый стиль би-боп — "интеллектуальный джаз" 50-х годов в целом. "Гарнер часто работает с трио, используя бас и ударные, но отлично может играть один и при этом не терять своего неподражаемого бита. Мне нравится его манера игры прежде всего потому, что его стиль действительно оригинален и содержит в себе больше чувства, чем у любого другого джазового пианиста, которого я могу припомнить. Для меня Гарнер — это Билли Холидей от рояля", — говорила джазистка Мэри Лу Уильямс.

Группа **The Four Aces** ("Четыре туза") объединила в своем составе четырех теноров и гремела в 50-е, собирая полные залы...

Love in vain ("Обреченная любовь") — один из блюзовых стандартов. Большинство помнит эту вещь, как ее сыграли Rolling Stones, ну а мы кивнем на более классичный "черный" блюзовый вариант.

Жизнь джазистов / Жизнь после жизни

Прямиком в Ад.
Не оглядываясь.
В Техас я уже заглянул.

"Le Jazz Hot".
Они все там играли.
Что говорить...
Обалденный был клуб.

В те-то годы... они были тенями, призраками...

Помню, я еще выступал с "Four Aces",
И Эрролл сказал: "Твой вечер, парень!" —
Спокойно так, с полуулыбкой.
Я понял, про что он.
Эта его линейка — как в "Серебряниках Иуды",
Он накручивал ее дальше и дальше.
Пропуская тот самый аккорд.

Он ведь знал, что я не тяну,
Знал... Хотя мы тянулись. Что есть мочи...
Всего-то пара лет... Что с ним стало?
Мертв.
Тщета, все тщета.
"Love in vain".
Все – к чертям.
Только...

Только не это...
Не до конца... Не в пропуске дело...
Ноты глохнут...
Остается лишь дождь, что на улице

"Le Jazz Hot".
Они все там играли.
Помнишь...
Обалденный был клуб.

[21
ИЛ 6/

Эдвард Лир
Из писем и путевых дневников

Перевод с английского и вступление Г. Кружкова

К чести англичан следует сказать, что они сразу оценили двух своих гениев нонсенса. Викторианская эпоха отлично разбиралась в оттенках комического. Вот, например, что писала лондонская "Таймс" в своем рождественском книжном обзоре 25 декабря 1871 года: "Чепуха (nonsense) бывает двух сортов: есть скучная чепуха, произнести или написать которую может каждый, и есть умная чепуха, изумительными мастерами которой являются Льюис Кэрролл и Эдвард Лир. Тот, чье детство осталось за горизонтом лет, чья жизнь перешла экватор, будет читать ее с немалым удовольствием и пользой для себя. <...> Мы не позволим детям монополизировать эту книгу, мы можем лишь опасаться, что они упустят некую часть того восхитительного и великолепного абсурда, который в ней заключен".

Творчество Лира давно уже разрабатывается вширь и вглубь. У него примечательно все — графика, живопись, книги путешествий с видами Средиземноморья, письма, которые он заполнял неподражаемой словесной игрой и забавными рисунками. Каждая новая находка — тетрадь, письмо или набросок, каждый клочок, вышедший из-под пера Лира, вызывает энтузиазм его многочисленных почитателей.

Всем памятны многочисленные автошаржи Эдварда Лира в образе "шарообразного", бородатого и очкастого чудака, а также его автопортрет в стихах, известный в переводе Маршака:

> Если ходит он, тростью стуча,
> В белоснежном плаще за границей,
> Все мальчишки кричат: — Англичанин в халате сбежал из больницы.

Лир умел посмеяться над собой. Зимой 1862 года он писал своему другу Чичестеру Фортескью, что собирается обратиться к канцлеру казначейства Гладстону с просьбой назначить его "Верховным Перипатетическим Ослом и Главным Белибердяем" страны. Через год его взоры обратились еще выше и он задумал писать к премьер-министру Палмерстону, чтобы тот походатайствовал перед Ее Величеством Королевой, дабы та попросила короля Греции назначить его "Лордом Хранителем Государственной Глупости и Верховным Вздорослагателем".

За полвека Эдвард Лир написал немало писем своим друзьям и знакомым; многие из этих текстов утрачены или уничтожены, но письма к Фортескью сохранились в довольно полном объеме, они охватывают период с 1856 года до самой смерти Лира в 1888 году. Когда они познакомились в Риме, Чичестер Фортескью был юношей двадцати двух лет, после окончания Оксфордского университета со-

© Г. Кружков. Перевод, вступление, 2009
Публикация иллюстрируется автошаржами Эдварда Лира.

вершавшим обычный "большой вояж" по Европе. Эдвард Лир был на десять лет старше, тем не менее они сразу испытали друг к другу взаимную симпатию, и их дружба (в основном эпистолярная) с тех пор не прерывалась.

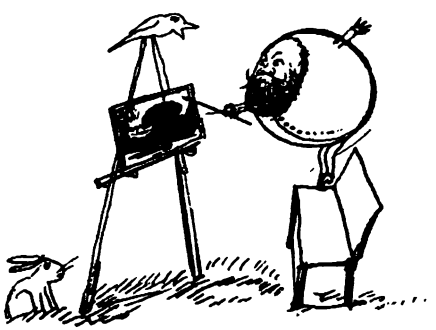
Друг Лира вскоре стал членом парламента и сделал блестящую карьеру в британской политике, возвысившись в итоге до лорда-хранителя печати. В следующей далее подборке дана лишь малая толика их обширной переписки. 1850-е и 1860-е годы для Лира время интенсивных перемещений по миру. Несмотря на слабое здоровье — он был подвержен приступам эпилепсии, — Лир путешествует по всему Средиземноморью, ни на день не расставаясь со своими рисовальными принадлежностями — альбомами, альбомчиками, мольбертом и т. п. Он чувствует себя прежде всего художником — *Проклятым Пийзажистом* (Landskipper), как он сам себя называет. Может быть, дорога его лечила, как Гоголя, — по крайней мере, до той поры, когда обстоятельства вынудили его к оседлой жизни и он поселился в курортном городке Сан-Ремо на итальянской Ривьере.

Следом за письмами читатель найдет отрывки из дневников путешествий Лира по Калабрии (Южной Италии) и Албании. В то время, когда фотография была еще в зачатке, а путешествия требовали больших затрат, времени и денег, такие путевые альбомы художника пользовались большим интересом у публики. В своих дневниках Эдвард Лир демонстрирует то же умение подметить комическую сторону, колкость и эксцентричность, как и в эпистолярном жанре.

И письма, и отрывки из путевых дневников снабжены "шапками" — названиями, подчеркивающими главную тему или особую пуанту данного текста Лира. В этом я следовал за Питером Хэйнингом, редактором-составителем книги *A Book Of Learned Nonsense. A Centenary Anthology of Edward Lear* (London, 1987).

В завершение этого предисловия, может быть, будет уместно привести автобиографическую записку Эдварда Лира из его письма Чичестру Фортескью накануне отъезда из Англии в 1863 году, в котором он сам набрасывает канву своей, на тот момент пятидесятилетней жизни и трудов.

Мой дорогой Ф., покидая Англию, я хочу оставить тебе на память записку о различных своих изданиях и публикациях, удачных или не очень, равно как и об их датах, чтобы при случае ты мог втиснуть эти сведения в свой блестящий мемуар о своем друге, — если меня угораздит сложить свои кости в Пальмире или еще где-то. По крайней мере, коль скоро человек всю жизнь хлопочет о чем-то с немалым рвением, а также с некоторой пользой для других, почему бы миру не узнать подробности об этих его рьяных хлопотах и их результатах?



Я родился в 1812 году (12 мая), а рисовать ради хлеба и сыра насущного начал в 1827 году. Сначала я малевал всякие необычные рекламные рисунки для лавок, которые продавал по цене от девяти пенсов до четырех шиллингов, раскрашивал гравюры, каминные экраны и веера, а также делал медицинские рисунки для больниц и частных докторов. В 1831 году по

рекомендации миссис Уэнтворт я стал работать для Зоологического общества и в 1832 году напечатал "Семейство попугаевых (Psittacidae)" — насколько я знаю, первый полный альбом цветных рисунков птиц в таком большом масштабе, опубликованный в Англии.

Книга Дж. Гулда "Индийские фазаны" была начата в то же самое время, а вскоре после этого он привлек меня к рисованию европейских птиц, причем я помогал миссис Гулд рисовать передние планы, как может заметить каждый, кто глянет на мои рисунки в "Европейских птицах" и "Туканах" Гулда. С 1832 по 1836 год, когда мое здоровье несколько ухудшилось, я много рисовал в поместье графа Дерби, серия моих рисунков была опубликована доктором Греем из Британского музея — эта книга сейчас редкость.

Я также делал литографии на разнообразные темы и, в частности, большую серию черепах (Testudinata) для профессора Белла, а также рисунки для "Британских млекопитающих (British Mammalia)" Белла и для нескольких томов "Библиотеки натуралиста" — попугаев, котов и, кажется, обезьян.

В 1835 или 1836 году, побывав в Ирландии и Озерном краю, я начал все больше склоняться к пейзажу, и, когда в 1837 году стало понятно, что с каждым месяцем мое здоровье ухудшается из-за английского климата, я отправился за границу, провел несколько зим в Риме и в 1841 году, приехав в Англию, опубликовал альбом литографий "Рим и его окрестности". Возвратившись в Рим, я посетил Сицилию и многие места в Южной Италии, продолжая делать рисунки пастелью, хотя еще в 1840 году я написал первые две картины маслом. Я давал также уроки рисования в Риме и неплохо сводил концы с концами. В 1845 году я снова приехал в Англию и в 1846 году давал уроки рисования королеве Виктории — благодаря тому, что Ее Величество видела мои книги об Италии, опубликованные в том же году.

В 1847 году я отправился в Южную Калабрию, опять совершил поездку по Сицилии и в 1848 году окончательно покинул Рим. Затем я побывал на Мальте, в Греции, в Константинополе и на Ионических островах, добрался до горы Синай, второй раз путешествовал по Греции и наконец в 1849 году вернулся в Англию. Весь 1850 год я отдал совершенствованию в рисунке, а также продолжал занятия живописью до 1853 года, выпустив за это время, в 1849 и 1852 годах, два тома, озаглавленные "Дневник художника в Албании" и то же самое — в Калабрии. Первое издание "Книги чепухи" вышло в 1846 году, литографированное с помощью восковой бумаги. В 1854 году я побывал в Египте и Швейцарии, а в 1855 году поехал на Корфу, где провел зимы 1856—1858 годов, посетив гору Афон, а позже Иерусалим и Сирию.

Осенью 1858 года я вернулся в Англию, а зимы 1859-го и 1860-го провел в Риме. В 1861 году я оставался всю зиму в Англии, работая над картинами "Ливанские кедры" и "Масада", а после смерти моей сестры в 1861 году уехал в Италию. Две следующие зимы (1862 и 1863) я провел на Корфу, в это время был опубликован альбом "Виды Ионических островов". В 1862 году появилось второе, значительно расширенное, издание "Книги чепухи", печатается уже шестнадцатая тысяча тиража.

Уф, кажется всё!

Твой преданный друг,

Эдвард Лир.

Из писем Эдварда Лира – Чичестеру Фортескью

Мясобоязненные мизантропические монахи

Карантинный остров, Корфу, 9 октября 1856

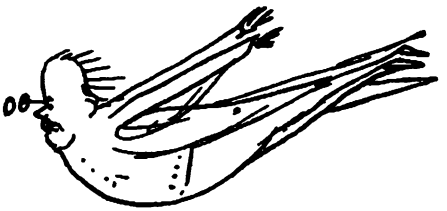
Я только что вернулся из двухмесячного путешествия на гору Афон, где сделал много рисунков, а потом посетил долину Трои. За это время я скопил много здоровья, телесного и душевного – к великой моей радости и, косвенным образом, к удовольствию моих друзей и приятелей, которые смогут читать мои Непутевые Записки и восхищаться моими Пийзажами.

Я намереваюсь написать красками вид пролива Корфу и Албанских гор. Надеюсь продать его за 500 фунтов; это будет лучшей моей работой и самой большой – холст я возьму длиной в девять футов. Если не удастся его продать, я сразу примусь за другую картину – уже десятифутовую, если же и ее никто не купит, то за двенадцатифутовую. Настойчивость все превозможет!

Перед началом путешествия меня мучили недоморгание и морехлюндия, и я решил, что не смогу работать, если не укреплю телесно-душевные силы и не волью в себя свежей Н.Р.Г.И. Я сказал себе: еду на гору Афон. И вот 7 августа я захватил своего слугу Джорджио, свои дорожные манатки, раскладную кровать, кипу бумаги, хининовые пилюли и пустился в путь.

В пути я почувствовал себя лучше, и мне удалось быстро проникнуть на Святую гору – самое удивительное место из всех, какие мне встречались в моих странствиях. Это полуостров, занятый огромным горным кряжем высотой в 2000 футов и длиной в 50 миль, заканчивающийся обширным утесом высотой в 7000 футов. Все это пространство, кроме голого утеса, покрыто густым лесом, состоящим из дуба, бука, каштана и падуба, и по всем скалам и уступам над морем расположены двадцать больших древних монастырей, не говоря о шестистах или семистах маленьких, раскиданных по всему полуострову.

Эти монастыри населены, считая приблизительно, шестью или семью тысячами монахов, и, как ты, наверное, слышал, на всем полуострове нет ни одного существа женского пола – ни лошади, ни кошки, ни курицы – только мулы, коты и петухи. Буквально так!



Я сделал зарисовки всех двадцати монастырей — коллекция редкостной ценности, подобной которой, я думаю, нелегко найти. Добавь к этому постоянную ходьбу — по восемь или десять часов в день, — которая сделала меня очень выносливым, а необходимость действовать решительно в определенных ситуациях вызвала во мне прилив такой энергии, о которой я раньше и не подозревал.

Хуже всего были еда и грязь, которые приходилось терпеть. Как бы ни были удивительны и живописны эти монастыри снаружи и внутри и как бы ни были ошеломительно прекрасны горные виды, я больше не вернусь туда ни за какие деньги — такой угрюмой, вопиюще неестественной, замкнутой, лживой и удушливой показалась мне атмосфера этого монашеского гнезда.

Та половина человеческого рода, которую для каждого из нас естественно лелеять и любить более всего, здесь полностью изгнана, запрещена, ненавидима; вся жизнь состоит в бесконечных повторениях монотонных молитв; нет ни малейшего сочувствия или интереса ни к одному из разумных существ какого бы то ни было народа, сословия или возраста. Божий мир и Божий план перевернуты вверх ногами, извращены и окарикатурены. Скажу так: если это +ианство, то такое +ианство следует искоренить, и чем скорее, тем лучше.

Я уверен, что для взора Всевышнего куда приятней — и более согласуется с учением Иисуса Христа — какой-нибудь турок с шестью женами или еврей, работающий изо всех сил, чтобы прокормить кучу детишек, чем эти мракобесные, малокровные, монотонно мямлющие, многомолитвенные, мироненавистнические, мясобоязненные, мармеладоядные, мизантропические, мутные и мерзкие монахи!

Узрев все это — воистину уникальной страницей в книге моих жизненных опытов останется Афон! — я отправился обратно в Салоники, а из Салоников на паруснике отплыл в Дарданеллы, где, будучи вынужден четыре дня дожидаться парохода, употребил это время на то, чтобы увидеть равнину Трои. Оттуда я уже вернулся морем на Корфу, и будь п—ты эти угрюмые сычи со всей их блажью!

Нашествие белошвеек

Корфу, 11 января 1857

Хочу дать тебе краткий и дельный отчет о себе. После выхода моего из карантина жестокое землетрясение так накуролесило в доме, где я снимал жилье, что мне пришлось подыскивать себе новое пристанище. Я подумал, что стоит найти квартиру подороже, но с удобной комнатой для работы. В конце концов я снял первый этаж дома Скарпа на Кондитеррас, иначе зовущегося Бастионом Сан-Анастасио, за который я плачу шесть фунтов в месяц. <...>

Джорджио — ценнейший мой помощник, превосходный повар и бесконечно услужливый и ловкий слуга. Не всегда такой чистоплотный, как мне бы хотелось, однако исправляется у меня понемногу — не таской, но лаской. Я учу парня читать и писать, и он двигается вперед семимильными шагами.

Я сразу принялся за работу, встаю каждый день в 5 1/2, рисую и пишу акварелью и маслом до 3 или 4 часов, с перерывом на завтрак в 9, потом гуляю до шести. Обедаю в 6 1/2, потом довожу до конца свои афонские зарисовки до 10 часов. Мое здравие в целом недурное, и я могу работать больше, чем в прошлом году.

Мой большой пийзаж острова будет *снобсшибателен*; рассчитываю получить за него 500 гиней. Посуди сам — он длиной девять футов и четыре дюйма, а высотой шесть футов. Думаю со временем отвезти его в Манчестер.

А теперь, мой мальчик, ты должен мне быть вечно благодарен за предложение, которое ты по моему совету должен сделать в парламенте. Оно будет выдвинуто и обосновано тобой, к неоценимой пользе для общества и твоей вечной славе в потомстве.

Как только откроется парламентская сессия, выдвинь предложение, чтобы все несчастные белошвейки были отосланы на Афонскую гору. Таким хитрым путем все пять тысяч монахов, молодых и старых, будут захвачены врасплох и обезоружены! Несчастные дети этих белошвеек поднимут такой крик, что содрогнется древняя гора и вся эта ужасная фабрика монашества, чтобы не сказать греческой ереси, рухнет и сокрушится вовеки веков. Аминь!

N. B. Пусть белошвейки высадятся на юго-восточной стороне полуострова и с ходу возьмут штурмом ближайший монастырь; тогда все остальные падут быстро и без боя.

Важность древнегреческого

Корфу, 17 декабря 1861

Нижеследующее извержение моего пера будет опыто-мистичным, ибо я засел за работу и она идет недурно. Сверх того я получил письмо от издателя "Книги нонсенса", уведомляющее, что она вышла (издательство "Ратледж и Уорн") и уже продано 500 экземпляров! Пожалуйста, делай, что можешь, для увеличения продаж — беспардонно расхваливай и раздувай слухи.

Не знаю, каковы выходят мои письма к тебе, ведь я их никогда не перечитываю; но надеюсь, что лет через 100 читать их будет не менее интересно, чем любую биографию, и как раз потому, что они написаны экспромтом и без оглядки.

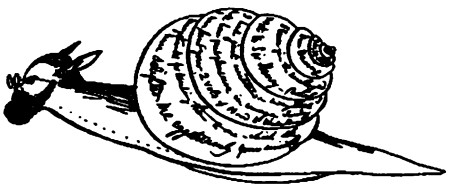
Жаль, что у меня не хватает времени серьезней заняться древнегреческим. Если бы я был Законодателем и Архонтом, я бы постановил, чтобы знание древнегреческого языка считалось за высшую добродетель в государстве. На второе место я бы поставил чистоплотность, а то, что так превозносят пасторы — благочестие, — на третье.

О-го-го! У меня теперь новый стол, шесть футов длиной и три шириной. Я буду обедать за одним концом, писать за другим и рисовать посередке!

Не уставай заклинать и умолять всех, особенно лорда Шафстбери и епископа Оксфордского, купить мою "Книгу нонсенса"!

Пийзажист на Мальте

Империал-отель, Валлетта, 29 мая 1862



Вот он я — все еще на пути в Англию. Каким образом вышло, что я покинул ливерпульский пароход, тому следуют причины.

Я взошел на борт "Марафона" во вторник, двадцатого, полагая, что он отправляется прямым рейсом в Ливерпуль. Но он отправился лишь в среду и, прибыв на остров Занте, остановился там на два дня. Постепенно до меня стали доходить известия, что он не направится прямо в вышеозначенный порт, а сперва зайдет в Мессину и лишь потом в Палермо и достигнет Англии числа десятого или двенадцатого июня. Все эти обстоятельства делались мне известны не сразу, а зернышко по зернышку — как сказал воробей, склевавший целый бушель пшеницы.

Сведав все это, я сказал себе: если мне удастся получить назад плату за проезд, имеет смысл сойти на берег в Мальте, осмотреть это замечательное место и дождаться марсельского парохода, что дало бы мне надежду добраться до Англии до 8-го, и еще удобней, то есть сразу до Ньюхейвена или Дувра. Избежав таким образом риска попасть в шторм в Бискайском заливе или Ирландском море.

К чести и славе "Марафона" — они отдали мне плату за проезд безо всяких разговоров и поплыли дальше. Вообще, это хороший корабль — удивительно комфортабельный и хорошо управляемый. Бодрые и умные стюарды были все время под рукой, а огромная шарообразная горничная действовала за сценой. Еда была вкусной и обильной, офицеры — любезными и дружелюбными.

Компания на борту образовалась изысканная и довольно любопытная. Рядом с Проклятым Пийзажистом сидела супруга сэра Диметрия Вальзамачи — бывшая некогда женой епископа Хебера — бедная леди! Она действительна была очень любезной, когда не спала и не была слишком измучена.

Во время путешествия я спросил горничную-шотландку:

— Вы часто заходите в восточные порты, не подцепили ли вы лихорадку?

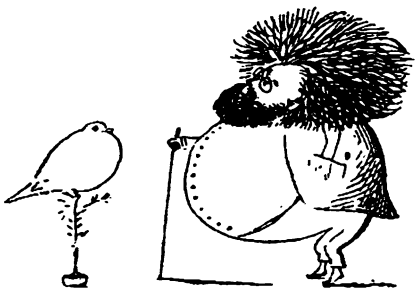
— О сэр, — отвечала она с сильнейшим акцентом, — лихорадка у меня днем и ночью. Господь Всемогущий посылает мне ее, даже когда я не прошу. Смею гордиться, что мало людей так олихоражены, как я.

Я не понял, чему она так лихорадуется, наверное, надо быть кальвинистом, чтобы столь благоговейно воспринимать всякий знак свыше. О шотландская темнота!

На Мальте я брожу взад и вперед по прелестным улицам Валлетты и Сенглеи, наслаждаясь восхитительным теплом и ярко-синим небом. Слежу, как тысячи маленьких суденышек снуют в гавани на закате дня, и поражаюсь деловитости и предприимчивости мальтийцев. Я также пью прекрасное пиво из крохотных оловянных кружечек и могу истинно сказать, что чувствую себя много счастливее, чем был бы в море!

Между прочим, я вижу, сколько ерунды пишут в газетах о художественной экспозиции на Всемирной выставке, и говорю себе: не надо мне ни публичной хвалы, ни хулы, жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на пустые треволнения.

Вот тебе свежий набросок с натуры: так выглядит знаменитый Пийзажист на Мальте — его волосы, не зная удержу, пустились в буйный рост!



Старушка из Эритреи

Корфу, 11 января 1863

О глаза мои, ясные хрусталики, что я вижу! Уж не письмо ли от Высокого Лорда приехало к нам сюда?

Между прочим, к разговору о дурнях: здесь есть один старик, не могу точно сказать, является ли его нынешнее состояние следствием возраста или злоупотребления напитками. Он ярый путешественник, только что с Балеарских островов. Так вот, он проникся столь маниакальною страстью к "Книге нонсенса", что утверждает, будто был лично знаком со Старушкой из Эритреи[1].

Его нахальство доходит до того, что он подробно рассказывает, как выглядит Старушка и каким именно способом она перемахивает через заборы!!!

О несчастный Смертный! Почему ты не уведомил меня, когда состоится твоя свадьба с леди Уолдгрейв, о которой я слышу от посторонних? Утаить от меня и время и место! А ну-ка выкладывай все...

1. Имеется в виду следующий лимерик:
У старушки одной в Эритрее
Был девиз: "Дальше, выше, быстрее!"
Если нужно, на спор
Перепрыгнуть забор
Та старушка могла в Эритрее.

Рад сообщить, что картинки, которые я тут пишу — по 10 и по 12 гиней — всем очень нравятся. Тем не менее наличных монет не хватает и счета растут.

Чепуха продолжает извергаться из меня временами — планирую сделать новую книгу в следующем году. Погода здесь чудесная, и вид на гавань совершенно душераздирающий и умопомрачительный... Но чу! кто-то ко мне стучится.

Закругляюсь.

"Внежное девушкинство"

Анкона, 8 июня 1863

Как видишь, я пока еще в дороге. В Англию надеюсь прибыть в пятницу, а в Лондон в субботу. Так что в воскресенье рассчитываю наконец увидеться с тобой и прекрасной леди Уолдгрейв.

Я страшно устал от морского плавания, и с каждым днем оно дается мне все труднее. Целая неделя ограниченной подвижности приводит к застою крови и хандре. Когда только окончится мое "жизненное плавание"? Устал странствовать, хотя и не решил пока, где я намерен жить — я имею в виду осесть и жить на одном месте.

Чем дальше удаляюсь от Корфу, тем чаще вспоминаю тот восхитительный покой, которым я так долго наслаждался, и приближающийся Лондон с его шумом, грязью и прочими ужасами не вселяет в меня оптимизма.

В четверг я сидел за обедом рядом с капитаном немецкого фрегата. Разговор зашел о женской красоте. Капитан сказал мичману:

— *Я думаю, что английские фрау хранят свое внежное девушкинство лучше, чем другие фрау, даже так далеко, как бабушкинство.*

При этом замечании мичман страшно сконфузился. Я поспешил объяснить:

— Англичанки сохраняют свою юношескую внешность дольше всех других женщин — порой до самой старости.

Бред-уведомление

Корфу, 15 января 1864

Мое бегство из Англии не назовешь поспешным. Все же я выдержал семь месяцев мрака и копоти. Говори после этого, что "климат Англии — лучший в мире"! Так эскимосы верят, что машинное масло — самое лучшее кушанье на свете.

Моя нынешняя жизнь (за исключением того, что я лежу в постели и сморкаюсь) носит самый размеренный характер; увы, когда я уеду отсюда, такой жизни мне уже не видать — ибо сказано: "Нет счастья в мире, кроме покоя". За всю жизнь неустанных трудов я скопил 300 фунтов — по девять фунтов в год; но деньги без труда не достаются, так оно было, когда еще наши отцы не родились...

Два или три месяца неустанного писания перед отъездом из Англии внушили мне отвращение к перу и чернилам, и я решил отныне писать много меньше, чем раньше. *Пожалуйста, прими это как мое бред-упреждение или бред-уведомление.*

P. S. Сегодня днем я пойду в церковь помолиться, чтобы ты не отморозил себе пяток и еще — чтобы Господь сподобил тебя узреть солнышко хотя бы раз или два раза в следующие четыре месяца!

Райские пироги

Портленд-Плейс, Лондон, 16 августа 1869

Моя жизнь здесь проходит удивительно мерзко. Из 28 дней в Англии первые семь ушли на суету, поиски квартиры и планирование будущей работы. Из последующих трех недель двенадцать дней я убил, совершая необходимые визиты, а оставшееся время провел за тяжелейшим трудом писания писем — до ста штук в день, — необходимых для составления подписного листа.

И ни минуты отдыха! Когда же наконец можно будет сложить крылья и предаться тому, о чем нам твердит внутренний голос: "Нет счастья, кроме покоя"? Боюсь, что не в этом мире, и мечтать о том бесполезно — как о рабочей мастерской, днем и ночью освещенной полярным сиянием.

Может быть, в другом *овании* существ мы с тобой и с твоей милой супругой сможем проводить безмятежные часы под лотосовым деревом, поедая клубничное мороженое и пеликаний пирог, погрузив усталые ноги в лазурно-прозрачные струи и наслаждаясь зрелищем снующих вокруг птиц и зверюшек райского леса...

Ну, не потеха ли — в пятьдесят семь лет пребывать в моем положении! Только представь — мои пейзажи Корфу, Флоренции, Петры и так далее перевидали, наверное, тысячи человек, и ни одного заказа! Очевидно, почтеннейшая публика заказывает лишь тем, кого расхваливает пресса, а у той закон простой — все овечки должны прыгать одинаково!

Вправду ли тебя собираются сделать пэром, как твердят газеты?

В приятном ожидании счастливого числа,

Прости мне бормотание занудного Осла!

Жизнь в гнезде

Вилла Эмили, Сан-Ремо, Рождество 1871

Прочитал ли ты мои "Новые нелепицы", которые с восторгом прочитаны всем крещеным миром? Достаточно ли впечатлился?

Мой сад — загляденье и главная моя утеха. В нем водится великое множество мышей и зеленых гусениц. Я подумываю, не поэкспериментировать ли с ними на предмет их гастрономических свойств?

Приеду ли я в Англию на следующий год или нет — сие скрыто в Омгле не из Веснова. Здоровье сносно, но мне в мае стукнуло 60, и я чувствую, что старею.

Подниматься и спускаться по лестнице мне уже не так легко. Я мечтаю жениться на какой-нибудь приличной птице, построить с ней гнездо на одной из моих развесистых олив и поселиться там на всю оставшуюся жизнь, спускаясь на землю лишь в самых экс-дряных случаях.

Это письмо ужасно глупое. Прости!

Большой индийский плюх

Симла, 24 апреля 1874

О Чичестер, мой Карлингфорд!
О славный Фортескью!
Я за тебя ужасно горд!
Я так тебя люблю!

Ты — пэр! Не должен ты отнюдь
В работе тяжкой спину гнуть,
Теперь устроим пир!
Ура! Виктория! Ура! —
Весь твой — сегодня и вчера
И завтра — Эдвард Лир![1]

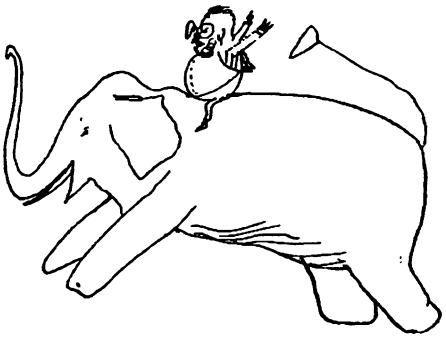
Твое послание пришло вчера вечером пересылкой из Калькутты и чрезвычайно меня порадовало. Жаль, что я не могу сейчас долго писать, но у меня припасен уже надписанный конверт, который я надеюсь заполнить до краев позже.

Надеюсь, что я смогу выдержать это путешествие по палящей жаре и прибыть в Бомбей до 12-го числа, когда закончится мой шишдесят второй год и я въеду в шишдесят третий.

В последний раз я писал тебе из Дарджилинга. С тех пор я проехался вдоль Ганга до Аллахабада, побывал в Агре, Гвалиоре, Бхаратапуре, Матхуре, Вриндаване, останавливался на десять дней в Дели, где сделал Деликатнейшие зарисовки Деликолепной архитектуры, ел местные Деликатесы и предавался без-Делию!

Наконец я сел в Делижанс и отправился в Сахаранпур, оттуда в Дехру и Рурки, проехал по Гангскому каналу до Хардвара, где стал свидетелем большого индуистского праздника, на который в юбилейный год съезжается до трех миллионов пилигримов. (На этот раз их было всего 200 тысяч — тоже неплохо!)

1. В 1874 г. королева Виктория возвела Чичестера Фортескью в звание пэра и пожаловала ему титул лорда Карлингфорда.



Все эти набожные и очень грязные люди строго блюдут обычай Общего Омывания, то есть на рассвете 11 апреля они все вместе и одновременно прыгают в святые воды Ганга – ПЛЮХ!!!

Наконец я приехал сюда, где снял дом со слугами для себя и своего Джорджио. В общем, я чувствую тут себя важной шишкой, и, хотя мне это немного неприятно, что поделаешь! Я не заношусь; в конце концов, ты теперь Пэрл творения, а я всего-навсего презренный Пийзажист!

Искусство стояния вверх тормашками

Вилла Эмили, Сан-Ремо, 14 апреля 1877

Я по-прежнему живу от одного дня до другого. Работаю как вол, ежедневно, за исключением сред, когда ко мне приходят смотреть на мои творения кисти и кое-что время от времени раскупается.

Жаль, что твоя чудесная супруга не может увидеть двух больших картин, о которых мой друг и поклонник таланта сэр Спенсер Робинсон выразился так: "В Англии таких картин с огнем не сыскать". Прочие зрители, кажется, тоже впечатлились; некоторые даже от восторга вставали вверх ногами, и кое-кто – увы! – повредил себе при этом мозги.

Но вот что действительно приятно: ни в один из предыдущих периодов в истории английского костюма дамы не могли так пылко отдаваться порывам восхищения без урона для естественной стыдливости и целомудрия, в то время как сейчас мода позволяет им вставать вверх ногами сколько угодно, без опасения за надлежащий порядок их юбок!

Хорошо, что я не сороконожка

Вилла Теннисон, Сан-Ремо, 23 декабря 1883

Как худо, наверное, быть сороконожкой! Каждое воскресенье утром я благодарю Бога, что не родился сороконожкой, ибо в этот день у меня происходит еженедельная обрезка ногтей и прочие манипуляции с ногами. Если с десятком пальцев на ногах такая морока, что было бы, если бы Творцу пришло в голову сотворить нас сороконогими! Вообрази, пришлось бы стричь ногти на двухстах пальцах!

Далее мои размышления и догадки обратились в сторону царственных особ, принцев, герцогов и разных пэров. Стригут ли они ногти у себя на ногах? Я понимаю, что спрашивать самих высоких особ об этом бессмысленно – их благородное воспитание не допускает даже упоминания о таких низких материях. Но я не оставляю надежды как-нибудь

узнать у тебя — по-прежнему ли ты терпишь эту гадкую обузу или расстался с ней после того, как удостоился звания Лорда?

Что касается моих дел и моего здоровья, тут нечем похвастаться. Вскоре после моего прошлого письма со мной случился скверный припадок или приступ болезни, я упал — к счастью, в саду — и оставался без чувств некоторое время. Приступ с тех пор не повторился, но остается угроза. Я редко выхожу теперь за ворота моей виллы и вполне готов к внезапному отбытию, жалея лишь о том, что не могу, как я надеялся, оставить свои земные дела в должном порядке...

Вареный барометр

Вилла Теннисон, Сан-Ремо, 19 февраля 1886

Я очень огорчился, узнав о твоем нездоровье. Что касается меня, то я сегодня уже не лежу, а сижу в постели. Каждые три часа я принимаю лекарство, и кашель, который тряс меня так, что оторвались палец на левой ноге, два зуба и три бакенбарда, теперь, слава богу, немного утих.

Но я до сих пор очень нехорош и покидаю постель только тогда, когда меня перетаскивают в кресло. Одна отрада, что солнышко ярко светит.

Я по-прежнему сильно скучаю по тебе, но даже не могу пожелать, чтобы ты очутился здесь, потому что, хотя солнце с каждым днем жарче, но ветер очень холодный.

Хассаль, мой врач, мучает меня своими проклятыми термометрами и барометрами. Как будто я без термометра не могу сказать, когда восточный ветер пронизывает меня насквозь — даже в солнечный полдень.

Сегодня днем я, назло ему, заказал себе на обед вареный барометр, а на ужин — два термометра под сладким соусом!

Ничего не скажешь!

Вилла Теннисон, Сан-Ремо, 10 декабря 1886

Однажды в деревне на молитвенном собрании произошел такой диалог.

Первая старуха *(уныло)*. Скажите мне что-нибудь!
Вторая старуха *(так же)*.Что я скажу?
Первая старуха *(так же)*. Как я скажу?

Вторая старуха *(так же)*. Не о чем говорить!
Обе старухи *(вместе)*. Скажите хотя бы это!

Я пишу эту записку, потому что и я ничего не могу тебе сказать, кроме того, что мне не хуже, даже временами как будто лучше, но я по-прежнему беспомощен из-за ревматизма в руке и правой ноге.

"Как мрачен день! — сказал он вяло. — Нога болит опять. Душа устала, так устала. Уж лучше лечь в кровать!"[1]

Голубиные часы

Вилла Теннисон, Сан-Ремо, 18 июня 1887

Я тебя обрадую, мне стало значительно лучше. Сегодня в семь часов утра я вышел гулять по саду, где все цветет, — чудесное зрелище!

У меня есть десяток голубей, которых я держу для развлечения, хотя порой они становятся довольно наглыми и настырными. Голуби и голубки сидят на яйцах попеременно, причем пунктуальность их в этом деле удивительна — они меняются ТОЧНО через каждые два часа.

Мой слуга говорит, что у них, наверное, есть маленькие часики, спрятанные под крылом, и каждый вечер ровно в восемь они их заводят, стоя на одной лапке и держа часы в другой!

Последнее письмо

Вилла Теннисон, Сан-Ремо, 10 декабря 1887

Хочется знать, как дела у тебя. У меня было ухудшение, но сегодня мне уже лучше, чем было три дня назад после того, как я скверно шлепнулся.

Хассаль говорит, что боли у меня в боку от шампанского! Он пока запретил мне пить — как на смех именно сейчас, когда Фрэнк Лашингтон прислал мне 30 бутылок. Нелепое огорчение! Я ведь одинаково не люблю и коньяк и воду...

Читал ли ты заметку о моих стихах в номере "Обозревателя" за 27 октября? Очень мило написано...

Буду ждать от тебя весточки, хотя бы коротенькой.

Искренне твой,

Эдвард Лир.

1. Пародийно переиначенные строки из стихотворения А. Теннисона "Марианна":
"Как день тосклив! — она сказала. —
Он не придет и впредь.
А я устала, так устала,
Уж лучше умереть!"
Перевод М. Виноградовой

Из путевых дневников Эдварда Лира

I

Южная Калабрия (1847)

Крыжовник – это фантазия

Это был очень старый *palazzo* в городе Рочелла, с маленькими комнатками, стоящий на крутом обрыве над морем. Семья приняла нас очень сердечно; мы познакомились с доном Джузеппе, доном Аристидом, с каноником и доном Фернандо, и в течение двух мучительных часов до ужина просидели, любуясь на звезды, внимая совам, перекликавшимся на скалах у нас над головами, и отвечая al solito[1] на вопросы об Ингильтерре, производимых там продуктах и туннеле под Темзой.

Признаюсь, я не раз впадал в крепкий сон и, внезапно просыпаясь, невпопад и весьма туманно отвечал на этот допрос с пристрастием. Чего только я не включил в список природных продуктов Англии – верблюдов, кошениль, морских коньков, золотой песок; а что касается знаменитого туннеля, боюсь, что в своем полудремотном состоянии я украсил его самыми фантастическими подробностями.

Наконец, объявили начало ужина, и к нашей компании присоединились красивая жена дона Фернандо и остальные домочадцы женского пола, – хотя в разговоре они, насколько я помню, заметного участия не принимали. Были поданы исключительно овощи и фрукты. Фрукты являются основной продукцией и гордостью Рочеллы и ее окрестностей. Наше заявление, что в Англии тоже растут фрукты, было встречено с плохо скрытым недоверием.

– Вы же сами признаете, что у вас нет ни вина, ни апельсинов, ни оливок, ни фиг, – развел руками хозяин. – Откуда же у вас могут быть яблоки, груши или сливы? Всем известно, что в Англии не растут и не могут расти никакие фрукты – лишь одна картошка. Зачем вы рассказываете небылицы?

Было ясно, что мы выглядим вралями и самозванцами.

– Но у нас и в самом деле растут фрукты, – кротко твердили мы. – Более того, у нас растут такие фрукты, каких и у вас нет!

Подавленный смех и презрительные ухмылки, встретившие наше утверждение, разбередили в нас патриотическое чувство.

– Какие же такие фрукты у вас могут быть, каких у нас нет? Да вы просто шутите! Назовите же эти фрукты – ваши сказочные фрукты!

– У нас есть Смородина, – сказали мы, – много Смородины. И Крыжовник. А еще Венгерка[2]!

– Что это значит Смородина и Крыжовник? Какая такая Венгерка? – в ярости воскликнули все присутствующие. – Ничего подобного не существует – это вздор и чепуха!

1. Как обычно (*итал.*).
2. Сорт сливы.

В молчании мы доедали свой ужин, почти убежденные, что действительно солгали. Никакой смородины не существует. Крыжовник – это беспочвенная фантазия!

13 августа 1847

Несносный дед из Ветере

В большой столовой собрались много юных Ашутти, а также женщин этого семейства, с лицами довольно топорной выделки. До сих пор у нас не было случая восхититься настоящей калабрийской красотой в высших ее проявлениях, хотя мы и встретили несколько хорошеньких крестьянок.

Женщины за обедом молчали, так что развлекал нас главным образом эрудированный дедушка; он выспренне разглагольствовал, сидя во главе стола, на котором не было ни одного мясного блюда, что обычно для буднего дня в домах Южной Италии.

– Было бы хорошо, – проповедовал почтенный старец, – если бы вообще не было такой вещи, как мясо, если бы никто никогда не ел мясного. Творец не заповедал нам вкушать плоть четвероногих. Добрый христианин не должен есть мясо, а почему? Четвероногие всю жизнь трудятся на нас, убивать и съедать их грешно. Овцы дают нам шерсть, вол пашет, корова дает молоко, коза – сыр.

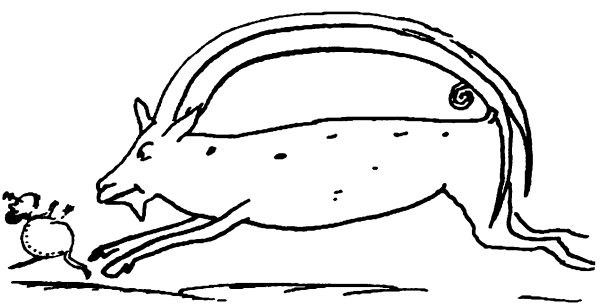
– А зайцы? – прошептал кто-то из внуков.

– Попридержи язык! – прикрикнул на него дед. – А теперь рассмотрим: что дают нам рыбы? Может ли кефаль пахать? Или креветка – давать молоко? Или тунец – шерсть? Нет! Рыбы, а также птицы, сотворены, чтобы мы их ели.

После этих слов воцарилось молчание. Вскоре ужин был доеден, и мы вознамерились попрощаться с семейством Ашутти.

– О боже! Не ослышался ли я? Какой стыд! – воскликнул Nonno[1] в пароксизме благородного гнева. – Что такого я сделал, что вы не хотите остаться? Нет, мне не вынести этого позора! С тех пор как Калабрия зовется Калабрией, ни один калабриец не слыхал подобного оскорбления. Вам нужно ехать? *Почему* вам нужно ехать?

Тщетно мы пытались успокоить разбушевавшегося патриарха. Как! Мы провели три дня в Гераче, три в Реджо, два в Бова и Стило и ни од-



1. Дедушка (*итал.*).

ного дня в Ветере! Отец семейства мрачно молчал, внучата умоляли; но гневный старый джентльмен, настучавшись кулаком по столу и попинав мебель, наконец яростно развернулся и бросился вниз по лестнице, оставив нас в полном замешательстве.

Что за несносный этот дедушка Ашутти!

18 августа 1847

II
Албания
(1848)

Джорджио и вежливый почтмейстер

На Джорджио, моего драгомана, повара, слугу, переводчика и проводника, у меня никогда не было причин жаловаться. Он владеет всевозможными языками, свободно говорит на десяти из них — талант, обычный для многих греков, путешествующих на Востоке, а мой Джорджио родом из Смирны.

Его лицо несколько напоминает те странные лица львов или грифонов, которые можно видеть на дверных молотках и ручках ваз, а форма нижней челюсти говорит о том, что лучше не испытывать долго его терпение.

По утрам Джорджио бывает рассеян и склонен вспоминать разные случаи из прошлого. После полудня его замечания становятся все более отрывистыми и нравоучительными — чтобы не сказать мрачными. Всякий признак нерешительности и колебания выводит его из себя. Необходимо следить за настроением слуги, от которого зависит ваше благополучие, и лучше всего не раздражать его попусту, потому что у хорошего драгомана много дел помимо капризов и беспокойств его нанимателя...

В Греции не принято затягивать утро большим и сложным завтраком, как то бывает у северян. Хорошей чашки кофе с бутербродом, как правило, достаточно. Зато перед отправлением обычно остается несколько свободных минут, чтобы сделать какую-нибудь зарисовку.

Обитатели Енидже так невозмутимы, что трудно понять, о чем они думают. Окраины этого города являют собой сельский и совершенно безмятежный вид, зато внутри намешано много всякой всячины, способной увлечь карандаш художника.

Когда мы с Джорджио на прощание пили кофе с почтмейстером, я неловко наступил на чашечку красивой трубки. Эти чашечки — что притаившиеся змеи для близорукого человека, они обычно находятся на значительном расстоянии от курильщика, живущего на другом конце невероятно длинного чубука.

Хрусть! Чашечка трубки раскололась — но никто не пошевелился. Единственной реакцией было извинение вежливого мусульманина, которое — в переводе Джорджио — звучало так:

— Гибель этой трубки при обычных обстоятельствах действительно могла бы быть огорчительна. Но в друге каждый поступок прекрасен.

Эта речь живо напомнила мне поучение итальянца сыну, покидающему родной дом:

— Если в компании кто-то наступит тебе на ногу и скажет: "Прошу прощения", отвечай так: "Напротив, мне было очень приятно!"

14 сентября 1848

Неистовый дервиш

Ближайшие окрестности Тираны изумительны. Едва выехав из города, вы оказываетесь посреди очаровательных мирных равнин, по которым бегут чистейшие реки.

Все утро я провел, не выпуская из рук карандаша, на Эльбасанской дороге, откуда открывается великолепный вид на Тирану. Вереница крестьян, возвращавшихся домой с базара, дала мне возможность сделать зарисовки их костюмов. Из тех лиц, которые оставались доступны взору — большая их часть была закутана мусульманскими покрывалами, — несколько показались мне симпатичными, но остальные были изможденны трудом и заботами.

Я заметил также дервишей, носящих высокие остроконечные шляпы из фетра и черные хламиды...

Ночью, едва я удалился в свою комнату, похожую на свиной хлев, задул свечу и приготовился заснуть, как вдруг скрежет ключа, поворачивающегося в замке соседней комнаты, привлек мое внимание. Внезапно моя гнусная комната осветилась лучами света, проходившими через громадные дырки в стене у меня над головой. В то же самое время какой-то жужжащий, свистящий звук, сопровождающийся невнятным бормотанием, заполнил мой слух.

Желая понять, что происходит, я осторожно, избегая являться в открытом проломе, приник к маленькой щели в стене, разделявшей наши комнаты. И что же я увидел?

Ну, конечно, одного из тех безумных дервишей, которых я приметил на дороге накануне. Он выполнял один из своих обычных трюков — вращался и кружился на месте, причем делал это в одиночестве, исключительно для своего развлечения. Он кружился сперва на ногах, а потом, наподобие двери на петлях, sur son séant[1], и предавался прочим столь же благочестивым гимнастическим упражнениям.

Притаившись за стеной и немного побаиваясь своего эксцентричного соседа, размахивавшего по комнатке своей палкой с медной ручкой, я ждал, чем же кончится это необыкновенное представление.

Кончилось оно очень просто. Старый шут постепенно, как юла, остановился в своем вращении, достал веточку винограда, съел ее, растянулся на подстилке и уснул!

28 сентября 1848

1. На своем седалище (*франц.*).

В украшенном резьбой и цветными арабесками коридоре, куда привела меня широкая лестница, толпилось множество слуг и домочадцев. Мое рекомендательное письмо было отнесено бею, и я почти сразу получил приглашение войти.

Приемная представляла собой квадратную комнату с тремя окнами, в одном из углов которой на диване располагался Али-бей, правитель Кроя — молодой человек лет восемнадцати, одетый в обычный синий мундир или сюртук, который носят турецкие офицеры и вельможи. Вскоре целый отряд вооруженных слуг в каких-то юбочках по приказанию бея отвел меня в отведенную мне комнату. Юного бея, по-видимому, увлекла возможность оказать гостеприимство неизвестному *франку*.

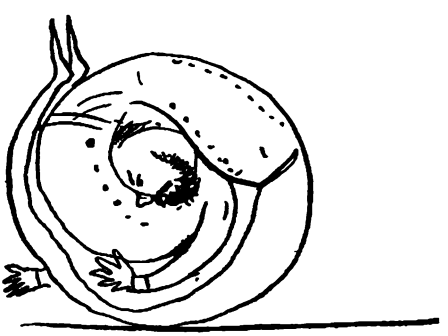
Моя спальня оказалась комнатой в настоящем турецком вкусе: по трем ее сторонам были устроены низкие мягкие ложа; высокий резной деревянный потолок, деревянная ширма с наброшенным сверху полосатым полотенцем, развешенные по стенам ружья, пистолеты и лошадиная сбруя, очаг, шкафчики, многочисленные ниши, окна с зелеными, оранжевыми и синими витражами — все это представлялось почти немыслимой роскошью для столь отдаленного места, как Кроя!

Нелегким делом было освободиться от опеки одетых по полной форме десяти албанских слуг, которые стояли в почтительном внимании, выжидая, и, как только я проявил намерение разуться, они разом бросились ко мне и были так разочарованы моим отказом принять их помощь, что я должен был объяснить им через Джорджио, что мы, франки, не привыкли к ежеминутным услугам и я буду весьма обязан, если они оставят меня в покое.

После того как мы переоделись, бей прислал слугу сказать, что ужин будет подан через час — бей ужинает на закате — и он был бы рад провести это время в моем обществе. Я занял место на софе рядом с маленьким повелителем, тем временем как Джорджио, устроившись на полу, служил переводчиком нашей беседы.

Сперва Али-бей был немногословен, но вскоре, разговорившись, засыпал меня вопросами о Стамбуле и, между прочим, о франках, — разные виды которых он очень смутно различал. Наконец, когда беседа стала увядать, ему пришла охота поговорить о судах без парусов и каретах, которые двигаются без лошадей.

Чтобы доставить ему удовольствие, я нарисовал пароход и железнодорожный вагон. Он спросил, издают ли они шум при движении, на что я ответил наилучшим образом, постаравшись изобразить звуками оба эти изобретения: "Тик-ток, тик-ток, тик-ток, токка, токка, токка, токка-ток!" (крещендо) и: "Плих-плюх, прих-плюх, плих-плюх, бум-бам!" — для паровоза и парохода соответственно.

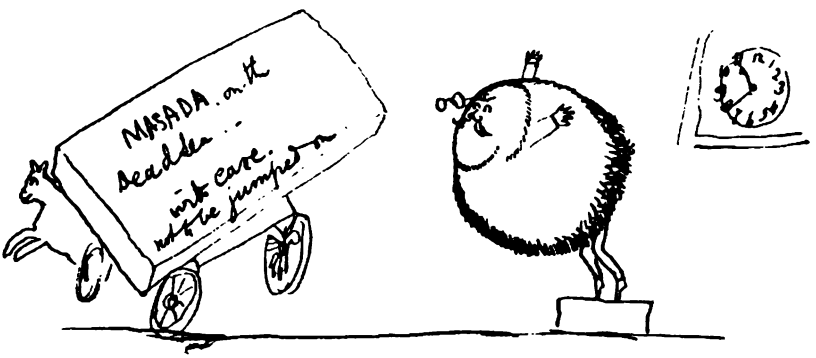


Это безыскусное звукоподражание доставило Али-бею столь огромное удовольствие, что он откинулся на диван и разразился столь неудержимым смехом, какого от турка я еще никогда не слышал. Должно быть, в наказание за мои грехи, я нежданно-негаданно снискал такой успех, что был вынужден повторять мой номер до тех пор, пока окончательно не выбился из сил.

В качестве вознаграждения этот замечательный маленький паша предложил мне посмотреть маленькую немецкую коробочку для письменных принадлежностей с литографией певицы Фанни Эльсер на крышке (цена которой была, вероятно, три шиллинга в базарный день). Это сокровище было внесено личным секретарем под охраной двух вооруженных солдат и, по-видимому, рассматривалась как редкая диковинка.

По окончании нашей высокоинтеллектуальной беседы я удалился в свою комнату и был рад вкусить принесенный нам легкий ужин, перед тем как лечь и отойти ко сну.

29 сентября 1848



Ужасный старик из Авлоны

После того как мы пересекли большой поток, наш путь лежал вдоль череды высоких холмов; местность становилась все более обжитой и веселой, и наконец около часа пополудни мы достигли деревни Паласа. После хорошего утреннего перехода мы остановились на площади или просто поляне возле какой-то захолустной церкви, давно нуждавшейся в ремонте.

Несколько албанцев отдыхали в тени деревьев, и мой проводник Анастасио вскоре оказался окружен несколькими соотечественниками, увлекшими его в свой кружок. По-видимому, они сообщили ему какие-то дурные новости, потому что он изменился в лице и, стиснув руки, что-то воскликнул несколько раз с выражением истинной скорби в голосе.

Причиной этой скорби, как он рассказал, была весть о смерти одной из его родственниц в его деревне Вуно — умерла девушка восемнадцати лет, чья изумительная красота и добронравие сделали ее маленькой королевой деревни. Увы, сказал нам Анастасио, моя деревня никогда уже не будет для меня прежней после этой потери.

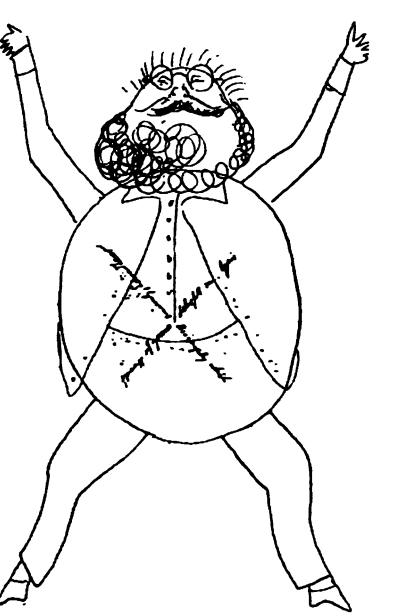
— Я любил ее всем сердцем, и, если бы мы поженились, наша жизнь была бы самой счастливой в мире!

Высказав это, он попросил извинить его за этот порыв печали и, охватив руками голову, уселся неподвижно с видом, выражавшим глубину постигшего его горя.

Тем временем я почувствовал, что отдохнул и настало время двигаться дальше. Едва я это сказал, как Анастасио с быстротой молнии вскочил на ноги и устремился к группе женщин, идущих нам навстречу сквозь рощицу оливковых деревьев. Одна из женщин, кажется, интересовала его больше остальных.

Как я понял, и она, в свою очередь, была взволнована этой встречей. Вскоре они уселись вместе и принялись беседовать с оживленностью, убедившей меня, что эта женщина была если не сестрой, то близкой родственницей или другом этому сраженному несчастьем жителю Вуно.

Наконец наши мулы были нагружены и пришло время продолжать путь, но албанка медлила в нерешительности. Никогда я не видел девушки прекрасней; каждая ее черта была верхом совершенства. Но в выражении ее лица сквозила какая-то печаль, трагическая обреченность. Черные как вороново крыло волосы свободно струились по ее прекрасным плечам и шее, и вся она с головы до ног являла собой олицетворение спокойной и величавой грации. Она была одета в открытый греческий жакет с красными узорами, длинную юбку с множеством складок и алый передник, украшенный вышивкой, — наряд, который ей чрезвычайно шел.



Девушка казалась образцом совершенной красоты; стоя, она почти не сгибалась под тяжестью своей ноши; лицо ее было наполовину в тени от белоснежного платка, небрежно накинутого на кудри. Когда мы покидали Паласу, она куда-то исчезла, но вскоре появилась вновь и сопровождала Анастасио на протяжении целой мили по дороге, ведущей сквозь оливковые рощи. Когда она наконец рассталась с ним и повернула назад, на ее лице было выражение такой горестной печали, которой нельзя было не сочувствовать.

— Ах, синьор, — сказал Анастасио, — эта девушка должна была стать моей женой, но ее выдали замуж за ужасного старика из Авлоны, который ненавидит ее, и она его ненавидит, так что они обречены быть несчастными всю свою жизнь.

— Согро di Bacco[1], Анастасио! — воскликнул я. — Разве ты не рассказывал мне час назад, что должен был жениться на той девушке, которая умерла в Вуно?

1. Клянусь Бахусом (*итал.*).

— Верно, синьор; но ее родители были против свадьбы, так что я перестал и думать о ней. Лишь теперь, когда она умерла, я снова загрустил. Что до Фортины, девушки, которая только что ушла, то лишь ее одну я любил больше всех на свете!

— Почему же ты не женился на *ней?* — спросил я.

— Потому что, потому что... — отвечал расстроенный Анастасио. — Потому что у меня уже есть жена в Вуно, — да, синьор, и ребенок шести лет!

23 октября 1848

III
Корсика (1868)

Человек, проглотивший жандармов

В пять часов утра Петер, мой возничий, лошадь, поклажа, мой большой альбом, одежда и провизия на день — все готово. Вскоре к нам присоединился господин Куэнца, тоже с полной корзинкой еды, и мы отправились в горы. Свернув с большой дороги, наша экспедиция углубилась в лес пробковых деревьев.

Пейзажи вокруг были весьма приятные, умиротворенные. Пробковый лес прекрасен и структурой своих густолиственных крон, и темно-красным цветом стволов, с которых была снята кора. Господин Куэнца рассказал, что ему принадлежат четыре тысячи деревьев в этом лесу, каждое из которых приносит коры на десять су в год.

Достигнув подножья холмов, в этот час еще покрытых туманом, мы стали подниматься вверх по одной из тех второстепенных дорог, которые на Корсике зовутся routes forestièrs[1]. Эта дорога изгибалась и кружила по крутому склону; никакого ограждения или парапета, разумеется, не было, и зрелище колес повозки, катившихся в каком-то дюйме от края пропасти, внушило мне такую тревогу, что я решил облегчить труд мулов и, соскочив с нее, пошел пешком.

Мой спутник, мэр городка, был в самом веселом расположении духа и беспрерывно рассказывал разные истории. В пути мы встретили какого-то диковатого вида человека, пасшего двух или трех коз на склоне горы; он помахал рукой господину Куэнца с высокомерно-покровительственным видом, совершенно не походившим на то покорное уважение, какое, как я заметил, выказывали мэру другие крестьяне.

— Этот бедняга, — заметил господин Куэнца, — вполне безобидный сумасшедший; в настоящий момент его мания состоит в том, что он считает себя королем Сардинии — поэтому он так величав.

Некоторое время назад несчастного преследовала намного худшая идея фикс. Он думал, что по нечаянности проглотил двух жандармов! Единственным средством от этой напасти было ничего не есть — чтобы

1. Лесные дороги (*франц.*).

уморить голодом врагов, сидящих у него внутри. Этого средства он придерживался с такой настойчивостью, что чуть не уморил самого себя.

Но однажды, уже полумертвый от истощения, он вдруг воскликнул: "*Ecco, tutti due son morti di fame!* – Наконец-то! Оба подохли от голода!" – после чего повеселел, снова стал есть и работать как ни в чем не бывало.

24 апреля 1868

Последняя поездка министра

Вскоре после полудня я отправился в Бастелику, лежащую в двадцати километрах от Кауро. Неистовый Петер, который все утро в своем обычном припадке буйства ругал на чем свет стоит и лупил лошадей, к этому времени успокоился. Он сказал мне: "В деревнях меня часто спрашивают, кого я везу, и я всегда отвечаю, что вы *Ministro delle Finanze* – министр финансов.

– Но почему ты говоришь такую немыслимую вещь?

– Ну, отчасти потому, что вы носите очки и вид у вас очень умный, – отвечал он, – ну, и потом, нужно же что-то отвечать!

Министр финансов представлялся мрачному Петеру высоким идеалом земного величия. Он часто рассказывал, как вез знаменитого господина Аббатуччи, покойного министра финансов, в его сельскую усадьбу в Зикаво.

Однажды, когда мне нужно было поподробней разузнать о дороге в те места, я спросил:

– А каким путем ехал господин Аббатучии – мимо Санта-Мария-Дзики или через деревню Биккизано?

– Он ехал через Гроссето мимо Санта-Мария, – последовал ответ.

– Путь из Аяччо в Зикаво долгий, – заметил я. – Где останавливался министр? В Гроссето или в какой-нибудь другой гостинице?

– Нигде, – ответил Петер. – *Non si fermò punto, andava a giorno e notte* – он не останавливался, ехал и днем и ночью. *Era mortissimo, ce Ministro delle Finanze, e non era che sue cenere chi si portava a Zicavo* – Он был мертвее мертвого, этот министр финансов, я вез только его прах из Аяччо в Зикаво.

3 мая 1868

Дмитрий Веденяпин
Еврейский-писатель-Зингер

Еще недавно имя "Зингер" не ассоциировалось у нас в России ни с чем, кроме швейной машинки. Сегодня практически все небезразличные к литературе люди по крайней мере слышали о Зингере-писателе. А многие не только слышали, но и читали. В русских переводах отдельными изданиями вышло уже несколько сборников рассказов Зингера, несколько романов и книга воспоминаний. Сначала в Израиле, а потом и в России.

Польский еврей Исаак Зингер всю свою жизнь писал на идише (неудачная попытка перейти на иврит в совсем юном возрасте, можно сказать, не в счет), хотя пятьдесят шесть лет из своих восьмидесяти семи провел в США. Помимо иврита и выученного уже в Америке английского он знал еще польский и немецкий. Свою верность "местечковому" идишу сам Зингер впоследствии полушутя-полусерьезно объяснял тремя причинами. Первая и основная: идиш — его родной язык, единственный язык, где он чувствует себя дома. Вторая: забота о ближнем — ведь когда евреи, поднявшись из могил, явятся на небо, они, конечно, сразу же спросят, нет ли чего-нибудь новенького почитать? Третья: будучи призрачным, а может быть, и умирающим языком, идиш идеально подходит для изображения дорогих его сердцу дибуков и призраков — "чем мертвее язык, тем живее призраки".

Справедливости ради надо заметить, что с середины 50-х, когда после внезапного громкого успеха рассказа "Дурачок Гимпл", напечатанного в журнале "Партизан ревью" в английском переводе Сола Беллоу, книги Зингера начали охотно переводить на английский, он, понимая, что "большой мир" будет знакомиться с ним именно по английским версиям, тщательнейшим образом выверял каждое предложение, каждое слово, работая над текстом вместе с переводчиком. "Английский — мой второй оригинал", — говорил он, благословляя всех будущих переводчиков своих книг с английского. Хорошая литература в принципе должна выдерживать перевод, считал Зингер. Пусть даже при переводе теряется 40 %, это значит лишь то, что автор должен написать на 140 %. "Лучший друг писателя — его мусорная корзина" и "Надо все так отполировать, чтоб блестело" были, по свидетельству секретарши и помощницы Зингера Деборы Телушкин (кстати сказать, жены автора известной в России книги "Еврейский мир" раби Йосефа Телушкина), его постоянными писательскими приговорками.

"Амбицией" Зингера было писать на мировом уровне. Величайшая несправедливость по отношению к его реальным писательским достижениям — пустить его книги "по ведомству" этнолитературы. Он меньше всего мастеровитый рисовальщик "сцен из еврейской жизни". Большинство его персонажей — евреи потому же, почему большинство героев Достоевского — русские, а большинство героев Диккенса — англичане. Он писал о тех, кого лучше знал. Вероятно, после Холокоста к этому прибавилось еще что-то вроде метафизического чувства долга: попытка сохранить-удержать в буквах

© Дмитрий Веденяпин, 2009

то, чего больше нет на Земле. Но, главное, Зингеру хотелось, чтобы его герои, жители польских местечек и американские (аргентинские и прочие) иммигранты, стали такими же полноправными литературными персонажами, как, повторю, русские Достоевского или англичане Диккенса. Его совершенно не устраивало, что в течение многих веков евреи в литературе являли собой нечто вроде аллегорических фигур комедии дель арте, появляясь на страницах книг либо в роли злобных кровососов-процентщиков, шейлоков, наживавшихся на чужих страданиях, либо в роли несчастных жертв антиеврейских гонений. Фактически Зингер в своей прозе стремился сделать то же, что — по точному замечанию Ходасевича — ивритский поэт Бялик хотел сделать в поэзии: вывести "еврейскую музу" из ее "тематического гетто, в котором она была обречена однообразию и провинциальности". Зингеру было вовсе неинтересно без конца талдычить о еврействе. Своей прозой, точнее сказать, благодаря своей прозе, он надеялся хоть немного приблизиться к пониманию того, что такое вера, ненависть, предательство и т. д., иначе говоря, к тому, что волнует всякого человека не потому, что он еврей, а просто потому, что он человек. Разговоров о том, что еврея по-настоящему способен понять только еврей, Зингер не любил. Разумеется, соглашался он, какие-то вещи люди одной крови и одной исторической судьбы чувствуют лучше инородцев, но совершенно то же можно сказать не только о евреях, но и о китайцах или о тех же англичанах. Зингер настаивал, что пишет отнюдь не для одних евреев, а для всех — совершенно независимо от их национальности, языка и вероисповедания. Если писателю есть что сказать, его будут читать во всем мире, утверждал он, приводя в пример Шекспира, Чехова и Достоевского.

Подобно Мандельштаму, Зингер *тосковал по мировой культуре*. Его бегство из родительского дома — в определенном смысле еще более радикальный и психологически травматичный шаг, чем бегство из еврейского "утробного мира" и наследование русско-европейской традиции выпускника Тенишевского училища Мандельштама. Жить как раввин-отец, то есть исключительно еврейством и внутри еврейства, каждое свое действие сообразуя с религиозными установлениями, Зингер уже не мог; жить так, словно этих установлений вовсе не существует — тоже. Он не мог быть ни "соблюдающим" евреем, ни "ассимилированным". Он чувствовал-знал, что Бог есть, но уже не верил, что все до единого ограничения даны евреям на горе Синай. Еще меньше он верил в коммунизм, троцкизм и прочие популярные тогда в определенных еврейских кругах левые движения. Точнее сказать, совсем не верил. Не в последнюю очередь именно его неприятие коммунизма и трезвое понимание того, что происходит в Советском Союзе, привело Зингера к разрыву с первой женой Руней (Рахелью), в отличие от него принимавшей самое деятельное участие в подпольной коммунистической борьбе в Польше. В 1932 году ее даже на два месяца посадили за это в тюрьму.

Российскому читателю, наверное, будет небезынтересно узнать, что в 1936 году, уже после отъезда Зингера в Америку, его первая жена вместе с пятилетним Израилем Замиром (единственным сыном писателя) отправилась в Советский Союз. В своей книге об отце Израиль Замир вспоминает, как они с матерью в 1936 году присутствовали на похоронах Максима Горького на Красной площади. Когда показался Сталин, маленький Израиль, до того видевший Сталина только на портретах и плакатах, звонким голосом прокричал: "Мама, смотри, а Сталин-то совсем маленький!" Невольно получилось что-то вроде андерсеновского "А король-то голый!" На него зашикали, кто-то больно его ущипнул, а его матери посоветовали поскорее увести ребенка от греха

подальше. В тот день все обошлось, но летом 1937-го явившийся к ним на квартиру энкавэдэшник вручил Руне бумагу, предписывающую в двадцать четыре часа покинуть СССР. Они бежали в Стамбул, а оттуда, полгода спустя, — в Палестину. Им повезло. Все могло сложиться гораздо грустнее.

Самую первую попытку стать писателем Исаак предпринимает в двенадцать лет, очарованный случайно попавшимся ему в руки сборником рассказов Конан Дойла о Шерлоке Холмсе в идишском переводе. Примерно через полчаса — убедившись, что ничего не выходит, — он откладывает ручку в сторону. Но через четыре года возобновляет свои попытки. На этот раз он пробует писать на иврите. И опять ничего не получается. Иврит в начале XX века был совсем не такой, как сегодня. Начинающему прозаику приходится постоянно лазить в словарь, причем в большинстве случаев только для того, чтобы выяснить, что нужного слова там просто нет. Например, в рассказе необходимо упомянуть солонку с дырочками, а выясняется, что в библейские времена не было солонок с дырочками — ну не было, и все тут! Промучившись несколько лет, Зингер снова — и уже навсегда — переходит на родной идиш.

В девятнадцать лет, похоронив последние надежды отца сделать из него раввина, он устраивается работать корректором в журнале "Литерарише блетер", выходящем под редакцией его старшего брата Израиля Иешуа, который сбился с пути истинного еще раньше него самого. Помимо корректорства, Зингер пишет и публикует в "Литерарише блетер" обзоры книжных новинок, а позднее и собственные рассказы. Об отношении отца к деятельности его непутевых детей можно судить по следующей истории, которую Зингер неоднократно рассказывал в интервью. Когда отца спрашивали, чем занимаются сыновья, он, не имея моральных сил признаться, что они "стали писателями", отвечал: "Продают газеты". В его глазах это было все-таки значительно более почтенным делом, нежели писательство, и постепенно он сам в это поверил. Встречаясь с Исааком, отец всегда интересовался, как идет торговля. "Ничего себе, — успокаивал его Зингер, — на хлеб хватает".

Даже получив Нобелевскую премию по литературе, Зингер не обольщался на родительский счет — он знал, что ни мать, ни отец, будь они живы, не одобрили бы его занятий. В отличие от них Израиль Иешуа, наоборот, всячески поощрял литературные интересы брата.

Уже тогда, в период редакторства в "Литерарише блетер", Израиль Иешуа был довольно известным идишским писателем, а впоследствии — особенно после выхода романа "Братья Ашкенази" — и по-настоящему знаменитым. Русского перевода "Братьев Ашкенази", к сожалению, нет, у нас этот роман практически неизвестен, поэтому сообщаю, как говорится, "для сведения", что в свое время критики называли эту книгу выдающимся явлением литературы, а ее автора ставили в один ряд с величайшими писателями XIX–XX веков. Многие полагали, что, если бы не ранняя смерть, Израиль Иешуа сумел бы достичь еще больших писательских высот, чем его прославленный младший брат. В дни нобелевских торжеств сам Исаак Башевис тоже неоднократно говорил, что, проживи брат подольше, премия наверняка досталась бы ему. Часто такие высказывания недорого стоят, но, похоже, в данном случае Зингер и вправду так думал. В Нобелевской речи помимо знаменитого еврейского мистика и духовного писателя раби Нахмана из Брацлава он упоминает всего двух идишских авторов: своего современника и близкого друга поэта Аарона Цейтлина (увы, тоже почти никому не известного в России) и старшего брата, Израиля Иешуа, которого прямо называет своим учителем. Подчеркнем — единственным учителем внутри собственно идишской литературы.

Даже беглого "полудетского" знакомства с европейской литературой было достаточно для Зингера, чтобы убедиться, что она интереснее идишской – не религиозной (ее он чрезвычайно ценил), а так называемой светской. Ни Менделе Мойхер Сфорим, ни Шолом-Алейхем, ни Перец, ни другие еврейские писатели, по его словам, не оказали на него сколько-нибудь значимого влияния. Впрочем, Зингер в принципе скептически относился к литературоведческим рассуждениям о "влияниях", "предшественниках" и "последователях", недвусмысленно давая понять, что настоящий писатель – всегда сам по себе. Если и можно о чем-то говорить, утверждал он, так это не о каких-то сомнительных "влияниях", а о наиболее ярких *впечатлениях*.

Всем, кто так или иначе связан с русской литературой, наверное, приятно будет узнать, что первыми в ряду наиболее чтимых им авторов Исаак Башевис неизменно называл три фамилии: Достоевского, Толстого и Гоголя. Он очень высоко ставил и Чехова, главным образом как мастера короткого рассказа. По свидетельству Зингера, не кто иной, как Чехов, да еще, может быть, Ги де Мопассан, привили ему любовь к самому жанру рассказа. (Замечу в скобках, что именно в этом жанре Зингер, по-моему, и добился наиболее впечатляющих писательских результатов.) Что касается Достоевского, то, как рассказывает Зингер, роман "Преступление и наказание", который он прочитал на идише в ранней юности ("Преступление и наказание" на идише – сегодня само это словосочетание кажется чем-то фантастическим, не так ли? – Д. В.), впервые показал ему, что такое волшебство в литературе. Его совершенно заворожила сцена разговора Раскольникова с Порфирием Петровичем, когда Раскольников встает – вроде бы для того, чтобы уйти, – а потом снова садится. В этом коротком эпизоде, вернее в том, как он написан, было что-то чудесное, вспоминал Зингер.

Еще из русских писателей Зингер выделял Пушкина (что, между прочим, очень нехарактерно для иностранца) и Тургенева.

Из западноевропейских и американских авторов Зингер с большим уважением отзывался о Кнуте Гамсуне, Стриндберге, Флобере, Гюго, Эдгаре По (и как о поэте, и как о прозаике), любил Мицкевича (его "Пана Тадеуша" считал гениальным), Байрона, Бодлера, Верлена, Томаса Харди.

Хотя все свои главные книги Зингер написал уже в Америке, ясно, что определяющим для него как для художника (и человека), был опыт жизни в Польше. Прежде всего, конечно, родительский дом, где, как заметил Зингер в Нобелевской речи, "вечные вопросы были более актуальны, чем последние новости в газетах". Раввин-отец, который не просто изучал священные книги и читал положенные молитвы, а "дышал религией, питался религией, умывался религией", и мать – умная, скептичная, не такая восторженная, как отец, но тоже скрупулезно соблюдавшая все самые мельчайшие религиозные установления. Затем – сама атмосфера *штетла* (еврейского местечка), где косность, скука, грязь и невежество (Зингер никогда не идеализировал и не романтизировал местечко) соседствовали с духовной чистотой, мудростью, а порой и настоящей святостью. И, наконец, Варшава 10–20-х годов, где, в отличие от "неподвижного" местечка, все, наоборот, бурлило и кипело. Вспоминая те годы и порожденную ими сумятицу в еврейских головах, Зингер любил рассказывать такой анекдот: "Человек возвращается из Варшавы и сообщает другу: 'Я видел еврея, ночи напролет корпевшего над Талмудом. Я видел еврея, размахивавшего красным коммунистическим флагом. Я видел еврея, раздававшего приглашения в театр на свою новую пьесу о Спинозе'. – 'Ну и что же тут такого? – недоумевает приятель. – В Варшаве много разных евреев'. – 'Нет, ты не понял. Это был один и тот же еврей'".

Глубокая *детская* вера (в какой-то момент Зингер прямо скажет *праведность*) отца и таких, как отец, которые, по выражению писателя, были "хасидами 24 часа в сутки", *удаление от грехов*, неучастие в *некошерных* заботах века — с одной стороны, и бесконечные сомнения, земная любовь-ненависть, разнообразные страсти-искушения новой огромной запутанной *взрослой* жизни — с другой, так и остались для него несоединимыми, каждый по своему притягательными и в то же время недостаточными мирами.

Особую роль в этой *новой взрослой* жизни играют у Зингера женщины. В его книгах три главных женских архетипа: преданная жена, страстная любовница и невинная девушка. Как правило, герой — почти как в анекдоте про Варшаву — связан со всеми тремя одновременно. В коротких рассказах мужеженские отношения складываются порой еще более непредсказуемо. Например, герой может жить (в обоих смыслах слова) с двумя родными сестрами; а благородная дама средних лет — умолять о любовной связи юного сотрудника ее мужа. Эротика занимает очень важное место в творчестве Зингера. То, *как* Зингер разрабатывает *неудобные* темы, вызвало восторженный отклик такого "классика жанра", как Генри Миллер, и многочисленные отповеди всевозможных блюстителей нравственности. От смехотворных (еще в самом начале своей литературной карьеры Зингер получил письмо от возмущенного читателя. "Как вы смеете такое писать? — негодовал тот, — у нас же растут дочери". Вся непристойность при этом сводилась к одной-единственной фразе: "И она сделала то, о чем он ее попросил") до вполне серьезных и обоснованных. Объясняет свое писательское пристрастие к эротическим сюжетам Зингер очень просто: по его мнению, ничто так не раскрывает характер и не выявляет самой сути человека, как любовь и секс. Если человек не слепой и не глухой, глаза и уши редко ему отказывают, рассуждает Зингер. Глаз не перестает функционировать, даже если ему не нравится то, что он видит. А пенис перестает. Сексуальные органы выражают человеческую личность лучше, чем любые другие части тела. Они не дипломаты. Они всегда говорят правду. А ведь именно это и интересно писателю. Такова вкратце зингеровская аргументация.

Чтобы начать писать, Зингеру, по его словам, требовалось три условия: первое — у него должна быть история, которую ему хочется рассказать; второе — ему должно *очень* хотеться ее рассказать; третье — у него должна быть уверенность, пусть иллюзорная, что лучше него эту историю не сможет рассказать никто на свете.

Зингер был сторонником внятности в литературе и, несмотря на всю исключительность, а часто и самую настоящую фантасмагоричность описываемых событий, предпочитал в своих романах и рассказах оставаться в пределах узнаваемой земной реальности. Кафка — гениальный мастер, но одного Кафки вполне достаточно, считал он, — не может и не должно быть сто писателей, работающих в подобной манере. Нельзя заставлять читателя постоянно находиться в "искаженном" мире. Не слишком ценил Зингер и "стилистические пируэты" Набокова. Сам будучи неутомимым "перфекционистом", он тем не менее не считал язык как таковой главным героем своих книг.

На своих писательских "мастер-классах" он настойчиво напоминал ученикам "простые вещи". Например, что у каждого рассказа должны быть начало, середина и концовка и что не следует ничего растолковывать и объяснять. Не анализируйте, взывал он, не психологизируйте! Писатель — не учитель и не моралист (кому нужно наше морализаторство, когда есть Десять заповедей?!), а рассказчик историй! Современные авторы слишком озабочены демонстрацией собственной глубины, значительности и стилистического совершенства, настолько, что

читатели уже не могут получать удовольствие от их книг. Настоящий писатель должен уметь дарить радость, развлекать, настаивал Зингер, если не всех, то по крайней мере *лучших* читателей своего времени. В искусстве скучная правда перестает быть правдой!

Отказ от прямых поучений, однако, вовсе не означает, что художник должен непременно превратиться в релятивиста и рассматривать мир так, словно его вообще нельзя судить. Претензия писателя на холодный объективизм, попытка встать по ту сторону добра и зла делает его книги надуманными и "плоскими". Стоит художнику перестать мучиться "вечными вопросами" – для чего мы рождаемся? почему существует страдание? почему мы умираем? etc. – и он кончается как художник, полагал Зингер.

Почти всю жизнь Исаак Башевис писал не только для взрослых, но и для детей, и однажды в десяти пунктах изложил причины, по которым он это делает. В сущности, это – портрет его идеального читателя:

1) дети читают книги, а не рецензии. Им наплевать на критиков;

2) они читают не для того, чтобы решить проблему самоидентификации;

3) и не для того, чтобы избавиться от ощущения отчужденности, чувства вины или подавить в себе стремление к бунту;

4) им дела нет до психологии;

5) и до социологии;

6) они не пытаются понять "Поминки по Финнегану";

7) они по-прежнему верят в Бога, семью, ангелов, чертей, ведьм, логику, знаки препинания и прочие старомодные вещи;

8) им нравятся интересные истории, а не комментарии и примечания;

9) если книга скучна, они зевают не стесняясь;

10) они не надеются, что их любимый писатель спасет человечество. Несмотря на молодость, они понимают, что ему это не по силам. Подобные "детские" иллюзии бывают только у взрослых.

Сам Исаак Башевис – надо отдать ему должное – жил без лишних иллюзий, называя себя "веселым пессимистом". По представлениям каббалистов Бог сотворил множество миров, и наш мир не только не лучший, а, наоборот, самый мрачный и печальный из всех. У Зингера, как, наверное, и у всякого, было в жизни немало поводов ощутить на себе справедливость этой каббалистической точки зрения. Достаточно сказать, что, когда он приехал в США, ему, как говорится, без обиняков сообщили, что связывать свою профессиональную деятельность с идишем – все равно что строить дом в кратере действующего вулкана. Ходил анекдот про редактора некой идишской газеты, который, увидев в окно похороны, немедленно распорядился издавать на один экземпляр меньше. Происходившее в Европе вообще не укладывалось в сознании. Зингер пережил глубочайший кризис. За семь лет (с 1935-го по 1942-й) он не написал ни одного рассказа. Состояние отчаяния вообще, по его словам, было одним из самых привычных для него состояний. За всю жизнь – в том числе и в относительно благополучной и материально обеспеченной старости – он так и не научился чувствовать себя в безопасности даже в принявшей и признавшей его Америке, вполне допуская, что придется бежать и оттуда.

Ко всякой социально-общественной деятельности, включая сионизм, Зингер относился с большой настороженностью. Когда у него просили совета, он, по свидетельству Деборы Телушкин, обычно всем советовал одно и то же: "Ничего не предпринимайте". Так же, по его мнению, следовало поступать не только отдельным людям, но и целым странам. Дебора Телушкин вспоминает, как однажды Зингер разразился гневной тирадой: "Есть что-то уродливое в нашем народе! Что-то, что рождает ненависть! Евреям нужно успокоиться хотя бы на две недели! Но я знаю,

что их не хватит и на два дня, два часа, две минуты!"

Несмотря на надежду (о которой я упоминал в начале своих заметок), что читатели его книг будут, *во-первых*, искать вместе с автором смысл жизни, следить за сюжетом и сопереживать персонажам, и только *во-вторых*, вспоминать, что эти персонажи — евреи, Исаак Башевис почти не сомневался в обратном: *во-первых*, все будут отмечать, что его персонажи — евреи, и лишь потом — задумываться об остальном. Как пошутил Зингер, вернувшись из Стокгольма: "Вчера обо мне говорили 'еврейский писатель', сегодня я 'лауреат Нобелевской премии', завтра опять скажут 'еврейский писатель'".

Наверное, так оно и есть. Для многих (и евреев, и неевреев) он и сегодня по-прежнему "еврейский писатель". Но для некоторых — и думаю, что число таких людей будет расти, — он уже не "еврейский писатель Зингер" и даже не "писатель Зингер", а просто *Зингер*. Ведь не говорим же мы "писатель Бальзак" или "писатель Фолкнер", а *Бальзак, Фолкнер* — потому что все и так понимают, о ком и о чем речь.

У книг Зингера есть особая притягательность, обаяние, которое так же трудно объяснить, как обаяние чьих-нибудь глаз или тембра голоса. Чем хороши эти глаза? Необычным разрезом? Нет, вроде бы дело не в этом. Тем, что они невероятно лучистые? Или бездонные? Нет, и этого о них не скажешь. Самый точный ответ: тем, что они *такие*. Какие *такие*? Ну вот *такие*! Примерно то же и с Зингером. Метафоры? Их у него совсем немного. Сюжеты? Бывают и позакрученней. Мысли? Да, но и они явно не главное. А что же главное? Понятно, что для каждого читателя это *главное* — свое. Для меня это прежде всего — удивительная *уютность, райскость* Зингера, — парадоксальная, потому что происходящее в его рассказах часто совсем не радостно. Видимо, о схожем чувстве, только по отношению к миропорядку в целом говорит один из зингеровских *чудаковатых* цадиков: "Поскольку ад тоже творение Всемогущего, наверное, и он — рай, просто замаскированный". Затем — не могу подобрать менее пафосного слова — мудрость Зингера, в которой *просвечивают* три "мудрости": первая — его личная, вторая — родовая мудрость и нежность "языка, не имеющего поддержки ни одного правительства в мире", языка, "в котором нет слов для обозначения военной амуниции и военных маневров", и третья — мудрость народа, знающего, что, сколько ни "рыпайся", все равно лучше Экклесиаста ничего не придумаешь, и все-таки "рыпающегося", в результате чего получается и смешно, и грустно. И, наконец — редкая независимость писателя от всяческих "направлений" с их жесткими требованиями и ограничениями, завидная способность быть самим собой.

Зингер абсолютно не пытается *угнаться за модой*. Он слишком хорошо понимает: то, что модно сегодня, через каких-нибудь пять-десять лет будет уже немодно, и делает в литературе то, что считает правильным и уместным, без оглядки на чьи-либо диктаты — критиков, коллег-художников и любые другие. Книги Зингера не новомодны и не старомодны, они вне моды. Многие рассказы написаны от первого лица, а поскольку рассказчики симпатичные — каждый со своим голосом, — а истории интересные, их не надоедает слушать.

Великие книги на удивление разные. "Записки о Шерлоке Холмсе" совсем не похожи на "Дон Кихота", "Братьев Карамазовых" или "Мертвые души". Их объединяет одно: все они благодаря каким-то своим принципиально необъяснимым свойствам и качествам стали островами в море написанного (причем часто умно, талантливо написанного, но почему-то все равно ненужного). Стали отдельными, особенными. Проще говоря, их хочется читать и перечитывать. По-моему, книги Зингера из их числа.

Борис Хлебников
Подарок Айтматова

...и пел в садах все тот же одинокий соловей.

Чингиз Айтматов *Прощай, Гульсары!*

Существуют разные гипотезы относительно того, почему именно немецкоязычная читательская публика оказалась у Айтматова столь многочисленной и столь преданной ему. Говорят, например, что повальное увлечение экологией особенно сильно — и раньше, чем в других странах, — захлестнуло Германию, Швейцарию и Австрию, а отсюда, мол, повышенный интерес к творчеству Айтматова, к его пониманию природы и натурфилософии. Возможно, так оно и есть. К тому же симпатии писателя и его публики в немецкоязычных странах изначально были взаимны.

В ноябре 1985 года Айтматов совершил свое первое большое турне по Западной Германии. Оно началось в Мюнхене. Следующей остановкой послужил Нюрнберг, где я присоединился к айтматовскому каравану — Чингиз Торекулович путешествовал с женой и двумя младшими детьми. Мы только что познакомились, разговор у нас завязался в доме-музее Дюрера. Мы ходили по комнатам, я переводил кое-какие пояснительные надписи. На мое удивление, Айтматов в свою очередь принялся растолковывать мне назначение старинных вещей, объяснять замечательное устройство домашнего хозяйства, удобную механику немецкой кухни, какой она была полтысячелетия тому назад, хотя прежде не видывал чужой утвари, большого очага, всяческих приспособлений. Меня поразил зоркий интерес к деталям повседневного быта, удивительная способность оживлять их, для чего наряду с вполне практическим складом ума необходимо и незаурядное воображение.

Вечерняя встреча с читателями прошла успешно. Битком набитый зал. Чуткое внимание. Подобная картина повторялась затем по всей Германии, в Штутгарте и Кёльне, в Бремене и Гамбурге. Обычных сидячих мест нигде не хватало, народ выстраивался рядами у стен, многие усаживались прямо на пол в проходах и у сцены. А за пределами зала толпились страждущие, которым не досталось билетов. Позднее возникали бесконечные очереди желающих получить автограф. Всего устроители той поездки насчитали более восьми тысяч слушателей. Цифра по тем временам неимоверная. А ведь подобный наплыв публики не был результатом широкомасштабной рекламной кампании. Маститые критики ведущих западногерманских газет только начинали присматриваться к незнакомому киргизскому писателю, отстав от многочисленных простых читателей, которые пропагандировали Айтматова, что называется, "из уст в уста".

Происходили в ходе той первой поездки и личные встречи, завязывались знакомства, появлялись но-

© Борис Хлебников, 2009

вые друзья, сыгравшие в жизни Айтматова огромную роль. Я имею в виду прежде всего его немецкого переводчика Фридриха Хитцера и швейцарского издателя Люсьена Лейтесса. Довелось мне стать и свидетелем того, как удивительно складывались дружеские отношения между Айтматовым и франкфуртским скульптором и графиком Харро Эрхартом. Удивительно, ибо почти безмолвно, поскольку один из них говорил лишь по-киргизски и по-русски, а другой владел только немецким и английским.

А ведь при этом Айтматов был большим охотником до разговоров, любил, чтобы во время неспешных прогулок, долгих переездов или перелетов рядом был собеседник. Замечательный рассказчик, он предпочитал расспрашивать, внимательно слушал, однако его внимание адресовалось не только собеседнику. Обладая острой наблюдательностью, он примечал все, что творится вокруг. Осматривая вместе с ним чужие города, я никогда не пытался запомнить дорогу, не заглядывал в карту — с таким спутником, как Айтматов, в этом не было нужды. С врожденной уверенностью кочевника он свободно ориентировался на любой местности, а мы путешествовали вместе и по усыпанному весенними маками бесконечному Мойынкуму, и по пустынному тянь-шаньскому высокогорью.

Да, Айтматов был не по-городскому наблюдателен, зорок, но вдобавок, как говорили в старину, сообщителен. Ему непременно хотелось поделиться увиденным. Вот типичный эпизод из одной совместной поездки по Германии. Дело было в начале мая. Мы спешили на встречу с читателями в вюртембергском Хайльбронне. Где-то у светофора машина притормозила на несколько секунд, не более, и тут же тронулась дальше к отелю. Вечер с молодежной аудиторией удался на славу. Позже устроители пригласили нас на ужин в гостиничном ресторане. К полуночи Айтматов откланялся. Дескать, молодежь пусть еще повеселится, а ему пора спать. Застолье продолжалось. Однако через некоторое время Чингиз Торекулович вернулся, попросил меня выйти. Я решил, что ему нужна какая-то помощь, но он повел меня в соседний парк — мол, там сейчас будет петь особенный соловей. Оказывается, когда мы притормозили у светофора, соловей подал голос, и Айтматов приметил это место. Ночь прохладная, светлая. Каштаны с белыми свечками. И вдруг действительно запел соловей. Хайльброннский мейстерзингер.

Мы постояли, послушали. Айтматов, судя по всему, знал толк в соловьином пении и был очень доволен, что продемонстрировал мне эдакую диковинку. Он ушел спать, а я вернулся к застолью, чтобы успокоить гостеприимных хозяев: ничего особенного, все в порядке. Но, видимо, выражение моего лица было немного ошеломленным, поэтому присутствующие стали расспрашивать. Я рассказал про соловья. И тут меня подняли на смех. Сказки Шехерезады! Да в этих краях соловьи давно повывелись. В Хайльбронне их уже сто лет никто не слышал. Однако наш друг Харро Эрхарт почувствовал, что я ничего не выдумал, и захотел сам послушать соловья. Остальные на всякий случай присоединились. Я повел всех в парк, где продолжался "мейстерзанг". Молодежь впала в такое изумление, что не могла сдвинуться с места до самого утра.

Die deutsche Nachtigall — легендарный немецкий соловей. Подарок Айтматова хайльброннским читателям.

Петр Вайль
В *начале: Джотто*

Пожалуй, во всей мировой истории искусств не найти столь безупречной репутации. Джотто восхищались современники, у него учились и заимствовали потомки, его могли возносить чуть выше или чуть ниже, но отношение к нему по-настоящему не пересматривалось.

Случай действительно беспрецедентный. Ни с одним признанным гением не обходились так почтительно на протяжении времени. Леонардо ставили и ставят в упрек незавершенность работ и замыслов, сделавшуюся его фирменным знаком, почти диагнозом. Микеланджело упрекали и упрекают (совершенно справедливо) в излишней скульптурности живописи, доходящей до топорной грубости. Рафаэль многим казался и кажется приглаженным, едва ли не слащавым. Это только имена первого ряда. Джотто же остается той незыблемой монументальной печкой, от которой ведутся танцы всего западного изобразительного искусства.

Больше того, он уникален и для всей истории культуры. В архитектуре, искусстве по определению функциональном, вкусы пересматриваются чаще, чем в чем бы то ни было, и, скажем, достижения греков вызывают, разумеется, восторг, но подражали им в XX веке только строители парламентов и колхозных домов культуры. Открытие африканской и полинезийской скульптуры навсегда нарушило гегемонию античных образцов в ваянии. Ритмы и катаклизмы времени назначают в каждую эпоху своих главных представителей в музыке. Нет авторитета, подобного джоттовскому, в литературе: это еще более понятно, потому что словесность существует лишь на родном для читателя языке, и как русскому проверить истинное величие Сервантеса, испанцу — Достоевского, итальянцу — Рабле, французу — Данте? Вот Гомер — разве что с ним может быть сравнение: его уважают все, зная, что с этого началась словесность Запада. Разница, правда, в том, что читают гомеровский эпос немногие, а джоттовский смотрят и продолжают смотреть — в Ассизи, Флоренции, Падуе.

Джотто был поставлен на то место, которое занимает и теперь, еще при жизни. Данте в "Божественной комедии" написал: "Кисть Чимабуэ славилась одна, / А ныне Джотто чествуют без лести, / И живопись того затемнена".

При этом Данте, джоттовский ровесник (старше на два года), вовсе не имел в виду некое поступательное движение, прогресс, он говорил о смене вкусовых предпочтений: вчера один, сегодня другой. Но получилось эпохально.

Чимабуэ умер до того, как Джотто взялся за свое значительнейшее творение — падуанскую капеллу Скровеньи, а то бы мог и пожалеть, что любопытство заставило его остановиться у моста через ручей в холмистой долине Муджелло к северу от Флоренции.

Мы ехали по этим краям из Виккио в Веспиньяно и увидели указатель налево: Ponte Cimabue. Свернули — и метров через триста оказались в том месте, где произошло зачатие европейского искусства.

Джорджо Вазари в "Жизнеописаниях знаменитых живописцев" рассказывает, как уже маститый

© Петр Вайль, 2009

37-летний художник Чимабуэ в 1277 году увидел десятилетнего пастушка, который у моста на обломке скалы заостренным камешком рисовал с натуры овцу. Пораженный мастерством рисунка, он попросил отца мальчика отпустить его с собой во Флоренцию — в ученики. Исследователи, из категории ненавидящих красоту жизни, доказывали, что все обстояло не так, что семья Джотто, приобретя достаток, сама перебралась во Флоренцию, и там подросток попал в мастерскую Чимабуэ.

Но вот же стоит перед нами старый, давно поросший мхом, мощный не по размеру дохленького ручья мост. И рядом обломок скалы, на котором написано, что он тот самый. Скептики из категории (см. выше) скажут, что камень подстроили под Вазари, но зачем сталкивать историю с мифом? Ясно же, что миф победит — никогда и нигде не бывало иначе.

На окраине Веспиньяно дом, где родился Джотто ди Бондоне — это его то ли подлинное, "паспортное", имя, то ли сокращение от Амброджо (Амброджотто) или Анджело (Анджелотто). Дом и вправду зажиточный, солидный, красивый, чуть более сохранный, чем полагалось бы зданию XIII века, но зато не стыдно показывать. Слева круто вверх идет тропинка — к блекло-желтой церкви св. Мартина, где семь столетий назад был приходским священником сын Джотто. Сейчас этот пост занимает о. Жан-Дени из Конго. Он приветлив, улыбчив, лакированно-черен, он оживленно говорит, размахивая руками, стоя под двумя корявыми вековыми кипарисами над домом Джотто — вот она, живая история, перемешанная с мифом.

Понятно, если Джотто учился у Чимабуэ, значит, до него что-то проявлялось в изобразительном искусстве Италии. Еще как. Почти на полвека старше Джотто грандиозный скульптор Никколо Пизано, на десять-двадцать лет — скульптор и архитектор Арнольфо ди Камбио, живописцы Пьетро Каваллини, Дуччо ди Буонинсенья. Ненамного моложе Джотто сиенцы Симоне Мартини и братья Лоренцетти, Пьетро и Амброджо. Любой из них — слава и гордость своего города и народа.

Почему же печка? Отчего же такое единодушие: в начале был Джотто?

Сомнений ведь в этом нет. Прежде чем обратиться собственно к творениям Джотто, стоит отметить косвенное — но исключительно важное — доказательство его места в культуре. О других великих художниках Ренессанса рассказывают истории. О Джотто — анекдоты. Это критерий безошибочный. Чапаев всегда будет важнее Котовского, чукча — эвенка, поручик Ржевский — любого генерала: вне зависимости от объективных качеств и заслуг.

Дом в Веспиньяно, где родился Джотто ди Бондоне

Из наиболее известных анекдотов о Джотто — как он в юности, когда Чимабуэ ушел по делам, изобразил на его картине муху, и мастер, вернувшись, безуспешно пытался согнать ее с холста. Еще о том, как папа римский направил своего посланника во Флоренцию, чтобы тот привез образцы живописи лучших тамошних художников, а Джотто не стал ничего рисовать и просто одним движением руки начертил идеальную окружность.

Три новеллы посвятил ему в конце XIV века Франко Саккетти. В Новелле 75 — примеры джоттовского остроумия.

Художник с приятелями прогуливался по улице, как вдруг "одна из проходивших мимо свиней св. Антония, разбежавшись, в бешенстве ткнула своим рылом Джотто так, что он упал на землю". Однако он не стал ругаться, а напомнил, что из свиной щетины делают кисти: "Ну, не правы ли они? Благодаря их щетине я заработал за свою жизнь тысячи, а между тем ни разу не дал им и чашки похлебки".

Вопрос о свиньях, кстати, стоял остро. Петрарка, обращаясь к Франческо I да Каррара, просвещенному правителю Падуи, в числе важнейших государственных забот называет устранение свиней с городских улиц, так как они выглядят некрасиво и пугают лошадей. Живописцев, как видим, тоже. Но содержание свиней в городе было привилегией монахов братства св. Антония — так что бороться с этим было трудновато.

Другой пример из Новеллы 75. Один из приятелей Джотто, разглядывая чью-то картину со Святым семейством, спросил: "Почему это Иосифу придают всегда такой печальный вид?" Джотто ответил: "Разве у него нет к тому оснований? Он видит жену свою беременной и не знает, от кого она забеременела".

Саккетти резюмирует: "Большой тонкостью отличается ум таких даровитых людей". Это примечательный пассаж. Начало XIV столетия, время Джотто, да и конец его, время Саккетти, не та эпоха, когда художники были на равных с другими творцами — с писателями прежде всего. Настоящее их признание такими же достойными пришло постепенно, лишь к середине следующего века, если не вовсе в XVI столетии. Объяснение простое: живописцы и скульпторы работают руками — стало быть, они ремесленники. Не зря же на протяжении всего раннего и среднего Ренессанса флорентийские художники, чтобы трудиться легально, платить налоги и вообще быть законопослушными гражданами, вступали в Гильдию аптекарей и фармацевтов (Arte dei Medici e Speziali). Близость профессий обеспечивало растирание субстанций — что порошков, что красок. Любопытно при этом, что гербом гильдии являлась Мадонна с Младенцем — и символ милосердия медиков, и самый частый сюжет художников.

Отсюда эта настойчивость Саккетти: "Джотто не только большой мастер в живописи, но мастер и во всех семи свободных искусствах". Будто живописи мало. Было мало! Из семи искусств живописцу профессионально требовалась разве что геометрия, а остальное — так, факультативно: грамматика, риторика, диалектика (так называемый словесный "тривиум"), арифметика, астрономия, музыка (вместе с геометрией — математический "квадривиум"). Арифметика еще может пригодиться — чтоб не обсчитали с гонораром.

Саккетти, во-первых, поднимает Джотто на интеллектуальный пьедестал, во-вторых, сам себе и другим пытается объяснить высочайший, опередивший время авторитет художника.

О нем хвалебно писал Данте. Петрарка за четыре года до смерти завещал правителю Падуи "Мадонну" Джотто, "выдающегося живописца... красоту которой невежды не понимают, при том что мастера этого искусства ею поражаются". В "Путеводителе для едущего в Сирию" Петрарка пишет о Неаполе: "Не забудь зайти в капеллу короля, где мой соотечественник, первый из живописцев нашего времени, ос-

тавил великие памятники своей руки и ума" (эти джоттовские фрески утрачены). Петрарка дружил с Симоне Мартини, соперником Джотто, но объективность (и чувство юмора) заставляла его ставить их рядом: "Я знаю двух выдающихся, но некрасивых живописцев: Джотто, флорентийского гражданина, чья слава среди новых огромна, и Симона из Сиены".

Даже сама неказистая внешность сделалась предметом анекдотов — каков знак признания!

Джотто мало того что был нехорош собою, у него и дети как на подбор удались в папу. Их было восемь — от жены по имени Ричевута ди Лапо дель Пела, сокращенно Чута. Когда Данте, навестивший семью художника в Падуе, спросил, как так выходит, что дети его столь некрасивы, а картины прекрасны, Джотто ответил: "Пишу я на свету, а детей делаю в темноте".

Джованни Боккаччо в "Декамероне" рассказывает о каком-то мессере Форезе, что он "был маленького роста, безобразный, с таким плоским лицом и такой курносый, что было бы гадко и тому из семьи Барончи, у которого лицо было всего уродливее". А о Джотто, его спутнике в описанном путешествии, сказано: "Хотя его искусство было и превосходное, он тем не менее ни фигурой, ни лицом не был ничем красивее мессера Форезе". И — глубокомысленное заключение: "Природа скрывает в безобразнейших человеческих телах чудеснейшие дарования".

Это все было на новенького: живописец — и остроумец-интеллектуал; безобразное — а порождает прекрасное.

С него, с Джотто, и началась перемена понятий и представлений о художнике и художестве.

Что до его живописи, то правильнее, чем писателей и критиков, послушать профессионалов, коллег. Вот что пишет Леонардо: "Живописцы после римлян все время подражали один другому и из века в век все время толкали это искусство к упадку. После них пришел Джотто, флорентиец. Родившись в пустынных горах, где жили только козы и подобные звери, он, склоненный природой к такому искусству, начал рисовать на скалах движения коз... После него искусство снова упало, так как все подражали уже сделанным картинам". По Леонардо, новый возврат к природе приходит только с явлением Мазаччо — то есть через столетие после Джотто.

И все наперебой: Джотто учился у природы (тот же Вазари, прославленный биографиями художников, но и сам плодовитый живописец: "Он заслужил то, чтобы быть названным учеником природы, а не других учителей"). При этом, глядя на росписи Верхней или Нижней церкви в Ассизи, капелл Барди и Перуцци во флорентийской Санта-Кроче, на джоттовский шедевр в Падуе, — нельзя не увидеть театральности, некоторой статичности и тяжеловесности, преодоленных уже в эпоху кватроченто, с того же Мазаччо начиная.

Однако Джотто воспринимался — и исторически воспринимается — прорывом к естественности.

Вот, кстати, почему невозможно полноценное, адекватное восприятие старого искусства — живописи, музыки, литературы: контекст утрачен и невосстановим. Нам же не понять, что ощущал итальянец конца XIII века, до тех пор окруженный чем-то византийским, при виде фресок Джотто. То есть попробовать сыграть в это можно: скажем, перебежать — благо недалеко — из Успенского собора Кремля в Пушкинский музей, в залы Нового времени.

Авторитетнейший исследователь Лючано Беллози излагает детально, какие стереотипы преодолел Джотто. Это "формулы, призванные постоянно в буквальном смысле намекать на реальность, отличную от реальности мира сего, согласно которым руки человека походили на вилки, брюшная полость была трехчастной, как бы образованной из трех животов, глазные впадины сильно подчеркивались, нос имел форму клюва".

В разных вариациях все пишут о том, что Джотто "перевел живопись с греческого на латынь". Латынь была языком современной культурной Европы. А что такое был "греческий" в то время? Византия. Когда Лоренцо Гиберти (опять мнение высочайшего профессионала) пишет, что Джотто "покончил с грубостью греков... утвердил искусство естественное и вместе с тем привлекательное и гармоничное", для него "грубость" — византийская застылость образов, неизменность канона в веках.

Но если что и создала Византия значительного в культуре, то школу историков и иконопись. Уроки византийской живописи Джотто усвоил прекрасно — только с ее неподвижностью мириться не захотел. Осовременивание исторического опыта происходит всегда, во всех новых течениях и явлениях. По-разному: бывает чужой опыт, извне — как африканское искусство для Пикассо или полинезийское для Гогена; интеллектуально свой — как итальянское кватроченто для англичан-прерафаэлитов; кровно свой — как соцреализм для соц-арта. Второй и третий варианты — случай Джотто.

Как истинный гений, он был восприимчив и переимчив. Джотто уже перевалил за пятьдесят и пребывал на вершине славы, когда растущая популярность Симоне Мартини заставила его сделаться чуть изысканнее и тоньше (капелла Барди во Флоренции). Причина небольшого, но заметного изменения стиля лишь предположительна, писем и документов об этом нет, но предположение очень правдоподобное. Нередкий в истории культуры и замечательный пример влияния не сильнейшего, но равного и другого, пусть и чуждого. Так Верди, блистательно продолжавший Беллини и Доницетти, ушедший далеко вперед по этому оперному мейнстриму, вдруг в двух своих последних творениях — "Отелло" и "Фальстафе" — впервые "прислушался" к вечному и ненавидимому сопернику Вагнеру (может, оттого, что тот уже умер), отчего получились два несравненных шедевра.

Работы Симоне и его впечатляющую манеру Джотто мог видеть и наверняка видел в Неаполе, при дворе Роберта Анжуйского, где был на десять лет позже сиенского мастера. Других же соперников не знал — да их и не было. Уже после выдающегося цикла в Верхней церкви Ассизи его стали приглашать в разные города. В том числе в Падую.

Очень меткие, хоть и неточные слова о Падуе сказал Хемингуэй. В романе "За рекой, в тени деревьев" вскоре после войны полковник Кантуэлл по дороге в Венецию проезжает Падую, беседуя с водителем.

"— Нет, вы подумайте, — сказал шофер. — У них что ни мост, что ни станция — кругом на целые полмили одни развалины.

— Отсюда мораль, — сказал полковник, — не строй себе дом или церковь и не нанимай Джотто писать фрески, если твоя церковь стоит в полумиле от моста".

Неточность в том, что церковь Эремитани, разрушенную авианалетом союзников в 1944 году, расписывал Мантенья, а не Джотто. Стоящая рядом возле моста через городской канал капелла Скровеньи, расписанная Джотто, уцелела. Бог с ней, с путаницей — для сюжета романа она не важна, а в путеводитель мы заглянем сами. Важнее меткость — не авиации, а писателя, подметившего уже тогда, как определила война облик Падуи.

Все пространство от вокзала до центра — послевоенная застройка: а там было на что посмотреть. К счастью, центральная и южная часть города сохранились, и Падуя — не входящая, увы, в стандартные туристические маршруты — стоит всяческого внимания. Впрочем, вся Италия такова: никаких маршрутов ни на чью жизнь не напасешься.

Плюс Падуи — полчаса на поезде, на автобусе или на машине от Венеции. Город легко достижим из Милана, Вероны, Болоньи, Мантуи — то-то здесь были все, составившие славу итальянской культуры.

Донателло тут предоставили дом возле собора св. Антония, и он из окна второго этажа (место отмечено мемориальной доской) следил, как идут работы по установке его памятника предводителю наемников Гаттамелате. Впервые со времен античности воздвигался большой бронзовый конный монумент. Образцом для него служил памятник Марку Аврелию на римском Капитолии — он единственный уцелел при христианстве, его не уничтожили по ошибке, считая изваянием императора Константина, первого христианина во главе Римской империи. Донателло превзошел достижение древности. Гаттамелата — прозвище полководца Эразмо да Нарни — дословно означает "медовый кот", и надо же быть величайшим скульптором, чтобы передать вкрадчивую грозную пластику человека из отряда хищников, прославленного кондотьера.

Впрочем, Падуя славна не только художественными сокровищами. Здесь находится кафе, входящее в призовую итальянскую тройку, два других — "Греко" на виа Кондотти в Риме и "Флориан" на венецианской пьяцца Сан-Марко.

В падуанском кафе "Педрокки" все символично. И расположение: наискосок от второго в мире (после болонского) по старшинству (1222 год) и самого авторитетного в эпоху Ренессанса университета — как везде и всегда, рассадника вольномыслия. И неоклассический облик с портиками, отсылающий к античным свободным образцам. И интерьер второго этажа, где в египетском, восточном и прочих залах причудливо смешались пышность и наивность — произвольность выбора. В общем, не зря именно в "Педрокки" в 40-е годы XIX века вызревал студенческий бунт против австрийцев, обернувшийся в конце концов освобождением и объединением Италии. Опять определившая судьбу и облик города война, на столетие раньше и не такая страшная. В "Педрокки" на стене одного из залов нижнего этажа серебряной табличкой обозначен след от пули тех времен, а напротив — на бронзе цитата из "Пармской обители" Стендаля с описанием кафе. В меню множество коктейлей из горячего кофе и холодных ликеров — пожалуй, нигде их не делают так тонко.

Сразу за "Педрокки" — рынок на двух площадях, пьяцца делла Фрутта и пьяцца делле Эрбе, Фруктовой и Травяной, разместившихся по обеим сторонам здания суда, палаццо делла Раджионе, — одного из самых эффектных и величественных гражданских зданий страны, с лоджиями и крышей в виде перевернутого корабельного киля. По живописности декораций в моем рыночном рейтинге падуанский базар занимает высокое место, вслед за венецианским Риальто и римским на кампо дель Фьори и рядом с веронским на пьяцца делле Эрбе.

Если пройти в южную часть города, там обнаружится площадь Прато делла Валле с каналом, мостиками, фонтанами и множеством статуй (разумеется, среди них и Джотто) — точнее, ты себя обнаруживаешь на этой площади, потому что она самая большая в Северной Италии.

Поразительно, как много "самого" в городе с населением в двести с чем-то тысяч человек: Падуя как Подольск.

На краю Прато делла Валле — огромная церковь Санта-Джустина, от которой интересно идти вдоль ботанического сада, глядя, как, постепенно вырастая, вырисовываются впереди купола Сан-Антонио. Оба эти храма немного напоминают венецианский Сан-Марко, что естественно: четыре столетия Падуя была под Венецией, о чем не дают забыть бесчисленные изображения на зданиях крылатого льва св. Марка.

Храм Св. Антония, перед которым и стоит донателловский Гаттамелата, здесь называют просто — дель Санто: дескать, какой же еще может быть святой. За этим поклонением, привлекающим сюда пять миллионов паломников в год, — захватывающая жизнь, приключенческий роман.

Антоний Падуанский родился в конце XII века в Лиссабоне в рыцарской семье. С 15 до 25 лет изучал богословие в монастыре, и как раз в это время в Коимбру, древнюю столицу Португалии, привезли останки пяти францисканских монахов, убитых за веру в Марокко. Антоний вступил в орден Франциска Ассизского и отправился в Африку, чтобы повторить подвиг тех мучеников. В Марокко заболел лихорадкой, поплыл назад, но буря прибила корабль к берегам Сицилии. Начались странствия по итальянским монастырям, где Антоний мыл посуду, пока не пришлось заменить задержавшегося где-то проповедника: богословские знания и ораторский дар потрясли монахов. История классическая для мира театра: статист заменяет заболевшего солиста и становится звездой. Антоний стал первым выдающимся францисканским ученым, объехал с проповедями разные страны, собирая аудитории до 30 тысяч слушателей. Последний год жизни провел под Падуей, в келье, устроенной в ветвях орехового дерева. Здесь и умер в 36 лет. В то время не существовало нынешних строгих правил канонизации, и Антония причислили к лику святых в 1232 году, меньше чем через год после смерти. При переносе мощей зафиксировали, что его язык — орудие проповедника — остался нетленным. Он и теперь хранится в специальном реликварии.

Какое же истовое выражение веры эти ползущие к гробнице святого и целующие мрамор люди, эти сотни благодарственных записок и фотографий искореженных автомобилей, мотоциклов, велосипедов, чьи хозяева уцелели в авариях: "Дорогой св. Антоний, твое присутствие со мной в этой машине спасло меня". Записки другого рода: "Спаси от болезни мою бабушку", "Я родилась очень маленькой — 660 грамов, моя сестричка Лючия уже в раю. А я буду жить. Спасибо тебе, св. Антоний". Языки и алфавиты разные, очень много деванагари — видно, в Падуе или поблизости большая индийская община. Множество серебряных и иных изображений сердца, легких, рук, ног — как в вильнюсской Остробраме, как в пражском Иезулатко. Наглядная психотерапия. Можно себе представить, что здесь творится 13 июня — в день поминовения св. Антония.

В соборной капелле Сан-Феличе большая многофигурная фреска "Распятие" работы Альтикьеро. Он родился между 1320 и 1330 годами под Вероной, считается одним из основателей веронской школы, но там не сохранилось ничего, кроме одной фрески в церкви Св. Анастасии. К счастью, лучшие вещи Альтикьеро остались в Падуе, где он много работал, и поучительно разглядывать, как этот художник претворял заветы Джотто в каком-нибудь километре от капеллы Скровеньи. Можно сказать, что не было у Джотто более талантливого и вдумчивого последователя. На той же соборной площади находится часовня Св. Георгия (Oratorio San Giorgio); там 21 фреска Альтикьеро, и расположение их, стиль повествования — опять-таки джоттовский. Но ничуть не эпигонский: это творческая переработка. Лица уже более индивидуализированы, животные реалистичнее, пейзаж натуральнее, колорит более мягкий и приглушенный. Толпа в сцене Распятия насчитывает более восьмидесяти человек — в ту пору так еще не писали (может быть, единственное исключение — "Распятие" Пьетро Лоренцетти в Нижней церкви базилики Сан-Франческо в Ассизи, там около полусотни персонажей). Это уже кватроченто стало обильно населять евангельские сюжеты "лишними" персонажами, вызывая протесты церковных иерархов.

В треченто Альтикьеро во многом был новатором, предвосхитив композиционное мастерство художников будущих веков. 80 лет, разделяющие падуанские фрески Джотто и падуанские фрески Альтикьеро, не прошли зря. Во многом последователь пошел дальше предшественника — так и должно быть. Вот джот-

товского величия, сквозящего у того в каждой сцене, Альтикьеро все-таки не достигает — да и кто его достиг? И потом, Джотто был, как-никак, почти на век раньше.

Альтикьеро скорее напоминает молодого Джотто, каким тот предстает в базилике Сан-Франческо в Ассизи, где ему приписываются 28 фресок в Верхней церкви — житие св. Франциска. "Приписываются", потому что документы не сохранились: францисканцы были аккуратны в составлении договоров, но бумаги уничтожили наполеоновские войска, которые устроили в базилике конюшню. Если это все-таки Джотто, то работал он там лет за десять до Падуи, и в Ассизи его мощь только намечается, но свежесть живописи такова, что кажется, будто художник писал с натуры. Похоже, Франциск вообще воспринимался таким: к тому времени он умер сравнительно недавно, в 1226 году, а его биографию, положенную в основу джоттовского цикла, св. Бонавентура сочинил в 1266-м — всего за четверть века до создания фресок. Оттого изображенные на них персонажи лишены библейской возвышенности, они выступают как современники автора, а получается, что и наши.

В этом Джотто был первым, и по ассизским росписям видно, почему именно он стоит в начале Ренессанса.

До него живопись в церквах существовала отдельно от архитектуры — он естественно вписал свои сюжеты в проемы между окнами. Он первым изобразил реальные здания: Палаццо Пубблико и храм Минервы на пьяцца дель Коммуне в Ассизи во фреске "Юродивый предсказывает грядущую славу молодому св. Франциску". В "Дарении плаща бедному дворянину" — снова Ассизи с его зубчатыми стенами и церковью Сан-Дамиано. Но самый эффектный город — прямо участвующий в драматической коллизии, — в "Изгнании демонов из Ареццо". Здесь город изображен как Нью-Йорк в статьях советских журналистов: дом к дому, ни просвета, ни травинки, только бесы в таком бездушном месте и могут обитать.

У Джотто первого появилась резкая естественная жестикуляция действующих лиц. В "Отказе от имущества" разгневанный отец бросается к Франциску, вероятно, чтобы ударить, а друг или родственник удерживает его за руку. В "Чудесном открытии источника" монах стремительно падает на руки, приникая к воде. В "Проповеди перед папой Гонорием III" святой простецки указывает большим пальцем куда-то вверх, надо думать, апеллируя к Богу.

Очаровательная мелочь: между "Чудесным открытием источника" и "Проповедью птицам" — Мадонна с Младенцем: ребенок улыбается, и это первая улыбка в итальянской живописи.

Чуть-чуть, неожиданно и странно, улыбается джоттовская Мадонна Оньиссанти в галерее Уффици — так, что между красными губами видны белоснежные зубы. Во времена жесткого господствующего канона на такую вольность требовалась недюжинная отвага.

К концу жизни Джотто, очевидно, чувствовал себя все вольнее. В полиптихе Стефанески (Ватиканский музей) в сцене распятия св. Петра на первом плане — мальчик в красном, возбужденно и радостно указывающий на распятого: интересно же, ну ладно, распяли, но почему вверх ногами? Через столетие, в кватроченто и дальше, это стало частым приемом — помещать впереди кого-то, не имеющего прямого отношения к сюжету, тем снижая трагизм и усиливая правдоподобие. Но первым был Джотто.

В том полиптихе, заказанном в 1320 году кардиналом Якопо Стефанески для римского собора Св. Петра, сам кардинал изображен дважды: на лицевой стороне — у ног Христа, а на обороте — у ног святого, которому он преподносит этот самый полиптих. То есть здесь не просто портрет донатора, а сегодняшний день, вторгающийся в Священное Писание. Если в Ассизи Джотто обликом, одеждой, жестикуляцией персона-

жей осовременивал недавнее прошлое, то тут прямо совместил современность с вечностью.

Судя по отзывам Петрарки и других, так же смелы были не дошедшие до нас его работы в Неаполе. Там Джотто поднялся еще выше в социальном статусе, войдя в "ближний круг" короля Роберта Анжуйского, поэта и покровителя искусств, общаясь с лучшими умами неаполитанского двора.

По возвращении во Флоренцию он был назначен руководителем строительства кафедрального собора (magister et gubernator), сосредоточил в своих руках административный, финансовый и художественный контроль над всеми работами. Это при том, что Джотто был не архитектором, а живописцем — невиданный почет, огромный авторитет. Впрочем, архитектором он тоже стал: по его чертежам построили соборную колокольню "Башня Джотто", про которую Джон Рескин сказал: "Среди существующих христианских сооружений нет ни одного столь совершенного". Облицованная цветным мрамором, непривычно прямоугольная, стройная, она и вправду дивно хороша, эта флорентийская кампанилла, и забраться на нее стоит — чтобы взглянуть на город и, что еще важнее, на собор, удивительный в таком ракурсе. Откуда Джотто знал про это, ведь купол Брунеллески завершили через сто с лишним лет после его смерти?

В 70-е годы XX века во время раскопок в основании собора обнаружили то, о чем писал Вазари, — захоронение Джотто. В 2000 году останки подвергли тщательному исследованию и определили повышенное присутствие в костях мышьяка, свинца и других веществ, входивших в состав красок. Передние зубы стерты — по-видимому, от привычки держать в зубах запасные кисти. Дефект шеи указывает на то, что человек много времени проводил, сильно отклоняя голову назад. Голова непропорционально велика по сравнению с крохотным туловищем: рост 125 сантиметров.

Это про него — "метр с кепкой". Господи, какие страдания и муки, сколько насмешек и издевательств, какое количество свиней сшибало его с ног на протяжении семидесяти лет жизни. Как же рос он над собой и над всеми, откидывая голову, воздевая взгляд к храмовым сводам, стискивая кисть пальцами, сжимая в зубах. И какое же торжество с высоты славы и почитания, какой ликующий взгляд на всех этих настоящих и будущих лилипутов, копошащихся у подножия его 85-метровой колокольни.

Во флорентийской церкви Санта-Кроче на одной из джоттовских фресок изображен карлик, который давно считался автопортретом художника — возможно, так оно и есть. Статуя Джотто в нише здания галереи Уффици, изваянная в XIX веке Джованни Дюпре, сильно льстит натуре: стоит крепенький задумчивый мужичок, не красавец, но вполне хоть куда.

Заказ кардинала Стефанески, Неаполь, собор, кампанилла, почет и уважение — все это было уже после Падуи и благодаря Падуе, там Джотто достиг своей вершины.

Капелла Скровеньи — особенно не с фасада, а в профиль — не очень-то изящна и несколько похожа на фабричный корпус. Вся забота — о внутреннем убранстве. Само здание было построено очень быстро: 25 марта 1303 года прошла церемония закладки первого камня, а в конце года Джотто уже взялся за роспись. Второе название часовни — капелла дель Арена, поскольку на той земле, которую купил падуанский дворянин Энрико дельи Скровеньи, в древнеримские времена размещался амфитеатр, арена. Скровеньи задумал соорудить фамильную усыпальницу, а заодно совершить искупительный дар за своего отца Реджинальдо, которого Данте поместил в седьмой круг ада, вместе с прочими ростовщиками.

Если учесть прошедшие славные столетия, дар удался. И кара, и спасение — все в руках художников. Реджинальдо Скровеньи навечно

остался в Дантовом аду, а сын отмаливает его грехи в капелле Джотто – тоже вечно. Если, конечно, не случится новой войны, и бомба не попадет в другую церковь у моста.

В сцене "Страшный суд" Энрико Скровеньи, стоя на коленях, преподносит Мадонне модель капеллы: снова, как в полиптихе Стефанески, джоттовский фокус совмещения реальности с Писанием. Но главное – сам донатор: это едва ли не первый в европейской живописи портрет. (В скульптуре он появился на четверть века раньше: Арнольфо ди Камбио в 1277 году изваял Карла Анжуйского, сейчас статуя в Капитолийском музее Рима.)

Как самостоятельный жанр портрет возник намного позднее, а до этого на заказанных картинах изображались те, кто давал на живопись деньги. Вполне объяснимо и справедливо, в конечном счете. Донаторы в сакральных композициях обычно маленькие: по иконописным законам, кто главнее, тот и крупнее. Но Скровеньи у Джотто – в рост с ангелами и святыми.

И с самого начала – разгул кумовства. В сцене "Рождество Марии" красивая женщина в голубом с золотой оторочкой платье передает спеленутого ребенка Анне – это, по всей вероятности, портрет жены Энрико Скровеньи. А ему самому помогает держать макет храма Альтеградо де Каттанеи, каноник падуанского кафедрала и приятель донатора. Мы можем лишь догадываться, сколько своих подлинных знакомых написал в разных местах Джотто. Скажем, в капелле Перуцци во флорентийской церкви Санта-Кроче изображены головы в шестиугольных рамочках – настолько живые, что некоторые знатоки считают их портретами членов семьи Перуцци. Не случайно же Николай Ге без обиняков пишет про своего коллегу из треченто: "Он портретист". И добавляет: "В самые возвышенные предметы он вносил сразу обыденную жизнь, с портретами, одеждой, обстановкой, современными ему".

В сцене "Брачный пир в Кане" знакомо-реалистична фигура пузатого распорядителя пира, который прихлебывает из бокала. Точная иллюстрация к бытовой стороне Иисусова чуда превращения воды в вино: "Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином... (он) зовет жениха и говорит ему: всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее; а ты хорошее вино сберег доселе" (Ин. 2:9–10). Порадуемся попутно здравому смыслу евангельского пассажа: что же это делается – все равно ведь по пьяной лавочке никто не разберет вкус вина. У джоттовского толстяка даже глаза скошены от изумления.

В сцене "Вход в Иерусалим" – комичная фигура человека, который запутался в одежде, торопливо снимая ее через голову, чтобы бросить под ноги Христу: "Множество же народа постилали свои одежды по дороге..." (Мф. 21:8). Забавны и юноши, взобравшиеся на деревья: "Другие резали ветви с дерев и постилали по дороге" (Мф. 21:8). Изображенные на фреске тонкие деревца явно не могут выдержать такой нагрузки, так что молодые люди словно парят в воздухе подобно ангелам. Ирония и юмор весьма нечасто появляются в живописи Возрождения, я тщательно собираю такие примеры, и позже поговорим об этом отдельно.

А как непосредствен разговор двух пастухов с ангелом в эпизоде "Рождество"! Мария с помощью повитухи (откуда бы? с пастухами пришла?) укладывает Младенца. Иосиф, как положено, печальный, дремлет среди животных. А эти двое, не обращая внимания на эпохальное событие, болтают с небесным посланцем, зависшим над ними в фигуре высшего пилотажа.

Даже аллегории Добродетелей и Пороков, пущенные понизу, выглядят не нравоучительно, а живо. Разве прогнулась бы жердь, на которой повесилось Отчаяние, если бы это был абстрактный порок, а не просто женщина. Здесь Джотто словно щеголяет мастерством "обманки": монохромные, серо-коричневым по бе-

лому, картины кажутся барельефами. Как всегда, пороки выразительнее: то же Отчаяние; Гнев в виде женщины, раздирающей на груди платье; Глупость, представленная шутом в дурацком наряде; Зависть с мерзкой змеей, вылезающей изо рта и жалящей в переносицу.

Как интересно соседствует у Джотто еще прежняя, "византийская" статичность с новой естественностью. Наглядно видно, как преодолевал он старые традиции, иногда уступая им. В "Крещении Христа" — неестественная выпуклость воды, словно она твердая: это средневековая условность, согласно которой нельзя изображать Христа обнаженным, его следует прикрыть хотя бы водой Иордана. Впрочем, в арианском баптистерии Равенны есть мозаика VI века, где Христова нагота — с четко прорисованными гениталиями! — просвечивает сквозь так же ненатурально приподнятую реку.

В капелле дель Арена обнаженность, почти порнографическая, — в "Страшном суде". Справа от креста, симметрично Мадонне, принимающей дар от Энрико Скровеньи, два черта волокут в ад грешника, стягивая с него одежду, так что открываются его половые органы очень крупного размера.

Видно, как Джотто в своих историях-фресках меняет ритм и стиль.

Есть эпизоды бытовые донельзя: как "Явление ангела св. Анне", где женщина с прялкой застыла за дверью, подслушивая откровение; как "Рождение Марии" с суетливой возней вокруг ребенка; как "Noli mi tangere" с Иисусом, мягко отстраняющим Марию Магдалину — одна из самых подвижных сцен, при том, что там больше спящих, чем бодрствующих, но и они живые.

А есть архаически застывшее "Поклонение волхвов" с пролетающей над яслями рождественской звездой — по всей вероятности, Джотто запечатлел комету Галлея, которая в Европе была видна в 1301 году (запущенную в космос межпланетную станцию для исследования кометы Галлея назвали "Джотто").

Есть монументальное (хотя все фрески одинаковы — 1,85 на 2 метра) "Воскрешение Лазаря".

Есть драматичный и волнующий до сердцебиения "Поцелуй Иуды" — со взглядом предателя и проданного глаза в глаза.

Есть величавая поступь осла, увозящего Марию с Младенцем в Египет. По-прежнему скорбный Иосиф, оглядываясь, идет с корзинкой впереди, а Мария торжественно восседает, как на троне, и треугольная скала позади дублирует треугольник, образованный спиной осла, Младенцем на руках, прямой фигурой Богоматери. Если бы поднялась рука расставлять сцены по ранжиру, я бы на первое место поставил "Бегство в Египет" — эпос минималистскими средствами.

Кстати, об ослах. Принято считать, что осел в "Бегстве в Египет" и особенно ослица во "Вхождении в Иерусалим" есть символ смирения. Однако это чистой воды модернизация, перенос позднейших представлений в другое время и место. На Востоке даже правители передвигались на ослах, а на лошадей — животных боевых, а не рабочих — пересаживались только для войн и парадов. Отголосок этого отношения слышен, например, в "Трех мушкетерах", когда Портос выцыганивает у влюбленной в него прокурорши деньги на экипировку. "Лошадь для слуги? — нерешительно повторила прокурорша... — Красивый мул выглядит иной раз не хуже лошади..." — "Идет, пусть будет красивый мул", — сказал Портос, соглашаясь на гибрид осла и кобылы. Что до "Вхождения в Иерусалим", то здесь въезд верхом — знак редкостного почтения к Иисусу, потому что все паломники входили в городские ворота пешком: не по недостатку средств, а по общепринятому обычаю.

37 сцен жития Иисуса и Богоматери (плюс большой Страшный суд) разместил Джотто в капелле, ставшей от этого просторной, хотя параметры ее всего-то 20,5 на 8,5 метра — школьный актовый зал. Высота вот только храмовая — 18,5 метра. В

большой Верхней церкви Ассизи нужно идти вдоль фресок, чтобы рассмотреть их. В Падуе можно встать в центре и все разом охватить взглядом. Тогда-то и становится ясным высочайшее мастерство Джотто-рассказчика. Потом были мастера, владевшие ремеслом повествования не хуже, — Гирландайо, Пинтуриккио, Карпаччо. Но он-то был первым, снова первым — и в этом тоже. Быть может, это и есть главное достижение Джотто — открытие искусства увлекательного живописного рассказа.

При этом сохранена иконописная значительность, позже отступившая перед напором реализма. Из всех христологических циклов в мировом искусстве этот, в капелле Скровеньи, потрясает сильнее всего. И кажется, что именно Джотто вдохновлял и оратории Баха, и фильм Пазолини.

При капелле была колокольня, и монахи из соседней церкви Эремитани подали формальный протест епископу Падуи. Но в действительности их прихожан отвлекал не посторонний колокольный звон, а красоты росписей новой капеллы: люди шли туда разглядывать, любоваться, преклоняться, молиться.

Медленно поворачиваясь вокруг своей оси посреди капеллы, осознаешь, как воспринимал Джотто свое творение в целом — и повествовательно, и колористически. К примеру, потолок, грубоватый и даже вульгарный, если рассматривать его отдельно, создает общее радостное покрытие для всех изложенных на стенах историй. Точно такая же синева с золотыми звездами веселит глаз в куполах суздальских церквей.

Может, не зря по-русски капелла Скровеньи звучит так тепло, интимно, сокровенно.

Леонид Гиршович
Чур меня!

ДАЖЕ человек безразличный к оккультным чарам (чакрам, энергиям и прочему Тибету) всегда насчитает три "случая из жизни", коим никакого разумного объяснения нет – равно как и безумного. Очевидно, не только Бог Троицу любит, но и оппонирующие Ему силы ее метят. По крайней мере ваш покорный слуга, почитающий себя твердолобым рационалистом, располагает тремя примерами из области чудес.

Чудо первое. Это произошло лет шесть тому назад. Я был на службе. В перерыве ко мне подходит коллега. Он только что говорил по телефону со своим Медвежонком (такие нежности супружеские: называть друг дружку Медвежонком) и "знаете, господин Гиршович, мой Медвежонок нашла в лесу ваш паспорт".

Немецкие шуточки.

– Знаете, господин Вильд, это исключено. Мой паспорт срочно нуждался в продлении, я отослал его в посольство.

– Гм... – Мол, позвольте ему в этом усомниться.

Не позволю, господин шутник.

– И утром мне доставили его заказной почтой. Верно, то был мой однофамилец и тоже обладатель израильского паспорта. Потерял, гуляя в лесу, а ваша Катрин нашла... Шиллера читали, "Поликратов перстень"?

Баллады Шиллера они проходят в девятом классе.

– Но Медвежонок говорит, что там ваша фотография. Вы на ней совсем молодой. И зовут вас почему-то Йозеф.

Звоню домой:

– Иосиф, проверь, где твой паспорт?

Паспорта нет.

Накануне мой сын, тогда еще двадцатилетний студент, приехал домой на каникулы. Взял в Тюбингене напрокат машину и сдал ее в Ганновере. Надо сказать, в продолжение его такой вот шестичасовой автопробежки я живу по другим законам, нежели обычно. Но вот в два часа ночи в замке поворачивается ключ...

– Госпожа Вильд нашла твой паспорт в лесу.

Он испытывает то же, что я, когда в два часа ночи в замке поворачивается ключ... Нет, он не представляет себе, как это могло произойти! Мимо того леса не проезжал, вообще нигде не задерживался. Разве что подхватил двоих: одного при выезде из Тюбингена, другого – километров через двести, на бензоколонке: этот последний сидел на заднем сиденье.

© Леонид Гиршович, 2009

Я потом долго распутывал эту историю. Никак. Выходило надуманно и глупо. Поэтому своих версий приводить не стану. Нет смысла предоставлять слово доктору Ватсону в отсутствие Шерлока Холмса.

* * *

Другая загадка, раскрыть которую мне не по силам, — она как бы загадана не мне персонально, но каждому, способному ее обнаружить. Между 1948 годом и серединой пятидесятых, вплоть до XX съезда партии, несколько десятков миллионов кинозрителей могли бы, подобно мне сегодня, чесать репу. Но время было голодное, во всем недород, очевидно, не было и репы. Во всяком случае кроме меня, боюсь, никто из смотревших фильм Чиаурели "Падение Берлина" не обратил внимания на одну деталь. Скорее всего тем, кто в состоянии отличить "Свадебный марш" Мендельсона от "Полонеза" Огинского, это показалось несущественным (об остальных говорить не приходится). Мне довелось посмотреть этот фильм лишь недавно. Он шел по одному из русских каналов к "60-летию Великой Победы" — рука сама проставляет здесь кавычки. В сцене бракосочетания Гитлера и Евы Браун звучит "Свадебный марш" Мендельсона. Спору нет, мелодия эта — клише для осмеяния мещанского брака, немецкого филистерства. Но она же клише и в том смысле, что при нацистах была под запретом. Почему, например, Шостакович не использовал "Свадебный марш" из "Лоэнгрина"? Я не допускаю мысли, что ему не по силам было справиться со стоявшей перед ним задачей без того, чтобы переступить через одно клише ради использования другого. И уж подавно не могу представить себе Шостаковича, позабывшего, кéм был Мендельсон — и чéм он был — в Третьем рейхе.

Если "Пушкин — это наше все" по-русски, то "Шостакович — это наше все" по-советски. Так как же это понимать: еврей Мендельсон, держащий "златые венцы" над головами первых нацистских молодоженов? Что, Дмитрий Дмитриевич незаметно скрестил средний и указательный пальцы — тайный знак недавней жертвы "космополитических" гонений: не верьте моему раскаянию? Или, наоборот, композитор нашел оригинальный способ продемонстрировать мазохистскую преданность огревшей его плетке? Или, соединив свастику с магендовидом, ложно сигнализирует "кому следует": дескать, разоружился, учел, больше не буду, а сам пишет в стол вокальный цикл "Из еврейской народной поэзии"? Или здесь всего помаленьку, и тогда "Свадебный марш" Мендельсона на свадьбе Гитлера — это чистейшей воды орвелловская шизофрения?

Не знаешь и никогда не узнаешь — как с найденным в лесу паспортом.

* * *

Третий случай своей таинственностью пугает. Типа НЛО. Угроза, исходящая от неведомых сил. Машина, сконструированная человеком и способная на самостоятельные действия. Или того пуще: власть над нею ты незримо делишь с кем-то еще.

Излагаю по свежим следам. Я готовил к печати книгу. Текст, как водится, был пытан каленым редакторским железом, затем процежен че-

рез ситечко корректорского лупоглазия. Случайная шелуха и позорные ляпы скрупулезнейшим образом удалены и надежно захоронены — по примеру упырей, радиоактивных отходов и тому подобной нечисти. В могилу был вбит осиновый кол по всем правилам компьютерного искусства.

Наконец открываю долгожданный сборник повестей под вычурным названием "Шаутбенахт" (поверьте, вычурно только на первый взгляд). И вижу: все огрехи на месте. Исправлений, внесенных рукой сурового, но справедливого редактора, как не бывало. "Опечутки", выведенные под всевидящим корректорским оком, копошатся снова. Та же судьба постигла и "последнюю волю автора" — последнюю авторскую правку. Компьютер только притворился, что принимает ее к сведению, а сам проигнорировал начисто.

Взять такое предложение: "Знание самоуверенно, во всяком случае подле незнания, когда то нелюбознательно". Неспособный уразуметь своими электронными мозгами, "что хочет нам сказать автор", компьютер автоматически пишет "когда-то" — через дефис. Так ему привычней. Все равно же непонятно, так пусть уж никому не будет понятно. Известно, что этот автор пишет темно. То есть каждое слово знакомо, а смысл — тю-тю, "утюкает".

По этой же причине "мандаринки раскидаев, под разноцветной фольгой скрывающие труху", превращаются в "мандаринки раскидав..." А вот (на странице двести двадцатой) вместо "голов" читаешь "голосов". Почему? Да очень просто. Снова сработал компьютерный здравый смысл: рядом слово "дуэт". Ведь компьютер не понимает слов, он их нюхает. Несмотря на всю свою электронику, он дремучий и совершенно невежественный, вроде тех, кто говорит и пишет: "по приезду", "по приходу". И долго еще летящее в колодец "у-у!" будет тебя преследовать ночами: стыд какой! Иди объясняй потом, что это не ты, это *он* исправил предложный падеж на дательный, а у тебя было написано: "И по своем переименовании..." (с. 298). И т. д, и т. д., и т. д.

С подобным явлением — бунтом машин — я сталкиваюсь впервые. До сих пор считал это чем-то из области фантастики: "Восстание роботов? Компьютеры, наделенные собственной волей, угрожающие человечеству гибелью? Ах, я вас умоляю".

А что как такое возможно? Я же по малодушию принимаю "нежелаемое за недействительное"... Чур меня! Чур меня! Чур меня!

"...Увидеть лица 'невидимок'..."

Елена Калашникова *По-русски с любовью: Беседы с переводчиками.* – М.: Новое литературное обозрение, 2008.

Кто-то однажды сказал, что самый лучший на свете читатель – это переводчик. Действительно, лишь вслушиваясь-вглядываясь в каждое слово и одновременно видя целое, улавливая любой нюанс и отслеживая, как мельчайшие рефлексы ложатся на огромное полотно, можно понять произведение. Даже в этом случае совершенно, увы, не обязательно "так, как оно написано", но хотя бы как дано тебе самому.

Известнейшая философская шутка ("Познаваем ли мир?" – "Да, но познание бесконечно") замечательно *смешна* именно на этом материале. Можно ли *вообще* до конца понять произведение искусства? Конечно! Только процесс понимания затянется на столько человеко-часов, сколько понадобится для прочтения.

Вместе с тем переводчик (*первочитатель, понимателъ, проникновенец* и т. п.) всегда остается за кадром: мы читаем Гомера, Китса, Йейтса, Паунда, Кэрролла, Роулинг, Хакса и др., но *не тех, кто сделал их достоянием русской культуры.* Что, конечно, и по-человечески несправедливо, и в общелитературном контексте неправильно. Однако до поры до времени подобная ситуация никого не смущала. Книга Елены Калашниковой "По-русски с любовью: Беседы с переводчиками", первое, по сути, социокультурное исследование проблемы, может послужить уникальным материалом для читательской рефлексии о взаимопроникновении разных словесных традиций, о современных процессах, происходящих в данной области, о том, какими путями тексты попадают в русскоязычное коммуникативное поле и как складывается их восприятие.

Елена Калашникова – выпускница Литературного института, участница семинара В. А. Харитонова. Сразу после защиты дипломной работы (2000) она увлеклась идеей бесед с мастерами переводческого цеха. Первыми ее героями стали Соломон Апт, Инна Бернштейн, Борис Кузьминский. Постепенно круг расширялся, и в результате в книге восемьдесят семь текстов, большинство из которых были опубликованы в интернетном "Русском журнале" в 2000-е годы. Каждый предваряется аккуратно сделанной аннотацией, рассказывающей о сфере интересов того или иного участника диалога, о его основной профессии, главных работах. К чести интервьюера следует заметить, что далеко не всякий на ее месте сумел бы увлечь своей идеей такое громадное количество очень занятых людей.

Сразу стоит пояснить: для Калашниковой, судя по всему, "проблема *переводчика*" актуальнее и важнее, чем "проблема *перевода*"; *личность* в книге выступает на первый план, чуть заслоняя профессиональные аспекты *труда* – говорю "чуть", поскольку о специфике профессии так или иначе рассуждает любой собеседник Калашниковой. Потому-то при чтении обращаешь внимание на личностные особенности, выискиваешь некие уникальные "микрофабулы", иллюстрирующие отношения человека с чужим текстом и чужим языком. Ну, например:

Пока я понял, что представляет собой одна никарагуанская народная забава, с меня семь потов сошло; оказалось, она напоминает башкирскую игру, где с завязанными глазами раз-

© Вера Калмыкова, 2009

бивают плошку шестом. Впрочем, в том же романе герои трое суток скитались в горах, питаясь одними... В тексте было — tortillas, это такие маисовые лепешки. Я же написал, вспомнив, вероятно, "Приключения Буратино", "одними черепахами". Откуда в горах черепахи?! К счастью, успел поймать (Александр Богдановский).

...У Берроуза в "Дезинсекторе" есть такой невнятный сюжет про оползень в шахтерском городке в Уэльсе. Легче всего сказать, что это "темное место", наркотическая галлюцинация, сон, бла-бла-бла. Я решил проверить по конспирологической литературе и нашел: была громкая история в 1966 году — массовые наблюдения НЛО и пророческие сны у шахтеров в городке Аберфан, вскоре случился оползень, гора шлака завалила город, много погибших. Никакого темного места, достаточно короткого комментария (Дмитрий Волчек).

Сама Калашникова предстает перед читателем неким музилевским "человеком без свойств". Ей интересен любой собеседник, она тщательно выстраивает закономерности, о которых и говорит в предисловии: кто к какому поколению относится, сколько среди переводчиков гуманитариев, а сколько "технарей", кто переводит на заказ, а кто полагается на свой вкус, кто какие произведения признает удачными, а методики — работающими, и так далее.

Благодаря полному отсутствию тенденциозности при чтении "Бесед..." становится понятно, что в современном русском переводе почти нет позиций, безоговорочно принимаемых всеми участниками цеха. Начиная прямо с базовой, то есть с вопроса о принципиально "переводимости" того или иного текста. "Непереводимых на русский [текстов] нет, — считает, например, Марина Бородицкая. — Он своей гибкостью, всеядностью, способностью ассимилировать все что угодно, приспособлен к переводу как никакой другой". Но: "...Многие произведения не предназначены для перевода, в переводе они, если воспользоваться метафорой Вирджинии Вулф, are stripped of its style — лишаются своего стиля. К "непереводимым" можно отнести "Левшу" Лескова, книги Платонова, "Поминки по Финнегану" Джойса". (Александр Ливергант) И: "Переводимость произведения зависит от многого: от счастливого совпадения таланта автора и переводчика, от востребованности книги временем и так далее. Тем не менее есть удивительные примеры таких совпадений — скажем, "Жизнь Бенвенуто Челлини" в переводе Лозинского. В сущности, эта книга непереводима, она потребовала от переводчика самого трудного — естественного способа передачи неправильностей, создания ненормативного, параллельного языкового мира, укорененного в русском менталитете, соответствующего одновременно сознанию героя и автора..." (Тамара Казавчинская)

Парадоксально в этом смысле мнение Марка Белорусца:

...Чтобы перевести текст, особенно поэтический — все равно, стихи или прозу, — необязательно до конца, досконально его понимать. Да и возможно ли такое понимание? Так ведь и с поэзией на родном языке. Мы читаем, слышим стихотворение русского поэта и, проникая в него, проникаясь им, приближаемся к чему-то, нас предельно задевающему. Иначе мы не прилагали бы усилий для проникновения. <...> Приближаемся к некой вершине, но взойти не можем, она на самом верху, недоступна и скрыта в тумане, сквозь туман прозреваема. В иноязычном стихе — сквозь туман еще больший.

Что же есть, собственно, перевод, каждый тоже понимает по-своему. "Для меня это прежде всего попытка как можно полнее понять другого человека. На сто процентов такие попытки успешными быть не могут. Каждый раз пытаешься — и более или менее удается" (Татьяна Баскакова). "Перевод — это актер-

ство, если переводить по-настоящему. Вот вам пример: мы жили в маленькой комнате, на диване сидит муж с гостями, сбоку письменный стол с машинкой, я вдруг начинаю биться головой об стол. Муж говорит гостям: "Не обращайте внимания". Это меня Мария Федоровна Лорие научила проигрывать те действия, которые я перевожу" (Ирина Гурова). "Переводчик чем-то похож на музыканта: он интерпретирует текст. У него своя манера — чем плохо, что она узнаваема?" (Александр Богдановский).

Или, например, вопрос об "устареваемости" переводов. "Если говорить об устаревших переводах, то Гомер (больше "Одиссея", чем "Илиада", больше Жуковский, чем Гнедич) — задача номер один. Иначе прервется связь времен, сейчас уже прерывается" (Илья Кормильцев). И все же: "Конечно переводы устаревают, но в один прекрасный момент они снова оживают" (Инна Бернштейн).

Для кого-то перевод — средство самовыражения; для кого-то — даже не высокое *служение*, а "обыденная *служба* 'почтовой лошадью просвещения'" (Григорий Дашевский). Или — мистическая ситуация, когда "идет волна" или "диктуют свыше"...

Еще один вопрос — о любви. Для многих любовь к "их" авторам — непременное условие. Коекому приходилось от "своих"... отказываться.

Из беседы с Виктором Коганом.

Е. К. Были ли у вас идеальные совпадения с автором? Или, может, с несколькими?

В. К. Да, с Буковски, такой же образ жизни. Потому я и отказался от дальнейших переводов, меня начали с ним отождествлять.

А для Ирины Гуровой вопрос "любви" определяющим не явился.

И. Г. Мне все нравилось переводить. Вот говорят: "Ах, люблю то-то..." Я, например, люблю Агату Кристи, но легче зубы драть, чем ее переводить. Не выношу Мелвилла, Фолкнера, а переводила их с наслаждением. <...>

Е. К. Сложно было переводить Фолкнера?

И. Г. Я была от него пьяная, но врала много.

Обе *правды*, таким образом, в каждом случае оказываются *истинны*...

Еще интересно, что "на выходе" во всех случаях у всех авторов получаются замечательные вещи. Мировоззрение, таким образом, определяющим фактором не становится...

Существуют, разумеется, и пункты, в которых едва ли не все мастера удивительно единодушны. "Переводчик обязан иметь больше информации, чем содержит текст" (Владимир Британишский). "...Я обязан знать все" (Михаил Гаспаров). "Я — человек довольно беспечный, нетерпеливый, не склонный к усидчивости и скрупулезности ни в каких сферах, кроме перевода" (Александр Богдановский).

Есть моменты, как говорится, вообще из ряда вон.

Из беседы с Эллой Венгеровой.

Е. К. Почему вы издаете Хакса в РГГУ на свои деньги?

Э. В. Не могу найти издателя. В 1979 году "Искусство" выпустило хорошую книгу с иллюстрациями Сергея Бархина, потом я напечатала "Фредегунду" и "Ярмарку в Плюндерсвайлерне" в прелестном нищем "Суфлере", фрагменты издала "Радуга", а потом грохнула перестройка и классика полетела ко всем чертям. Я должна застолбить эту территорию, ведь обскачут меня молодые. <...> Я сделала шесть томов в РГГУ, там драматургия, детские сказки и стихи, эссеистика. Седьмой том с философскими повестями пока что лежит и ждет. А в собрании сочинений (конечно неполном) пятнадцать томов. Да еще толстенный том эссеистики, где только индекс имен — две тысячи. Мне на все это ни денег, ни жизни не хватит. За-

то молодым можно позавидовать. Когда они его для себя откроют.

Тексты интервью дают богатый материал для раздумий. Буквально с первых страниц перед читателем встает вопрос, что же — или кого же — именно он читал, допустим, в советских книгах. Вот, например, фрагмент из беседы с Максимом Амелиным, переводчиком Катулла.

М. А. У Катулла есть такая строчка: *Pedicabo ego vos et irrumabo.*

Е. К. После этих слов надо смущенно потупиться?

М. А. Именно. Я перевел ее: "Раскорячу я вас и отмужичу". Может, это и смелый ход, но он, по-моему, соответствует духу и букве Катулла.

Е. К. А раньше как ее переводили?

М. А. Либо точки ставили, либо так: "Растяну вас и двину, негодяи!" (Пиотровский).

Разницы между фразами "Раскорячу я вас и отмужичу" и "Растяну вас и двину, негодяи!", собственно, почти нет, кроме той, что это высказывания из непересекающихся смысловых рядов: первый — опознаваемо-интимный, второй — хоть скандально-гротесковый, хоть политически-протестный, допустим. Так что любовь к изданиям пятидесятилетней давности может оказаться, мягко говоря, чреватой...

Время цензурных ограничений и героических "пробиваний" иностранных авторов в печать, кажется, прошло. Наступает иная пора, и появление "Бесед..." Елены Калашниковой симптоматично. Это некий знак смены эпох, своего рода "послание", "письмо в бутылке", только — коллективное, и обращаются подписанты к кому-то, кто пока не персонифицирован, а так, вырисовывается в клубящемся тумане.

С этой позиции "экзистенциальный" угол зрения, выдержанный, как кажется, в книге, вполне оправдан. Но раз речь идет о специфике момента — а о ней говорят многие переводчики, упоминая и условия рынка, и исчезнувший "социальный заказ", и неожиданное внимание к плохим переводам, благодаря которым якобы видно "оригинальное авторское решение" (Виктор Топоров), — то неплохо было бы рассмотреть сегодняшнюю ситуацию в более широком контексте. Быть может, Калашникова, сосредоточившись на современном состоянии проблемы и — во всяком случае, на концептуальном уровне, — проигнорировав исторический аспект, лишила и себя, и читателя возможности интерпретировать некоторые аспекты более широко и объемно.

В самом деле, российская словесность, созданная, собственно говоря, мановением руки Петра I, возникала и складывалась *в процессе перевода.* По указу сверху возможно через сравнительно небольшое время начать выпускать газету; написать же роман или драму, не зная, ни что такое, собственно, роман или драма, ни как это пишется, ни каким бывает герой, ни как это все, черт возьми, делается и происходит, нельзя ни при каких обстоятельствах и ни при каком таланте. Возникло "прелагательное направление": первые российские авторы переводили тексты, отчасти оставляя материал (фабулу, героев) оригиналов, отчасти адаптируя события к российским условиям. Ярчайший хрестоматийный пример — "Гамлет" Сумарокова, имеющий весьма опосредованное отношение к Шекспиру. Так что вопрос, читаем ли мы Гомера или "Гомера", в русском культурном пространстве, по-видимому, некорректен, ибо многозначность его решения укоренена изначально. Конечно, Гомера — "но с русским именем и в шубке меховой". Вернее сказать, наверное, в дохе...

Также и наш литературный язык формировался в процессе перевода. Для передачи принципиально новых — инокультурных, но предназначенных для существования в русской культуре — смыслов придумывались новые грамматиче-

ские средства. Когда в начале XIX столетия разгорелся спор между "шишковистами" и "карамзинистами", то разногласия во многом опирались на разные способы "преложения" иноязычных текстов.

Поэтому, например, разговор Калашниковой с Наталией Автономовой иллюстрирует *исконное для нашей словесности положение дел*. Конечно, сегодня мы имеем замечательно разработанный литературный язык; но и его возможности должны расширяться, когда речь идет о введении в широкий обиход произведений, например, философов XX века — а ведь это дела совсем недавние. Когда "в постсоветской России открылись двери навстречу современной западной мысли, которая в течение семидесяти лет была лишь ограниченно доступна узким специалистам", "растерянный читатель не мог справиться с наплывом новых содержаний. Поэтому мое главное стремление в этот период — способствовать реконструкции русского философского языка, который отмечен многими понятийными дефицитами.. <...> Мне хотелось внести хотя бы какой-то порядок в хаос разнородных образов психоанализа на российской почве. <...> [При переводе "Грамматологии" Деррида] еще нужно было решать, как переводить все эти полупонятия-полуметафоры. Я решила... придерживаться принципа терминологичности, выделила ряд основных понятий, нашла для них русские эквиваленты... и сохраняла их по всему тексту. <...> Я нередко вижу, как в переводах психоаналитической литературы используются предложенные мною эквиваленты" (Наталия Автономова).

Очень многие из оригинальных авторов XIX века начинали свой путь в русской литературе с сочинительства на других языках. Диапазон велик — тут и Пушкин, и Каролина Павлова. Но и в ситуациях, более далеких от перевода — в каких-нибудь "Подражаниях...", "С..." или "Из..." — речь шла не только о создании "литературной маски" или способах обойти цензурные рогатки, хотя и о них тоже. Притворяясь языковым заимствователем, поэт "занимал" у чужой культуры, вместе с языковой ситуацией, еще и ситуацию бытийственную, социальную, вырастая душою, что называется, по ходу чтения. Иные культуры могли заменить — и заменяли — этапы личного духовного становления: человек взрослел быстрее, чем это возможно лишь на собственном отдельном опыте. Культура вторгалась в жизнь не текстами — эквивалентом непрожитых в реальности, но *прожитых в чтении* лет. Лермонтов-поэт старше своих сверстников не только потому, что он гений, но и потому, что, читая, жил *дольше*...

В России не сложилось традиции прозаического перевода поэтических текстов — в таком виде они здесь не нужны, — и предложение Ильи Кормильцева перевести Гомера прозой (и шире — предложение "прозаизации" и "верлибризации" иных поэтик, сегодня актуальное) повисает, кажется, в воздухе: "...Поверьте мне на слово и на слух: от немецкого стиха в таком переводе ничегошеньки не остается. А уж о точности и говорить не приходится..." (Александр Белобратов).

Стоило *поэту* Вяземскому перевести "Адольфа" Констана, как в русской психологической прозе началась новая эпоха. Говоря о необходимости для переводчика быть хорошим *поэтом*, Александр Ревич, по сути, продолжает поднятую Вяземским тему.

На рубеже XIX и XX веков в России два противоположных подхода к переводу — верность "букве" и верность "духу" — приобрели характер творческих концепций. Споры между Бальмонтом и Брюсовым, Брюсовым и Волошиным, как показывают "Беседы...", все еще звучат, хотя современный молодой читатель не понимает, быть может, что этой нерешаемой, в общем-то, проблеме как минимум более двухсот лет.

В XX веке все стало значительно жестче, и перевод (благодаря, с

одной стороны, инициативам Максима Горького, а с другой — более поздней практической деятельности Георгия Шенгели в "Художественной литературе") оказался той "нишей", в которой литератор и особенно оригинальный поэт мог и выжить физически, и сохранить "формотворческий" огонь (эксперименты с формой, невозможные в советской литературе, "проходили" в зарубежной). В этой ситуации, между прочим, возникла блистательная переводческая плеяда (Сергей Шервинский, Семен Липкин, Аркадий Штейнберг, Арсений Тарковский — лишь несколько имен, взятых наугад, так сказать, снятых с верхушки айсберга). "Старшие вовлекали в это занятие молодых, а те — по любопытству и необходимости — изучали языки и вникали в особенности иноязычных поэтик и постигали возможности и тонкости российского стихосложения. <...> Переводческие удачи становились явлением отечественной словесности. Напоминали о свободе художественного волеизъявления и не давали забыть, что форма — не одежда содержания, но граница содержательности" (Вадим Перельмутер)[1].

Сроки и тогда поджимали; халтуру гнали и тогда; достаточно вспомнить статью Осипа Мандельштама "Потоки халтуры" (1929!) или забавный случай из жизни Юрия Левитанского. Когда его спросили, что такое счастье, он ответил: "Счастье — это три тысячи строк верлибром с подстрочника по рубль двадцать за строку". Кстати, отечественные верлибристы изначально утвердились именно как переводчики...

О проблемах перевода в советское время было написано множество замечательных книг: достаточно вспомнить Корнея Чуковского или Николая Любимова, упоминаемых в интервью. О том, что опальный Михаил Зощенко создал замечательное явление русской культуры — роман финского писателя Майю Лассила "За спичками", говорится во всех биографиях Зощенко. Аналогичный случай произошел с Юрием Домбровским, благодаря которому появился в русской литературе крупный казахский национальный поэт Ануар Алимжанов...

Все это лишь штрихи, некий предварительный конспект ответа на вопрос, почему положение с переводной литературой в России уникально. Сегодня, когда теоретические вопросы закрыты, потому что нерешаемы (решение определяет экзистенциальный выбор переводчика), "ниша" не нужна, но зато действуют механизмы рынка, обо всем этом следует говорить. Тем более при тираже "Бесед..." в 2000 экземпляров: цифра достаточная, чтобы книг хватило и на тех читателей, кто историю перевода в России представляет себе и без всяких пояснений, и на тех, кому, как говорится, "за двадцать".

...Чем же привлекает художественный перевод моих собеседников? Он дает не меньше возможностей для реализации, чем оригинальное творчество, это сказывается и в выборе текстов, и в работе с ними, хотя многое тут зависит и от переводчика, и от подлинника. Как в советское, так и в постсоветское время перевод для большинства моих собеседников становится оригинальным поэтическим/прозаическим высказыванием. Это занятие дает возможность легализоваться как в условиях цензуры, так и пережить собственный творческий кризис (а часто и выйти из него обновленным). Но главный мотив обращения к переводу — это любовь к литературе, к конкретному автору или тексту (Елена Калашникова).

Без любви нет хорошей литературы. Но любовь не заменяет и не исключает историю. Тем более любовь к литературе...

Вера Калмыкова

1. В. Перельмутер. Пушкинское эхо. Записки. Заметки. Эссе. — М.–Торонто: Минувшее, 2003.

У книжной витрины

с Михаилом Визелем

Не только Холмс. Детектив времен Конан Дойла (Антология викторианской детективной новеллы) / Пер. с англ; Сост. А. Борисенко, В. Сонькина; Предисл. А. Борисенко; Посл. С. Чернова. — М.: Иностранка, 2009. — 576 с. — 7000 экз.

Читатели "Иностранной литературы", можно сказать, присутствовали при рождении этой книги. Первые новеллы из числа вошедших в антологию были опубликованы на страницах посвященного Конан Дойлу тематического номера журнала (январь 2008 года). Но за год с небольшим проект разросся от трех рассказов до двадцати четырех и от журнальной подборки до внушительного, добротно стилизованного "под старину" тома с оригинальными, того времени, иллюстрациями, снабженного предисловием, послесловием и остроумно оформленным глоссарием. Последнее немаловажно: то, что нам сейчас неизвестны представленные авторы — само собой разумеется (они и на родине-то канули в Лету); но, как выясняется, о том, что такое "коридорный экспресс" или как выглядела "шкатулка для рукоделия", мы сейчас тоже имеем самое смутное представление.

Беназир Бхутто *Дочь Востока. Автобиография* / Пер. с англ. Юрия Балаяна. — СПб.: Амфора, 2009. — 527 с. — 5000 экз.

Эта книга — не из числа тех, что пишутся на склоне лет для подведения итогов. Она прямо задумывалась как политический и пропагандистский инструмент. Впервые она вышла в 1988 году, когда 35-летняя Бхутто возглавляла лондонскую оппозицию режиму Зии уль-Хака, убившему ее обожаемого отца (это издание было переведено и выпущено в СССР в 1991 году). Весною 2007 года, собираясь вернуться на родину из новой эмиграции, чтобы продолжить политическую борьбу, Бхутто дополнила свою книгу подробным рассказом о своем первом и втором премьерстве, о замужестве и о рождении ее трех детей. Понятно, что от такой книги такого автора трудно ждать объективности и отстраненности. Автору было что рассказать и что с негодованием отмести как "клевету". В декабре того же года неистовая Беназир погибла в теракте. Помня об этом, по-другому оцениваешь пышный мелодраматический стиль, которым Бхутто, настоящая дочь Востока, ведет повествование. Жизнь Беназир Бхутто и ее семьи действительно красочнее и трагичнее любой мелодрамы.

Том Стэндидж *История мира в шести стаканах* / Пер. с англ. Е. Лисовской и М. Леоновича. — Екатеринбург: У-Фактория, Харвест, 2008. — 320 с. — 3000 экз.

Под игровым названием скрывается вполне содержательное культурологическое исследование. Автор справедливо напоминает, что способность утолять жажду иными напитками, помимо воды (и материнского молока), есть такая же отличительная черта человеческой цивилизации, как и умение пользоваться речью и изготовлять орудия труда. Он предлагает разбить ее на шесть пе-

риодов. Примитивное слабое пиво из зерновых, появившееся с началом земледелия и распространенное в Древнем Египте. Натуральное виноградное вино — отрада средиземноморских цивилизаций. Крепкие спиртные напитки — ценный спутник в дальних путешествиях колониальной эпохи и освоения новых территорий. Кофе — незаменимое отрезвляющее подспорье ночных бдений с пером в руках и оживленных дискуссий века Просвещения. Чай — символ Британской империи. И, наконец, кока-кола — оселок и жупел глобализации. Подробность рассказа и остроумие приводимых сопоставлений помогает смириться с буквалистскими небрежностями перевода ("Кристофер Рен — *автор* собора Святого Павла") и с трогательным американоцентризмом автора. Так, например, он уверяет нас, что после открытия первого кафе "Старбакс" Сиэтл стал центром мировой кофейной культуры.

Хельмут фон Мольтке *Русские письма* / Пер. с нем. М. Некрасова. — СПб.: Издательство имени Н. И. Новикова, 2008. — 144 с. — 500 экз.

Мольтке-младший или Мольтке-племянник (1848–1916) — аристократ, фельдмаршал, военный теоретик, воплощение немецкого военного духа — во многом ответственного за развязывание Первой мировой. В корреспонденциях, которые он отправлял будучи в России с официальными миссиями в 1894–1903 годах, под непробиваемой вежливостью чувствуется сарказм и даже легкая брезгливость. А исторические персонажи предстают под придирчивым немецким моноклем в резком и неприглядном свете. Вот Мольтке-племянник подробно сообщает кайзеру слова Николая II: "Я не придаю газетам слишком много значения — ведь я знаю, как они делаются. Сидит там какой-нибудь еврей, который греет руки на том, что натравливает народы друг на друга, а народ — как правило, не имеющий собственного мнения о политике, — обманывается звонкой фразой. Поэтому я, покуда жив, ни в коем случае не освобожу русскую печать. Пусть русская печать пишет только то, что хочу я (и при этих словах Его Величество снова постучал указательным пальцем по столу), и во всей стране должна царить лишь моя воля".

Бен Элтон *Первая жертва* / Пер. с англ. Аллы Балджи. — М.: Иностранка, 2009. — 496 с. — 5000 экз.

Этот роман 2005 года на первый взгляд несколько необычен для Бена Элтона. Читатели успели привыкнуть, что успешный британский телекомедиант и либреттист в своих литературных произведениях берет некую современную тенденцию и показывает в гиперболизированной, гротескной форме ее потенциальную опасность. Опубликованный в № 4 "ИЛ" роман "Слепая вера" — яркий тому пример. Но действие "Первой жертвы" разворачивается на фронтах Первой мировой войны, а его главный герой — полицейский офицер, который по принципиальным соображениям отказывается от службы в армии, объявляется дезертиром и... исчезает, потому что британские спецслужбы уговаривают его заняться крайне щекотливым делом, связанным с поддержанием патриотического духа в застрявших в грязи войсках. Но тем не менее даже это "батальное полотно" направлено не в прошлое, а в будущее. Все герои пытаются понять: что́ есть правда? и что есть истина? Обнаруживая, что это далеко не одно и то же. Особенно на войне, где практически невозможно сказать с уверенностью, кто друг, а кто враг, что для твоей стороны хорошо, а что плохо. Это, конечно, не новость, но после террористических атак 11 сентября (проведенных не очень понятно кем) и военных кампаний в Афганистане и Ираке (проведенных не очень понятно зачем) эти вопросы снова стали очень острыми, прямо-таки "горячими".

Никколо Амманити *Как велит Бог* / Пер. с итал. Ольги Уваровой. — М.: Иностранка, 2009. — 592 с. — 5000 экз.

Еще один автор, памятный читателям журнала по публикации аж 1997 года. Тогдашний рассказ "Зоолог", смешная страшилка (по-другому не скажешь) про зомби, сделавшего блестящую академическую карьеру, несмотря на распространяемое им зловоние, показывал во всей красе литературное движение "Молодых каннибалов", в котором Амманити оказался одним из самых талантливых и успешных. С тех пор он повзрослел и посерьезнел. В его книгах стало меньше внешнего эпатажа (хотя он не растерял любви к гипернатурализму), и больше внутреннего напряжения, а их герои не только пьют, сквернословят и совершают мерзкие поступки, но и пытаются, как могут, ответить на "последние вопросы бытия". Таковы и персонажи романа "Как велит Бог" — озлобленные неустроенные неудачники между тридцатью и сорока, прозябающие на окраине маленького городка. В центре же повествования — 36-летний бывший "качок" с ухватками скинхеда Рино Дзена и его одиннадцатилетний сын Кристиано, которого Рино искренне любит и пытается на свой лад вырастить из него "настоящего мужчину". Их сложные отношения любви-ненависти, привязанности-отторжения, еще более осложненные тяжелыми проблемами, в которые они впутываются, делают книгу многослойной и заставляют по-другому прочесть ее название.

Эдвард Лир *Полный нонсенс!* / На англ. языке с параллельным русским текстом / Пер. Бориса Архипцева. — М.: изд-во журнала "Москва", 2008. — 288 с. — 500 экз.

Коломенский переводчик Борис Архипцев перевоссоздал полный корпус маленьких шедевров английского чудака-абсурдиста. Конечно, это не первый опыт перевода лировских лимериков на русский язык; что отличает Архипцева от предшественников — это фантастическая точность, во всем. От сохранения стихотворного размера и географических реалий (которыми часто жертвовали ради каламбурных рифм — для Архипцева это все равно что написать "На холмах *Швеции* лежит ночная мгла...") до сохранения графического "облика" стихотворения с "талией" посередине — напоминающего переводчику "фигурку изящной девушки". При этом ему счастливым образом удается практически повсеместно избегать натужности и "переводизмов". Пожалуй, за счет единственной вольности, которую он себе позволяет, причем сознательно, — "подгонки" слов: "Оседлал старикашка из Уэра / Медведястого дикого зверя". Книги, подобные этой, делаются не по контракту, а по искренней и бескорыстной любви. Борис Архипцев отдал этой любви шестнадцать лет.

Иэн Макьюэн *Первая любовь, последнее помазание* / Пер. с англ. Василия Арканова. — М.: Эксмо, Домино, 2009. — 256 с. — 6000 экз.

Дебютная — 1975 года — книга английского писателя, который теперь, по мнению издателей, достиг статуса, позволяющего предложить русскому читателю этот авторский сборник рассказов о "мелочах английской жизни" — любовь и секс, обыденности и странности. Впрочем, точнее сказать — "о подробностях английских стилей", которые 28-летний филолог и начинающий сочинитель в этой книге пробует, примеряет и отбрасывает. Не случайно имя переводчика вынесено на обложку крупными буквами. Собкор НТВ в США Василий Арканов уже перевел два романа Джонатана Фоера, полных игры с говорами, сленгами, неправильностями. И его Макьюэн тоже звучит довольно непривычно.

Non-fiction

с Алексеем Михеевым

Вечером 27 декабря Беназир Бхутто направлялась на предвыборный митинг в Равалпинди. <...> Ее внедорожник медленно двинулся сквозь толпу, Беназир стояла в машине, высунувшись в потолочный люк, махала рукой окружавшим автомобиль членам партии.

Раздались несколько выстрелов, в Беназир попали две или три пули, она рухнула в машину, и тут рядом взорвалась бомба террориста-самоубийцы. <...> Беназир Бхутто, первую женщину, избранную на пост премьер-министра исламской страны, доставили в главную больницу Равалпинди, где врачи констатировали ее смерть. <...> Она погибла в возрасте 54 лет.

Эти строки из "Эпилога" Марка Зигеля к автобиографии популярнейшей пакистанской женщины-политика написаны в Вашингтоне спустя всего две недели после ее трагической гибели в конце 2007 года. Впервые автобиография **Беназир Бхутто** под названием *Дочь Востока* была опубликована в 1988 году, еще до того как она впервые стала премьер-министром Пакистана в возрасте 35 лет; дополненное же издание, стало, увы, посмертным. А в 2009 году вышел русский перевод *Дочери Востока* (пер с англ. **Ю. Балаяна**. – СПб.: Амфора. ТИД Амфора. – 527 с. Серия "Действующие лица").

Книга эта во многом разрушает стереотипы, связанные с нашим представлением о месте женщины в мусульманском обществе. Перед нами действительно парадокс: мы привыкли к традиционному образу восточной "женщины в чадре", которая – по сравнению с женщинами европейскими, "цивилизованными" – ущемлена в гражданских правах и ограничена в личных свободах, а Беназир Бхутто в этот стереотип совершенно не вписывается. Можно, конечно, сказать, что ее случай уникален – ведь она была прежде всего публичным политиком; однако дело как раз в том, что женщина в этой роли выступила в азиатской стране тогда, когда и для "продвинутой" Европы "премьерство" женщины было скорее экзотикой.

Впрочем, и здесь есть свои нюансы: например, брак Бхутто с Асифом Зардари был (как пишет сама Беназир) союзом, заключенным не по любви, а по расчету, – что вполне соответствует стереотипным представлениям о мусульманских браках. Ну а главное здесь – безусловно, то, что Беназир Бхутто была не просто оппозиционным политиком, а прежде

1. За предоставленные для обзора книги Беназир Бхутто, Симоны де Бовуар и Катрин Милле автор благодарит магазин "Фаланстер".

де всего представителем влиятельного клана: ведь правительство Пакистана ранее возглавляли и ее дед, Шах Наваз Бхутто, и отец — Зульфикар Али Бхутто. И именно убийство отца диктатором Зия уль-Хаком в 1979 году фактически и сделало ее главной фигурой оппозиции — в силу того, что в глазах народа Беназир стала прямой продолжательницей дела харизматического лидера нации. И в этом, конечно, есть специфически азиатский момент: принадлежность к клану становится здесь чуть ли не главным фактором успешности политика — а эта успешность, в свою очередь, делает политика в буквальном смысле мишенью со стороны врагов клана (достаточно вспомнить параллельную историю семейства Ганди в Индии — с последовательными убийствами Индиры и ее сына Раджива).

Беназир Бхутто прекрасно осознавала ту роль, которая выпала на ее долю. *Не я выбирала эту жизнь, она сама выбрала меня,* — пишет Бхутто. И этот выбор она воспринимала со спокойным стоицизмом, не уклоняясь от возможных ударов судьбы. Годы, проведенные на Западе (образование в Гарварде и Оксфорде), сменились годами тюремного заключения в Пакистане; за ними, в свою очередь, последовали *годы ссылки* в Англии и Франции. И все же Бхутто вернулась в свою страну, чтобы продолжить политическую борьбу; сразу же, в октябре 2007-го, стать жертвой теракта, — а спустя всего лишь два месяца вновь бесстрашно подставить себя под пули террориста.

Европейский же тип современной — эмансипированной и творческой — женщины представлен в мемуарной книге известной французской писательницы **Симоны де Бовуар** (1908 — 1986) *Сила обстоятельств* (пер. с фр. **Н. Световидовой**. — М.: "ИД "Флюид", 2008. — 496 с. Серия "Роман с жизнью"); ранее в отечественных текстах название этих мемуаров переводилось как *Сила вещей.* Книга продолжает первые две части мемуаров Симоны де Бовуар (*Воспоминания благовоспитанной девицы* и *В расцвете сил*), охватывая период с

конца 40 до начала 60-х годов (французское издание вышло в 1963-м).

Симона де Бовуар принадлежала к той части французской интеллигенции, которая всегда придерживалась оппозиционных взглядов — а "оппозиционный" означало прежде всего "левый", антибуржуазный. Однако оппозиционность эта вовсе не подразумевала прямого личного участия в политической борьбе, а традиционно выражалась в специфически интеллектуальных формах.

Симона де Бовуар была постоянной подругой одного из самых известных "интеллектуальных оппозиционеров", Жана Поля Сартра, — и именно Сартру посвящены многие страницы ее воспоминаний. Сартра она сопровождала в его "идеологических" поездках по миру — от России до Кубы, вместе с Сартром делила "левацкие" симпатии к Советской России и "красному" Китаю (при этом позитивная в целом оценка советской альтернативы капитализму сочеталась с опасениями по поводу возможной оккупации Европы Советским Союзом — этого, оказывается, реально боялись в конце 40-х). Однако главной для Симоны де Бовуар оставалась все же собственная

творческая деятельность, свой писательский труд: так, довольно много места она уделяет воспоминаниям о работе над романом *Мандарины*, получившим в 1954 году Гонкуровскую премию.

Несмотря на долгий и стабильный союз с Сартром, их отношения были более чем нетривиальными и носили скорее творчески-дружеский характер; и каждый не скрывал своих личных эмоциональных привязанностей, возникавших за рамками этого союза. В книге часто упоминается подруга Сартра, М., с которой тот проводил много времени; сама же Симона де Бовуар была влюблена в американского писателя Нельсона Олгрена и несколько раз ездила к нему в Чикаго (подробно их роман описан в изданной в 1997 году книге *Трансатлантическая любовь. Письма Симоны де Бовуар к Нельсону Олгрену. 1947–1964 гг.*; фрагменты книги публиковались в "ИЛ", 1998, № 7).

Личная свобода женщины — это один из основных концептов "феминизма", проблемам которого была посвящена вышедшая еще в 1949 году книга Симоны де Бовуар *Второй пол* (глава из нее публиковалась в "ИЛ", 1993, № 3). И именно этот факт вынудил автора объясняться перед читателями *Силы обстоятельств* за такого рода мемуарные фрагменты: *Был в моей жизни несомненный успех: мои отношения с Сартром. За более чем тридцать лет мы один лишь раз заснули в размолвке.* <...> *Позади у нас нераздельный запас воспоминаний, знакомств, образов; для познания мира мы располагаем одними и теми же средствами, представлениями, объяснениями: очень часто один заканчивает фразу, начатую другим, если нам задают вопрос, то нам случается вместе давать одинаковые ответы.* <...> *Наши темпераменты, помыслы, предшествующий выбор не совпадают, и произведения наши мало похожи, но произрастают они на одной почве.* <...>

Я сохранила свою независимость, — пишет Симона, — *ибо никогда не перекладывала на Сартра свою ответственность: я не приняла ни одной идеи, ни одного решения, не проверив их критически в применении к самой себе.* <...> *Он мне помог, я тоже ему помогла. Но жизнь я воспринимала не через него.* И именно такой "неодномерной" рефлексией прежде всего и интересна *Сила обстоятельств* Симоны де Бовуар.

Катрин Милле
ДАЛИ и Я

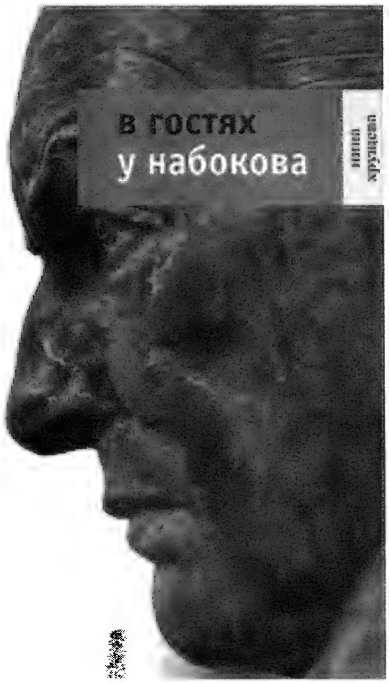
За минувшие полвека французский феминизм эволюционировал достаточно радикально, добравшись до своих "экстремальных" форм. Пример тому — тексты известного парижского художественного критика **Катрин Милле**. Сверхпопулярной эта специалистка по современному искусству Франции стала после выхода в свет ее книги *Сексуальная жизнь Катрин М.*, откровенной исповеди об интимных сторонах жизни автора. В 2005 году вышла очередная книга Милле, *Дали и я*; в 2008 году она была переведена на русский (пер. с фр. **Галины Соловьевой**. — СПб.: Лимбус Пресс, ООО "Издательство К. Тублина". — 232 с.).

Обычно название, выстроенное по такой модели ("Некто и я") предполагает, что речь не в последнюю очередь пойдет о личных отношениях автора и его героя. Однако здесь перед нами связь совершенно иного рода. Катрин Милле в причудливом коктейле смешивает два основных аналитических приема ее предшествующих книг: искусствоведение и ин-

тимную исповедь. Соответственно и Дали выступает здесь в двойном качестве: и как автор живописных работ, которые можно толковать достаточно двусмысленно (чем собственно, Милле и занимается), и как эксцентричная личность, сознательно эпатирующая окружение своими маргинальными практиками (которые Милле анализирует не менее тщательно, нежели живописные полотна классика сюрреализма). При этом главным объектом анализа остается, по сути, сам автор: повествование выстраивается таким образом, что за фигурой Дали явственно просматривается сама Катрин Милле: формальное искусствоведение становится здесь поводом для продолжения рефлексии над собственными переживаниями и ощущениями.

Понимание субъективных и зачастую глубоко скрытых связей, соединяющих нас с произведением искусства, есть наилучший путь к его объективному пониманию, — пишет Милле. — *Когда пускаешься в толкование собственных фантазмов, то необходимо подыскивать верные слова.* <...> *И если этот самоанализ обращен на внешний объект, этот последний подвергается столь же тщательному изучению и появляются неплохие шансы, что возникшая в итоге истина одновременно осветит и объект (произведение искусства), послуживший пробным камнем.*

По сходной модели ("Некто и я") выстроена и книга профессора Университета Новой Школы (Нью-Йорк) **Нины Хрущевой** *В гостях у Набокова* (М.: Время, 2008. — 176 с.; книга написана на базе курса лекций, прочитанных на журфаке МГУ в 2001 году). И здесь автор пытается выразить себя через идентификацию с героем, хотя порой это выглядит скорее наивно:...*в 1999 году* <...> *"Независимая газета", желающая проявить уважение к знаменитому соотечественнику, попросила написать о выставке "Набоков под стеклом" в Нью-Йоркской публичной библиотеке. На выставке было много интересного, но больше всего меня потрясли его записные книжки.* <...> *Они тянули меня к себе, посмотреть, проверить, убедиться: не может быть, я – как Набоков! Это же мои записки, не содержание, упаси Боже! – я не Набоков! Но, как и в его блокнотах, моя фраза, начатая по-английски, тоже переходит в русскую...* Здесь автор вовремя останавливает собственную "гиперидентификацию" (я — Набоков!), однако слово "тоже" выдает латентное стремление хоть в чем-то все-таки "пересечься" с гением.



По материалам зарубежной прессы

DANIEL KEHLMANN *Ruhm* — Berlin: Rowohlt, 2009. — 208 S.

Третий роман молодого и популярного немецкого писателя Даниэля Кельмана "Слава" состоит из девяти новелл, объединенных общим мотивом: тем, как люди "оказываются забыты, исчезают, теряют себя, растворяются", — так это сформулировал сам автор в интервью, взятом у него журналом "Шпигель". Герои Кельмана попадают в странные ситуации, вызывающие в памяти книги Кафки и "магических реалистов": один персонаж получает новый телефонный номер, которым, как выяснилось, пользуется другой человек, и начинает выдавать себя за него, другая героиня едет в Азию в деловую поездку и теряется там навсегда, третий участвует в конкурсе двойников самого себя и обнаруживает, что его собственное место уже занял двойник, а по его телефону отвечает кто-то другой — читатель уже догадывается, кто. Писателя волнует роль в жизни странного случая, события, не обусловленного никакими причинами и не несущего смысл.

Роман "Слава" удостоился высокой оценки немецких критиков. Фолькер Хаге на страницах "Шпигеля" утверждает, что текст соединен сетью незаметных связей, пронизывающих отдельные истории; Ина Хартвиг в "Франкфуртер рундшау" указывает на то, что автор придерживается "старомодной концепции человека", его героями движут "желания и конфликты"; Генрих Детеринг в "Франкфуртер альгемайне" называет Кельмана последователем Пинчона, Т. Манна, Набокова и Борхеса и награждает его эпитетами "современный романтик" и "рассказчик-философ".

STÉPHANE AUDEGUY *Nous autres.* — P.: Gallimard, 2009. — 256 p.

STÉPHANE AUDEGUY *In memoriam.* — P.: Gallimard, 2009. — 113 p.

Произведения многообещающего французского писателя, как характеризуют Стефана Одеги литературные критики издания "Матрикюль дез анж", неоднократно фигурировали в коротких списках самых престижных литературных наград. Его первый роман "Теория облаков" вышел в 2005 году и сразу же привлек внимание публики своим необычным героем: японским кутюрье, увлекающимся облаками, а второй, "Единственный сын, или Вымышленная жизнь брата Жан-Жака Руссо", был отмечен премией "Дё маго". Герой новой, вышедшей в январе, книги "Мы другие" на первый взгляд вполне зауряден: Пьер, молодой парижский фотограф, — однако ему предстоит совершить необыкновенное путешествие в Африку, в Найроби, чтобы забрать из морга и предать земле тело отца, с которым Пьер практически не общался.

Африка станет для Пьера местом открытий: оказывается, отец был выдающимся человеком — положил жизнь на борьбу с нищетой в бидонвилях; а Кения — страна, построенная на костях рабочих, прокладывавших железную дорогу, которая должна была связать Индийский океан с озером Виктория. Главное достоинство этой виртуозно написанной книги, как утверждает обозреватель издания "Нувель обсерватёр", не только в том познавательном путешествии, в которое каждый читатель может отправиться, не выходя из дома, но и в том, что автор, предлагая взглянуть на Кению глаза-

ми своего героя-фотографа, сумел выявить и обрисовать безумства современного мира. Причем ясно, что мир этот не только африканский ("Кения – это везде", – пишет Стефан Одеги), он наш – жестокий, несправедливый, преступный... и в то же время в нем всегда отыщется островок надежды, любви и человечности.

Если в романе "Мы другие" смерть была лишь поводом рассказать историю, то в эссе "In memoriam", вышедшем в феврале 2009 года, смерть – центральная тема. Под одной обложкой Одеги собрал забавные истории о людях и не только, известных и не очень, вернее, о том, как они умерли. По мнению книжного обозревателя канала "Франс-3", Стефану Одеги достаточно нескольких остроумных фраз, чтобы сплести похоронный венок своим героям, среди которых Мари Кюри, Мэрилин Монро, собака Лайка, Элвис Пресли и Людовик XVI, капитан Кук, Распутин и Теннесси Уильямс. Так, например, в память об известном французском микробиологе и химике Луи Пастере автор пишет: "В 1892 году в возрасте 70 лет Пастер регулярно делал себе инъекции тестикулина (вытяжки из бычьих яиц), в эффективность которого верил до самой смерти – она не заставила себя долго ждать".

JONATHAN LYONS *The House of Wisdom. How the Arabs Transformed Western Civilization.* – London: Bloomsbury, 2009. – 272 p.

В своей книге "Дом мудрости" английский историк Джонатан Лайонз показывает, как арабская культура сохранила главнейшие элементы античного знания и вновь открыла их для Европы. В то время как средневековый Запад отказался от античной науки, арабский Восток воодушевленно исследовал природу и человека.

Завоевав Междуречье, арабы получили доступ и к эллинистической, и к индийской науке – двум живым и плодотворным исследовательским традициям. Основав "Бейт аль-Хикма" – Дом мудрости, библиотеку и одновременно научный институт, – багдадские халифы велели его служителям беречь знания предков и приумножать их. И только через несколько столетий европейские ученые осознали, что новые открытия и достижения возможны только с помощью накопленного и сохраненного мусульманами. Даже основная научная терминология западных языков – арабская: алгебра, алгоритм, зенит, цифра...

Писатель и востоковед Уильям Долримпл называет книгу Дж. Лайонза захватывающей и подчеркивает, что такое популярно изложенное исследование будет очень востребовано. В том же духе обозреватель газеты "Гардиан" Джеймс Бьюкен замечает, что взвешенный взгляд на арабо-мусульманскую культуру особенно актуален в наши дни, когда в мире столь часто звучат лозунги об "исламской угрозе". Выводы критиков подтверждают и высокие продажи книги "Дом мудрости" в Великобритании.

DANIÈLE SALLENAVE *Lirons-nous demain?* – P.: Gallimard, 2009. – 160 p.

Преподаватель литературы, переводчица с итальянского (Паоло Пазолини и Итало Кальвино), писательница, исследовательница Даниэль Сальнав выпустила книгу, в которой размышляет над актуальнейшим вопросом, вынесенным в заглавие: "Будем ли мы читать завтра?" В этой книге Сальнав анализирует свой многолетний опыт работы с молодежью в школах и лицеях своей страны – Франции.

В интервью изданиям "Магазин литерер" и "Монд" автор книги рассказала, что ее главная задача – помочь молодым преподавателям привить вкус к чтению ученикам: "Не только встречи с ныне живущими писателями вызывают у детей желание читать книгу. Ведь умерших писателей искать стоит не в могилах, а в написанных ими книгах. Книги –

живые, причем старые не меньше новых. Вот что надо говорить ученикам".

Наряду с вопросами профессиональными, педагогическими, в книге "Будем ли мы читать завтра?" автор касается и вопросов социальных: вытеснит ли публицистика художественную литературу, а развлекательная литература — серьезную; каково будущее печатной книги и в чем преимущества и недостатки (культурологического порядка) книги электронной; позволяет ли Интернет читать больше и качественнее. Завершая интервью, Даниэль Сальнав выразила отношение к всеобщей проблеме нехватки времени на чтение: "Если читать станет насущной потребностью, приоритетом, то время найдется обязательно. Правда, в условиях сегодняшнего дня это предполагает глубокую перестройку наших привычек, ведь зачастую нами движет желание потреблять и моментально получать удовольствие. Возможно, финансовый кризис, существенно сокративший нашу покупательную способность, заставит нас поразмышлять о самом идеале потребления?"

SANTOS JULIÁ *Vida y tiempo de Manuel Azaña* (1880—1940). — Madrid: Taurus, 2008. — 344 p.

Новую книгу историка Сантоса Хулиа "Жизнь и время Мануэля Асаньи", вышедшую в самом конце 2008 года в мадридском издательстве "Таурус", критики в один голос называют "долгожданной и нужной". Мануэль Асанья — военный министр (1931), премьер-министр (1931—1936), президент Второй республики (1936—1939), талантливый писатель, в 1926 году удостоившийся Национальной премии по литературе за свой роман "Жизнь дона Хуана Валеры", переводчик, литературный критик, публицист и эссеист — одна из ключевых фигур испанской истории первой половины XX века. Неудивительно, что его деятельность и творчество привлекали внимание самых разных исследователей. Однако последние, как правило, уделяли внимание лишь какой-то одной из сторон его жизни, что и попытался исправить в своей новой книге Сантос Хулиа, уже выпустивший несколько работ, посвященных отдельным этапам политической и писательской карьеры президента.

На страницах биографии Асанья предстает не только как политик или писатель, но и как человек со сложным специфическим характером, собственной системой взглядов и принципов, оригинальной эстетикой. Так, мы узнаем, например, что последовательный республиканец, ярый антиклерикал, реформатор Асанья был до странности аскетичным и застенчивым человеком. "Главная тема книги Хулиа, — пишет обозреватель газеты 'Паис', — не испанская политика 1900—1939 гг., а Мануэль Асанья, его интеллектуальная эволюция, его личность и те идеалы, которые он защищал на протяжении всей своей жизни".

GÜNTER GRASS *Unterwegs von Deutschland nach Deutschland. Tagebücher 1990.* — Göttingen: Steidl, 2009. — 256 S.

Новые книги Гюнтера Грасса неизменно привлекают внимание немецких читателей и критиков. Так случилось и с его дневниками 1990 года, которые он вел во время поездок по воссоединенной Германии в составе предвыборного штаба социал-демократов. К двадцатилетию объединения страны писатель решил издать эти дневники, за которые тогда взялся, отложив все свои литературные планы на потом. Название книги в полной мере отражает ее содержание — "По пути из Германии в Германию".

Еще до объединения ГДР и ФРГ Гюнтер Грасс не раз выражал опасения насчет того, насколько безболезненно этот процесс пройдет. В дневниках 1990 года писатель высказался на эту тему более развернуто. Его позиция стала повсеместно известна в Германии из выступлений и текстов на политические темы и сейчас уже

не воспринимается как новость; тем не менее в изложении самого Грасса "образца" 1990 года она безусловно интересна читателям.

Стоит отметить, что немецкая критика принимает новую книгу в целом прохладно. В то же время, например, на "Немецкой волне" отмечалось, что Грасс предстает в книге семьянином, заботливым отцом и "ремесленником", стремящимся заниматься полезной деятельностью. Однако общий тон рецензий скорее ироничный: так, обозреватель "Франкфуртер альгемайне" Нильс Минкмар шутливо возражает Грассу, замечая, что с падением социалистического блока индийская литература не пришла в забвение, раз ее больше не печатало восточногерманское издательство "Реклам", и что ценимая Грассом свобода передвижения ("Я скорее цыган", — говорит об этом сам писатель) стала возможна в восточных землях только после падения стены. Кроме того, один пассаж из дневников 1990 года вызвал удивление всех критиков: упоминая встречу антифашистов, организованную Эли Визелем, Грасс замечает, что среди собравшихся было слишком много евреев. Н. Минкмар вспоминает описанные в "Луковице памяти" годы детства писателя в "юнгфольке"[1] и приходит к выводу: "Приобретенный в юности антисемитизм нелегко вытравить даже с возрастом".

Подготовили А. Лешневская, Е. Полетаева, И. Мокин

1. См. "ИЛ", 2008, № 3.

Роберт Най
Robert Nye
[р. 1939]. Шотландский прозаик, поэт, драматург, критик. Член Королевского литературного общества.

Автор романов *Сомнительный пожар* [*Doubtfire*, 1967], *Фальстаф* [*Falstaff*, 1976], *Странствия Судьбы* [*The Voyage of the Destiny*, 1982; рус. перев. 1986], *Покойный г-н Шекспир* [*The Late Mr. Shakespeare*, 1998; рус. перев. 2007] и др., сборников рассказов и книг для детей, книги стихов *Собрание стихотворений* [*Collected Poems*, 1995] и др. Роман публикуется по изданию *Mrs. Shakespeare* [London: Souvenir Press, 1993].

Антонио Порпетта
Antonio Porpetta
[р. 1936]. Испанский поэт, эссеист. Лауреат премий Пабло Неруды, Хосе Йерро и др.

Автор книг стихов *По горячей тропе* [*Por un cálido sendero*, 1978], *След пепла* [*La huella de la ceniza*, 1980], *Тетрадь приближений* [*Cuaderno de los acercamientos*, 1980], *Мысли об удивительном* [*Meditación de los asombros*, 1981], *Уже запылали сандалы* [*Ardieron ya los sándalos*, 1982], *Клавикорд перед зеркалом* [*El clavicordio ante el espejo*, 1984], *Поруганные столетья* [*Los siglos violados*, 1985], *Территория огня* [*Territorio del fuego*, 1988], *Декада бессонницы* [*Década del insomnio*, 1980–1990], *Краткая антология для студентов* [*Antología breve para los estudiantes*, 1992], *Средиземноморское адажио* [*Adagio mediterráneo*, 1997] и др. На русском языке вышла книга А. Порпетты *Клавикорд перед зеркалом* [1998] в переводе Павла Грушко.
Публикуемые стихи взяты из разных книг.

Недим Гюрсель
Nedim Gürsel
[р. 1951]. Турецкий прозаик, эссеист, литературовед, лауреат многих литературных премий.

Автор романов *Богазкесен. Роман о Завоевателе* [*Boğazkesen. Fatih Roman?*, 1995], *Дочери Аллаха* [*Allah'ın Kızları*, 2008], сборников рассказов *Любовь после полудня* [*Öğleden Sonra Aşk*, 2002], *Дедуля* [*Cicipapa*, 2002] и др. Его произведения переведены на 12 языков.
Рассказы взяты из сборника *Любовь после полудня* [*Öğleden Sonra Aşk*. Istanbul: Doğan Kitapçilik, 2002], эссе – из книги *Добраться бы живыми* [*Sağ Salim Kavussak*. Istanbul: Doğan Kitapçilik, 2004].

Эдвард Лир
Edward Lear
[1812–1888]. Английский поэт и художник.

Автор *Книги нонсенса* [*A Book of Nonsense*, 1846]. На русском языке его стихи публиковались в различных антологиях в переводах Самуила Маршака, Григория Кружкова и др. В 2008 г. на рус. языке вышла книга *Полный нонсенс!* в переводе Б. Архипцева. В *ИЛ* опубликована подборка его лимериков [1982, №3], а также краткая биография и лимерик *There Was a Young Lady of Russia* в рубрике *Вглубь стихотворения* [2003, № 3].

Дмитрий Юрьевич Веденяпин
[р. 1959]. Поэт и переводчик поэзии и прозы.

Автор книг стихов *Покров* [1993] и *Трава и дым* [2002]. В его переводах публиковались стихи англоязычных, немецких, французских, фламандских поэтов, а также сборники рассказов И. Б. Зингера *Последняя любовь* [1999], *Страсти* [2001] и *Каббалист с Восточного Бродвея* [2003]. В *ИЛ* напечатаны его переводы романов М. Каннингема *Дом на краю света* [1997, № 8–9] и *Часы* [2000, № 9], Б. Чатвина *Утц* [2005, № 4], рассказы И. Б. Зингера [2003, № 5], А. Миллера [2005, № 10], стихи Ч. Симика [2003, № 1], В. Шимборской [2003, № 5], А. Дагена [2004, № 4], М. Светлицкого [2006, № 8], Т. Кинселлы [2007, № 6], Ю. Комуняки и Л. Эмануэль [2007, № 9].

Борис Николаевич Хлебников
[р. 1943]. Переводчик с немецкого, французского и английского языков, журналист, публицист. Лауреат премии *Инолит* [2003], премии имени Жуковского [2006].

В его переводе публиковались немецкие народные песни и баллады, песни Ж. Брассанса, стихи У. Дж. Смита и Р. Фроста. В *ИЛ* напечатаны его переводы стихов Х. Вадера [1985, № 6], Э. Фрида [1987, № 10], Г. Грасса [1983, № 10; 1988, № 4], повести *Чужой друг* К. Хайна [1987, № 1], романов *Книга царя Давида* [1990, № 4, 5] и *Агасфер* С. Гейма [1994, № 9], новеллы *Траектория краба* Г. Грасса [2002, № 10], статья *Феномен Грасса* [2007, № 1], главы из книги *Луковица памяти* Г. Грасса [2008, № 3] и др.

Петр Львович Вайль
[р. 1949]. Журналист и писатель. Лауреат премии фонда *Знамя* [1994, 1996], премии имени А. Карельского [1996], *зоИЛ* [1998] и др.

Автор книг *Родная речь* [1990; в соавторстве с А. Генисом], *Гений места* [1999], *Русская кухня в изгнании* [2002; в соавторстве с А. Генисом], *Стихи про меня* [2006], *Карта родины*[2007] и др.
Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

Леонид Гиршович
[р. 1948]. Русский писатель, музыкант. В начале 70-х эмигрировал в Израиль, позже переехал в Германию, в настоящее время работает в оркестре Ганноверской оперы. Финалист Букеровской премии [1999].

Автор романов *Перевернутый букет* [1978], *Обмененные головы* [1995], *Бременские музыканты* [1997], *Прайс* [1998], *Цвишен ям унд штерн. Быт и нравы гомосексуалистов Атлантиды* [2001], *Суббота навсегда* [2001] и др. В *ИЛ* публиковались его статьи *Об уличном музицировании как следствии высокопрофессионального обучения детей музыке* [2005, № 2], *Запад есть Запад* [2006, № 5] и *Квадратура круга?* [2006, № 12].

Вера Владимировна Калмыкова
Поэт, филолог, кандидат филологических наук. Главный редактор издательства *Русский импульс*.

Автор поэтической книги *Первый сборник* [2002], книг по истории искусства и истории литературы, в том числе *Венецианская живопись XV–XVI вв.* [Белый город, 2008], *XIX век. Национальные школы* [в соавторстве с В. Темкиным; Белый город, 2008]; принимает участие в издании словарей, энциклопедий и других справочных изданий по вопросам теории и истории литературы. Постоянно печатается в журналах *Нева*, *Октябрь*, *Юный художник*, в одесском альманахе *Дерибасовская-Ришельевская* и др.

Михаил Яковлевич Визель
[р. 1970]. Книжный обозреватель, музыкальный критик, колумнист, издатель, переводчик с итальянского.

Создатель интернет-проекта *Невидимые города on-line* по роману Итало Кальвино [calvino.lib.ru]. В его переводе вышли два романа Дж. Куликкьи и сборник газетных заметок У. Эко.
В *ИЛ* напечатан его перевод рассказа П. В. Тонделли *Тоже либертины* [2008, № 10].

Алексей Васильевич Михеев
[р. 1953]. Кандидат филологических наук. Лауреат премии *Человек книги* в номинации *Редактор* [2004].

В его переводе с польского напечатаны пьеса С. Мрожека *Портной* [*Суфлер*, 1995, № 4] и повесть Г. Херлинга-Грудзинского *Белая ночь любви* [*ИЛ*, 2000, № 8]. В *ИЛ* также неоднократно публиковались его статьи. Постоянный ведущий рубрики *Информация к размышлению*.

Александра Юрьевна Лешневская
Переводчик с французского и английского языков. Аспирант ИВГИ РГГУ.

В *ИЛ* опубликованы ее статьи *Три "Гранде"* [2008, № 4], *"Казнить нельзя помиловать"* [2008, № 12], перевод фрагмента пьесы *Обратная сторона Луны* Робера Лепажа [2008, № 11] и фрагмент романа *Благовольительницы* Дж. Литтелла [2009, № 5].

Евгения Александровна Полетаева
Литературовед-испанист, преподаватель кафедры романской филологии РГГУ, аспирант кафедры сравнительной истории литератур РГГУ.

Специалист по европейской средневековой литературе, автор статьи *Функция авантюры в испанском рыцарском романе* [Вестник РГГУ, 2009, № 2]. Автор заметок в рубрике *По материалам зарубежной прессы.*

Игорь Викторович Мокин
[р. 1986]. Переводчик с английского и скандинавских языков, преподаватель. Аспирант филологического факультета МГУ.

В *ИЛ* опубликован его перевод рассказа Р. О. Фримена *Послание со дна моря* [2008, № 1] и фрагментов книги Д. Рескина *Современные художники* [2009, № 1].

Переводчики

Елена Суриц [Елена Александровна Богатырева]
Переводчик с английского, немецкого, французского и скандинавских языков. Лауреат премии *Инолит* [1994], премии *Единорог и Лев* [2006], премии *Мастер* [2007].

В ее переводе издавались романы Дж. Остин, У. Голдинга, Дж. Стейнбека, С. Беллоу, Д. Томаса, Р. М. Рильке, К. Гамсуна, пьесы А. Стриндберга, Э. Ионеско, сценарии И. Бергмана и др. В *ИЛ* в ее переводе печатались романы *Я в замке король* С. Хилл [1978, № 1—2], *Миссис Дэллоуэй* [1984, № 4], *Орландо. Биография* [1994, № 11], *Волны* [2001, № 10] и *Между актами* [2004, № 6] В. Вулф, *Мастер Джорджи* [2001, № 7] и *Согласно Куини* [2004, № 12] Б. Бейнбридж, *Пир* [2005, № 12] и *Не беспокоить* [2008, № 9] М. Спарк, *Море* Дж. Бэнвилла [2006, № 10], и др.

Наталья Юрьевна Ванханен
Поэт, переводчик с испанского. Лауреат премии *Инолиттл* [2000].

Автор книг стихов *Дневной месяц* [1991], *Зима империи* [1998]. В ее переводе публиковались стихи испанских и латиноамериканских поэтов А. Мачадо, Х. Р. Хименеса, Ф. Гарсиа Лорки, А. Сторни и др. Неоднократно публиковалась в *ИЛ*.

Марина Георгиевна Букулова
Тюрколог, кандидат филологических наук.

В ее переводе публиковались произведения современных турецких поэтов. В *ИЛ* напечатан ее перевод рассказа О. Памука *Смотреть из окна* [2006, 12] и стихов Т. Таньола [в соавторстве с Г. Арсеньевым; 2008, № 7].

Антон Викторович Нестеров
[р. 1966]. Переводчик с английского и норвежского языков, критик, кандидат филологических наук. Лауреат премии *Инолиттл* [2002].

В его переводе публиковалась проза М. Брэдбери, А. Конан Дойла, Дж. Донна, У. Б. Йейтса, А. Мейчена, А. А. Милна, Ч. Симика, Э. Паунда, М. Элиаде, У. Т. Воллманна, романы Т. Пратчетта *Угонщики*, Т. Фишера *Философы с большой дороги* и др., стихи Ага Шахида Али, Л. Глик, Дж. Грина, А. Дагена, Дж. Моррисона, Э. Паунда, У. Рэли, Л. Ферлингетти и др. Составитель, переводчик и комментатор тома прозы Дж. Донна *По ком звонит колокол* [2004], автор работ по английской поэзии рубежа XVI—XVII вв. Выпустил книгу стихов *Сон рыбы подо льдом* [2002]. В *ИЛ* неоднократно публиковались его переводы и статьи.

Григорий Михайлович Кружков
[р. 1945]. Поэт, переводчик, литературовед. Лауреат премии *ИЛлюминатор* [2002] и Государственной премии по литературе [2003].

Автор шести сборников стихов [последний — *Новые стихи*, 2008]. В его переводах вышли книги У. Б. Йейтса *Избранное* [2001], У. Стивенса *Тринадцать способов нарисовать дрозда* [2002], Дж. Китса *Гиперион и другие стихотворения* [2004], Дж. Донна *Алхимия любви* [2005], сборники *Книга NONсенса* [2000], *Лекарство от Фортуны* [2002], *Единорог* [2003], *Поэты английского Возрождения* [2006], *Пироскаф. Из английской поэзии XIX века* [2008] и др. В 2003 г. вышла книга избранных переводов *Англасахаб: 115 английских, ирландских и американских поэтов*. Неоднократно печатался в *ИЛ*.

RINET
Internet Service Provider

ИНТЕРНЕТ
ПО ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ ВЫДЕЛЕННЫМ ЛИНИЯМ
в Центральном округе Москвы

объединенная волоконно-оптическая районная сеть RINet в ЦАО:
• оптимальные условия подключения,
• бесплатный доступ к внутрисетевым ресурсам

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ ← В ЦЕНТРЕ ГОРОДА → В ЦЕНТРЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

круглосуточно:
(095) 232-1730 238-3922 916-7009.
адрес:
МОСКВА, 1-Й ХВОСТОВ пер., д. 11А.
подробности:
WWW.RINET.RU

В оформлении обложки использован фрагмент картины японского живописца, одного из основателей Братства прерафаэлитов, Эвереттa Милле [1829–1896] *Офелия*, или *Смерть Офелии* [1851–1852].

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.

Компьютерный набор Евгения Ушакова, Надежда Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

Адрес редакции: 119017, Москва, Пятницкая ул., 41
(м. "Третьяковская", "Новокузнецкая") ;
телефон 953-51-47; факс 953-50-61.
e-mail inolit@rinet.ru

Подписаться на журнал можно во всех отделениях связи.
Индекс 72261 — на год, 70394 — полугодие.
Льготная подписка оформляется в редакции (понедельник, вторник, среда, четверг с 12.00 до 17.30).

Купить журнал можно:
в редакции;
в киоске "Новой газеты" (Страстной бульвар, д. 4);
в книжной лавке ВГБИЛ им. М. И. Рудомино (Николоямская ул., д. 1);
в книжном магазине клуба "Проект-О.Г.И." (Потаповский пер., д. 8/12, стр. 2, вход со двора; м. Чистые пруды, Китай-город);
в книжном магазине "У Максима" (МГУ им. М. В. Ломоносова, 1-й Гуманитарный корпус; м. Университет);
в книжном магазине "Русское зарубежье" (Нижняя Радищевская, д. 2; м. Таганская-кольцевая);
в книжном магазине "Фаланстер" (Малый Гнездниковский переулок, д. 12/27, стр.2–3).

Электронный дайджест журнала:
http://magazines.russ.ru/inostran
Наш блог:
http://obzor-inolit.livejournal.com

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 15.03.2009
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 28
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,67.
Заказ № 1057.
Тираж 5000 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов
ОАО "Типография "Новости",
105005, Москва,
ул. Фр. Энгельса, 46.

PERSONA
Журнал «Персона»/«Persona»

Журнал о творчестве для творческих людей

Подписка-2009
38678
Объединенный каталог «Подписка-2009» – «Пресса России»
80905
Каталог агентства «Роспечать» – «Газеты. Журналы»

Продажа в книжных магазинах, театрах и культурных центрах Москвы и РФ

Льготная подписка и продажа в редакции (возможно с доставкой)

Редакция 119019 ул. Новый Арбат, д. 21
(495) 691-20-05, 691-50-27
E-mail persona-magazine@mail.ru
www.persona-magazine.ru

---

[7] 2009

КАК НАШЕ СЛОВО... ПРОДАЕТСЯ: СТАТЬЯ БОРИСА ДУБИНА "О СЛОВЕСНОСТИ И КОММЕРЦИИ СЕГОДНЯ" / РОМАН ШИКУ БУАРКИ "БУДАПЕШТ" / ПОВЕСТЬ ДЭВИДА ЛОДЖА "ГОРЬКАЯ ПРАВДА" / ПЬЕСА ПЬЕРА БЕЛЬФОНА "СОВЕЩАНИЕ" / ВИСЛАВА ШИМБОРСКАЯ И ДР. В РУБРИКЕ "НИЧЕГО СМЕШНОГО" / ИНТЕРВЬЮ С АЛЕКСАНДРОМ ГАВРИЛОВЫМ, ЛЬВОМ ДАНИЛКИНЫМ, ГРИГОРИЕМ ДАШЕВСКИМ, ЛЮДМИЛОЙ УЛИЦКОЙ И ДР. / ПЕРЕПЕРЕВОД: "СЭЛИНДЖЕР НАЧИНАЕТ И ВЫИГРЫВАЕТ" АЛЕКСАНДРЫ БОРИСЕНКО

(*роль*) **Ex** Each character was ~ed with so much grace and art. Все роли были исполнены с большим изяществом и мастерством.

NEW! **sustainability** [səˌsteɪnəˈbɪlətɪ] *n* устойчивость; устойчивое развитие; ecological / environmental ~ экологическая устойчивость, устойчивость окружающей среды *(предполагает поддержание экологической целостности и запасов природных ресурсов)*; financial ~ финансовая устойчивость; the Royal Award for S. *брит* королевская премия за устойчивое развитие *(присуждается предпринимателям)*

NEW! **sustainable** [səˈsteɪnəbl] *adj* **1.** устойчивый; жизнеспособный; ~ development устойчивое развитие; ~ economic growth устойчивый экономический рост **2.** экологически рациональный; способный существовать, не нанося ущерба окружающей среде; «устойчивый»; ~ agriculture экологически рациональное сельское хозяйство, «устойчивое» сельское хозяйство; ~ forestry экологически рациональное лесопользование, «устойчивое» лесопользование; ~ use of natural resources рациональное использование природных ресурсов

sustained [səˈsteɪnd] *adj* **1.** длительный, продолжительный; непрерывный **Syn** long, protracted **2.** монотонный *(о звуке)*

NEW! **sustaining** [səˈsteɪnɪŋ] *adj* **1.** поддерживающий, поддерживающий; ~ power стойкость, выносливость **2.** доказывающий, подтверждающий

NEW! **sustaining program** *n амер радио* некоммерческая радиопрограмма

sustenance [ˈsʌstənəns] *n* **1.** средства к существованию **2.** питание; пища **Syn** food, fare **3.** поддержание, поддержка, помощь **Syn** maintenance

sustention [səˈstenʃən] *n* поддержание *(в том же состоянии)*

sustentive [səˈstentɪv] *adj* поддерживающий; подкрепляющий

susurrant [suːˈsʌrənt] = susurrous

susurrate [ˈsuːsəreɪt] *v книжн* **1.** шептать **2.** издавать лёгкий шорох, шелест

susurration [ˌsuːsəˈreɪʃən] *n* **1.** шёпот **Syn** whisper **2.** лёгкий шорох, шелест

susurrous [suːˈsʌrəs] *adj* **1.** шепчущий **2.** шуршащий; шелестящий

susurrus [suːˈsʌrəs] = susurration

Susy [ˈsuːzɪ] *n уменьш от* Susan, Susannah Сюзи *(женское имя)*

Sutherland [ˈsʌðələnd] = Sutherlandshire

Sutherlandshire [ˈsʌðələndʃə] *n геогр* Сатерленд шир *(графство Шотландии)*

Sutlej [ˈsʌtlɪʤ] *n геогр* Сатледж *(река на территории Пакистана, Индии, Китая)*

sutler [ˈsʌtlə] *n* маркитант **Syn** canteen keeper

NEW! ...дятся. **3.** нить для сшивания раны 4. сшива...ие, соединение

NEW! ...*мед* накладывать шов, сшивать

SUV *сокр от* Sport Utility Vehicle внедорожник *(автомобиль повышенной проходимости, предназначенный для активного отдыха, чаще всего с приводом на все четыре колеса)*

Suva [ˈsuːvə] *n геогр* Сува *(столица государства Фиджи, юго-западная часть Тихого океана)*

suzerain [ˈsuːzəreɪn] *n* **1.** феодальный властитель, сюзерен **2.** сюзеренное государство; ~ lord правитель сюзеренного государства

suzerainty [ˈsuːzəreɪntɪ] *n* **1.** власть сюзерена **2.** сюзеренитет

SVC *буквенный код для* El Salvador colon сальвадорский колон *(денежная единица)*

svc. *сокр от* service **1.** обслуживание, сервис **2.** служба

NEW! **...lte** [svelt] *adj* стройный, гибкий *(о женщи...)* **Syn** thin

Sverdlovsk [ˌsveəˈdlɒfsk] *n геогр, ист* Свердловск *(название г. Екатеринбург в период с 1924 по 1991 г.), см тж* Ekaterinburg

Sverdrup Islands [ˌsveədrʊp-] *n pl геогр* острова Свердрупа *(группа островов в составе Канадского Арктического архипелага)*

SVO *сокр от* subject verb object *лингв* тип языка с характерным порядком слов: подлежащее - сказуемое - прямое дополнение *(как в русском, английском), см тж* SOV

SW[1] *сокр от* short waves короткие волны

SW[2] *сокр от* southwest юго-запад

Sw. *сокр от* Sweden Швеция

swab [swɒb] **I** *n* **1.** 1) швабра, щётка **Syn** mop 2) *воен* банник *(насадка типа щётки на шомпол)*; шомпол 3) помазок **2.** *мед* 1) тампон 2) мазок **3.** *мор жарг* офицерский погон **4.** 1) *презр* салага 2) *разг* матрос, моряк **Syn** sailor, gob

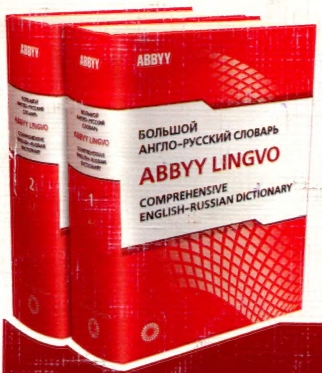
II *v* **1.** *(тж ~ down)* мыть шваброй; подтирать шваброй **Ex** Every morning, the sailors had to ~ down the deck of the ship. Каждое утро матросы должны были швабрами драить палубу на корабле. **2.** *мед* смазывать, наносить тампоном **Ex** She ~ bed the wound with iodine. Она смазала рану йодом.

swabber [ˈswɒbə] *n* **1.** юнга, драящий палубу **2.** грубый, невоспитанный, подлый человек **3.** разг увалень **Syn** clodhopper, bumpkin **4.** швабра, веник, метла

Swabia [ˈsweɪbɪə] *n геогр, ист* Швабия *(историческая область в Германии)*

swaddle [ˈswɒdl] **I** *n* = swaddling clothes

II *v* **1.** пеленать, свивать *(младенца)* **2.** *(тж ~ up)* бинтовать, забинтовывать **3.** сдержи...вать



Словари ABBYY Lingvo
Современный язык
Академический подход

ABBYY SOFTWARE HOUSE
www.ABBYY.ru
+7 (495) 783 3700

job@abbyy.com
Приглашаем на работу лингвистов и лексикографов

ISSN 0130-6545 09005 9 770130 654770

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА" 2009, №5, 1-288